

СТИВЕН КИНГ

«Чертова дюжина»
историй от «короля ужасов»!



После заката

СТИВЕН
КИНГ

СТИВЕН КИНГ

После заката



АСТ
МОСКВА

УДК 821.111(73)-313.2
ББК 84 (7Coe)-44
К41

Stephen King
JUST AFTER SUNSET

*Перевод с английского А. Ахмеровой, В. Вебера, Е. Доброхотовой,
В. Женеvского, М. Клеветенко, С. Лобанова, Н. Парфеновой,
Т. Перцевой, Е. Романовой, С. Самуйлова*

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Е.А. Коляды

Печатается с разрешения автора и литературных агентств
Ralph M Vicinanza Ltd. и Andrew Nurnberg.

Подписано в печать 24.02.2014. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Тираж 3000 экз. Заказ 688.

Кинг, Стивен

К41 После заката : [сборник: перевод с английского] /
Стивен Кинг. — Москва: АСТ, 2014. — 413, [3] с.

ISBN 978-5-17-071135-2

«Команда скелетов». «Ночная смена». «Все предельно»... Сборники рассказов всегда занимали в творчестве Стивена Кинга особое место.

«После заката» — это «чертова дюжина» историй, каждая из которых способна напугать даже читателя с самыми крепкими нервами и восхитить даже самого искушенного ценителя «ужасиков».

Тринадцать — хорошее число.

Но легко ли вместе с героями Кинга пережить тринадцать встреч со Злом и Тьмой?

УДК 821.111(73)-313.2
ББК 84 (7Coe)-44

Посвящается Хайди Питлор

Могу представить, что ты там разглядел. Да, все это, конечно, страшно, но в конце-то концов это лишь старая сказка, древняя мистерия... Такие силы нельзя назвать, о них невозможно говорить, их даже нельзя вообразить. Можно лишь пощупать покров, лежащий на них, — символ, понимаемый большинством просто как поэтическая прихоть, а то и глупая сказка. Во всяком случае мы с тобой уже кое-что знаем о том кошмаре, который обитает в тайных закоулках жизни, скрывшись под человеческой плотью. Он, бесформенный, присвоил чужую форму. Как такое могло случиться, Остин? Нет, как такое может быть? И почему тогда солнце не померкнет, почему не расплавится и не закипит под такой ношей земля?

Артур Мейчен. «Великий бог Пан»*

* Перевод А. Егазарова.

Предисловие

Как-то раз в 1972 году я вернулся домой с работы и застал жену за кухонным столом. Перед ней лежали садовые ножницы. Она улыбалась — значит, действительно серьезные неприятности мне не грозили. Но она попросила мой бумажник, а это уже не сулило ничего хорошего.

Так или иначе, я подчинился. Вытащив кредитную карточку топливной компании «Техасо» — в те годы их рассылали почти всем молодым парам, — Тэбби разрежала ее на три части. В ответ на мои возражения — мол, кредитка штука удобная, а нам пока удастся выплачивать в конце месяца минимальный взнос (иногда и превышая его) — она лишь покачала головой и сказала, что процентов набегает больше, чем по силам выдержать нашему хрупкому семейному бюджету.

— Лучше не искушать себя, — добавила она. — Свою я уже разрежала.

Так и вышло. Следующие два года мы оба обходились без кредитных карточек.

Тэбби поступила правильно, более того — грамотно, потому что нам тогда едва перевалило за двадцать и надо было чем-то кормить двоих детей; в финансовом плане мы едва

сводили концы с концами. Я преподавал в старших классах английский язык, а в каникулы подрабатывал в прачечной, где стирал простыни из мотелей и время от времени развозил чистое белье заказчикам. Тэбби в дневное время сидела с детьми и писала стихи, пока они спали, а когда я возвращался из школы, уходила отработать полную смену в «Dunkin' Donuts». Наших совокупных доходов хватало на оплату жилья, питание и подгузники для маленького сына, но вот телефон мы содержать уже не могли, и в итоге его постигла судьба кредитных карточек. Слишком велик был соблазн звонить родным в другие города. У нас оставалось достаточно на книги — без них мы оба не представляли жизни — и мои вредные привычки (пиво и сигареты), но не более того. Так что вряд ли нам пристало выкладывать денежки за привилегию носить в кармане полезный, но в конечном счете коварный кусочек пластика.

Остатки средств обычно уходили на вещи вроде ремонта машины, врачебных услуг и того, что мы с Тэбби называли «детской дребеденью»: игрушки, манеж, эти невыносимые книжки Ричарда Скэрри... Здесь нас часто выручали рассказы, которые мне удавалось сбыть в мужские журналы — «Cavalier», «Dude», «Adam» и так далее. В те годы меня не занимало, творю ли я настоящую литературу, а разговоры о том, уготована ли моим произведениям «долгая жизнь», казались не меньшей роскошью, чем кредитки от «Техасо». В этих рассказах — когда их получалось продать, а так выходило не всегда — я видел прежде всего дополнительный источник дохода. Для меня каждый из них был как *пиньята**, только колотил я по ним не палкой, а своей фантазией. Иногда они разбивались, и мне перепадало несколько сотен баксов. Бывало и наоборот.

К счастью — а поверьте, тогда я вел необычайно счастливую жизнь, во многом лучше теперешней, — эта работа еще и

* Мексиканская народная забава: участники с завязанными глазами пытаются разбить палкой фигуру животного, чтобы получить приз в виде конфет и т.п. — *Здесь и далее примеч. пер.*

приносила мне радость. Большинство рассказов я создал в припадке вдохновения, получая нешуточное удовольствие от процесса. Они выпрыгивали на бумагу один за другим, как рок-хиты из жерла радиостанции, которая всегда играла в прачечной, превратившейся для меня в рабочий кабинет.

Я работал быстро, без передышки, редко занимаясь правкой после завершения второго наброска, и мне даже в голову не приходило задуматься, откуда берутся сюжеты или чем структура хорошего рассказа отличается от структуры романа, или как учесть динамику развития персонажей, предысторию и временные рамки. Я бил наугад, полагаясь исключительно на свою интуицию и мальчишескую самоуверенность. Поток не иссякал, а остальное меня не волновало. Других поводов для волнения и не было. Естественно, у меня и мысли не возникало, что создание рассказов — хрупкий навык, который без постоянного применения выветривается. Тогда эта хрупкость не заявляла о себе, и каждая история была для меня сродни бульдозеру.

В Америке большинство популярных романистов рассказов не пишут. Вряд ли дело в деньгах: коммерчески успешным авторам о таких вещах задумываться не надо. Скорее причина в том, что у мастеров крупной формы начинается своего рода клаустрофобия, когда у них нет и семидесяти тысяч слов на разгон. Или, быть может, искусство миниатюризации теряется само собой. В жизни много вещей вроде езды на велосипеде, но создание рассказов не из их числа. Забыть, как это делается, легче легкого.

В конце восьмидесятых и в девяностые я писал все меньше и меньше рассказов, а те, что все-таки писал, становились все длиннее и длиннее (парочка таких вошла и в эту книгу). Это еще ничего. Но были рассказы, за которые я не садился, потому что надо было заканчивать очередной роман, а это уже совсем не радовало — прописавшись на задворках моего сознания, заброшенные идеи просто умоляли, чтобы их перенесли на бумагу. Некоторым в конце концов повезло; другие, увы, сгинули без следа, будто пыль на ветру.

Что хуже всего, были и третьи — я совершенно не представлял, с какой стороны к ним подступиться, и это угнетало. Несомненно, мне не составило бы труда написать их в той прачечной или на миниатюрной «Оливетти» жены, однако теперь, когда я немолод, отточил мастерство и разжился куда более дорогими инструментами — вроде «Макинтоша», на котором пишу эти строки, — эти истории никак не давались мне. Помню, заперов одну из них, я представил стареющего оружейника, который с тоской смотрит на изящный толедский клинок и думает: «А ведь я тоже умел такие делать».

И вот три или четыре года назад мне пришло письмо от Катрины Кенисон, координатора серии «Лучшие рассказы Америки» (позже ее сменила на этом посту Хайди Питлор, которой посвящается эта книга). Миссис Кенисон интересовало, как я отношусь к тому, чтобы выступить редактором антологии 2006 года. Мне не понадобилось откладывать решение на следующий день, даже на послеобеденную прогулку. Я сразу же ответил согласием — по многим причинам, в том числе альтруистическим, и все же я буду последним лгуном, если не признаю, что мной руководили и корыстные мотивы. Размышлял я примерно так: если начитаться побольше рассказов, с головой погрузиться в лучшие образцы малой прозы, публикуемые в американских литературных журналах, то, может быть, мне удастся хотя бы частично вернуть ускользающее чувство легкости. И не в том дело, что без журнальных гонораров — скромных, но очень своевременных, когда только-только начинаешь новый роман — я не смог бы купить новый глушитель на автомобиль или подарок для жены. Просто бумажник, набитый кредитками, не казался мне достойной компенсацией за утраченную способность писать рассказы.

За год редакторской работы я прочел несколько сотен рассказов, но здесь распространяться о них не буду; если вам интересно, купите книгу и ознакомьтесь с предисловием (заодно вам перепадет два десятка первоклассных историй, а это не абы что). Важнее, что я снова вошел в азарт и стал писать

рассказы как прежде. Мне хотелось на это надеяться, но по-настоящему поверить в такую возможность я даже не осмеливался. Первой из «новых» историй стала «Уилла»; она и открывает этот сборник.

Можно ли назвать эти рассказы удачными? Надеюсь. Помогут ли они вам скоротать утомительный перелет (если вы читаете) или долгую автомобильную поездку (если слушаете аудиокнигу)? Очень надеюсь, потому что в таких случаях приходит в действие своего рода магия.

Я писал их с наслаждением, это факт. И надеюсь, вам понравится их читать. Надеюсь, они увлекут вас. И пока я буду помнить, как это делается, будут появляться новые истории.

Ах да, вот еще что. Знаю, некоторым читателям интересно, как и для чего появился на свет тот или иной рассказ. Если вы принадлежите к их числу, то мои «заметки на полях» ждут вас в конце книги. Если заберетесь туда раньше, чем прочтете сами рассказы, стыд вам и позор.

Ну а теперь не буду вам мешать. Но прежде чем удалиться, я хотел бы поблагодарить вас за то, что пришли. Занимался бы я тем, чем занимаюсь, если бы не было вас? Да, несомненно. Я чувствую себя счастливым, когда слова складываются в картинки, а выдуманные люди делают вещи, которые доставляют мне удовольствие. Но с тобой все-таки лучше, Постоянный Читатель.

С тобой всегда лучше.

*Сарасота, штат Флорида
25 февраля 2008 года*

Уилла

Ты не видишь дальше собственного носа, сказала она. И слегка перегнула палку. Может, во многом он заслуживал ее насмешек, но кое-что все-таки видел. И вот теперь, когда небо над хребтом Уинд-Ривер подернулось померанцевой рыжиной, Дэвид окинул станцию взглядом и понял — Уиллы здесь нет. Да откуда мне знать, одернул он себя, однако так думала только его голова — у занявшего вдруг желудка имелось другое мнение.

Он пошел искать Лэндера, который относился к Уилле с симпатией. Когда она проворчала, что «Амтрак», из-за которого они торчат в этом захолустье, не лучше кучи дерьма, старик сказал: языкастая девка. Большинству было на нее плевать, чем бы там ни провинился «Амтрак».

— Тут несет черствыми крекерами! — крикнула Хелен Палмер, когда Дэвид поравнялся с ней.

Она снова пробралась к излюбленной скамейке в углу. Сейчас за ней присматривала женщина по фамилии Райнхарт, дав ее мужу небольшую передышку. Она улыбнулась Дэвиду.

— Вы не видели Уиллу? — спросил Дэвид.

Willa

© Перевод. В. Женеvский, 2010

Миссис Райнхарт с прежней улыбкой покачала головой.

— А на ужин у нас рыба! — прогремела Хелен Палмер. Во впадинке у нее на виске пульсировал клубок голубых жилок. Люди стали оборачиваться. — Час от ч-часу не легче!

— Тише, Хелен! — шикнула миссис Райнхарт. Ее могли бы звать Салли, хотя такое имя Дэвид точно запомнил бы — Салли в последнее время попадаютсЯ нечасто. Теперь над миром властвуют всевозможные Эмбер, Эшли и Тиффани. Уилла — еще один вымирающий вид. При этой мысли у него опять похолодело в желудке.

— Крекерами! — бушевала Хелен. — Старыми вонючими крекерами!

Генри Лэндер сидел на скамейке под часами, обняв жену за талию. Взглянув на Дэвида, он покачал головой.

— Ее здесь нет. Такие дела. Если ушла в город, тебе еще повезло. Могла и слинять потихоньку. — И он многозначительно поднял большой палец.

Вряд ли невеста Дэвида подалась бы на запад без него, в такое он верить отказывался. А вот в то, что ее здесь не было... Он почуял ее отсутствие, даже не успев всех пересчитать. В памяти всплыла строчка из какого-то старого рассказа или стихотворения о зиме: «И пустоты крик, в сердце гулкий крик»*.

Станция представляла собой узкую дощатую горловину. По всей ее длине под флуоресцентными лампами прохаживались люди. Другие с опущенными плечами сидели на скамейках — такую позу можно встретить только в подобных местах, где пассажирам приходится терпеливо ждать, пока возникшие невесть откуда проблемы кто-нибудь устранил и можно будет продолжить путешествие. По собственной воле в городки вроде Кроухарт-Спрингс, штат Вайоминг, наведываются немногие.

— Не вздумай ее искать, Дэвид, — сказала Рут Лэндер. — Уже темнеет, а здесь полно всякой живности. И я не про кой-

* Строчки из стихотворения американского поэта Джона Кроу Рэнсома (1888—1974) «Воспоминания о зиме».

отов. Тот хромой книготорговец сказал, что видел на той стороне полотна, возле пакгауза, парочку волков.

— Биггерс, — уточнил Генри. — Его зовут Биггерс.

— Да мне-то что, хоть Джек Потрошитель, — буркнула Рут. — Я это к чему: ты уже не в Канзасе, Дэвид.

— Но если она...

— Она ушла еще до заката, — перебил его Генри Лэндер.

Будто при свете дня волк (или медведь) не станет нападать на беззащитную женщину. Хотя как знать. Дэвид был банковским служащим, а не специалистом по дикой природе. И он был молод.

— Если придет аварийный состав, а ее здесь не будет, она останется здесь.

У него никак не получалось довести до их сознания эту простую мысль. «Не контачило», как выражались ребята из чикагского офиса.

Генри поднял брови:

— Хочешь сказать, если вы оба опоздаете на поезд, будет чем-то лучше?

Если они оба опоздают, то либо поедут на автобусе, либо дождутся следующего состава. Лэндеры не могли этого не понимать. Или все-таки?.. Их усталость бросалась в глаза. Перед Дэвидом сидела пара измученных людей, временно застрявших в краю ковбойских комбинезонов. Но кого вообще заботит судьба Уиллы? Если она сгинет на просторах Высоких равнин, кто еще о ней вспомнит, кроме Дэвида Сэндерсона? Ее здесь даже недолюбливали. Эта стерва Урсула Дэвис однажды заявила ему, что если бы мать Уиллы вовремя убрала из ее имени последнюю букву, «оно подходило бы ей куда больше».

— Схожу в город, поищу ее, — решил он.

Генри вздохнул.

— Сынок, ты совершаешь большую глупость.

— Мы ведь не сможем пожениться в Сан-Франциско, если она останется в Кроухарт-Спрингс, — возразил он, надеясь обратить все в шутку.

Мимо проходил Дадли. Дэвид не знал, имя это или фамилия — знал только, что Дадли занимал должность в компании «Стейплс» и направлялся в Миссулу на какое-то региональное совещание. Обычно Дадли держался тихо, поэтому ослиное ржание, которым он огласил вечерние тени, не просто удивляло — шокировало.

— Если поезд придет и вы на него не успеете, — сказал он, — можете разыскать мирового судью и оформить брак прямо здесь. А когда вернетесь на восток, будете рассказывать друзьям, что у вас была настоящая ковбойская свадьба. Иииии-аааа, братишка!

— Лучше не надо, — вновь подал голос Генри. — Мы здесь надолго не задержимся.

— И что, мне ее тут бросить? Ересь какая-то.

Он отошел, пока Лэндер и его жена не нашли с ответом. На соседней скамейке Джорджия Эндрисон смотрела, как ее дочь в красном дорожном платье скачет по грязному плиточному полу. Пэмми Эндрисон словно и не знала, что такое усталость. Дэвид попытался вспомнить, видел ли ее хоть раз спящей с тех пор, как их поезд сошел с рельсов возле железнодорожного узла Уинд-Ривер и они застряли здесь как никому не нужная посылка на заброшенной почте. Кажется, один раз видел — у матери на коленях. Впрочем, это могло быть и ложное воспоминание, порожденное уверенностью, будто пятилетним детям полагается много спать.

Пэмми бесенком скакала с плитки на плитку, превратив пол станции в гигантские классики. Из-под красного подола выглядывали пухлые коленки.

— Жил-был один парень, его звали Бадом, — вывела она на тягучей высокой ноте, от которой у Дэвида заныли пломбы. — Он шел и упал, и шлепнулся задом. Жил-был один парень, его звали Дэвид. Он шел и упал, и поранил свой бэвид.

Она захихикала и показала пальчиком на Дэвида.

— Пэмми, а ну-ка прекрати! — цыкнула на нее Джорджия Эндрисон и, одарив Дэвида улыбкой, откинула с лица набежавшую прядь.

В этом жесте проглядывала невероятная усталость. Он подумал, что с такой резвуньей дорога покажется вдвое длинней, особенно если учесть отсутствие на горизонте мистера Эндрисона.

— Видели Уиллу? — спросил он.

— Вышла.

Она показала на табличку над дверью: «К ОСТАНОВКЕ РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ И ТАКСИ. ЗАБЛАГОВРЕМЕННО БРОНИРУЙТЕ ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ».

К нему подковылял Биггерс.

— А вот я без хорошей винтовки нос бы наружу не показывал. Здесь водятся волки. Сам видел.

— Жила одна тетя, ее звали Уилла, — пропела Пэмми, — от головной боли таблеточки пила. — И она с хохотом повалилась на пол.

Биггерс — книготорговец — не стал дожидаться его ответа и захромал дальше. Его тень то вырастала, то сжималась в свете флуоресцентных ламп.

В проеме двери с табличкой скучал Фил Палмер, страховой агент на пенсии. Они с супругой направлялись в Портленд. Там им предстояло какое-то время погостить у старшего сына и его жены, однако Палмер по секрету рассказал Уилле и Дэвиду, что Хелен скорее всего уже никогда не вернется на восток. Ее одновременно подтачивали рак и болезнь Альцгеймера. Уилла брякнула что-то насчет «два по цене одного». Когда Дэвид упрекнул ее в черствости, она посмотрела на него, открыла рот, но в конце концов лишь мотнула головой.

Палмер, как обычно, спросил:

— Эй, сучок, есть бычок?

На что Дэвид, как обычно, ответил:

— Я не курю, мистер Палмер.

И в ответ традиционное:

— А я на всякий случай.

Дэвид ступил на бетонированную платформу, где пассажиры дожидались автобуса до Кроухарт-Спрингс. Палмер нахмурил брови.

— Не советовал бы, мой юный друг.

С другой стороны станции, где полынь и ракитник вплотную подобралась к путям, послышался вой. Это могла быть большая собака, но не обязательно. К первому голосу присоединился второй. Слившись в единой гармонии, они стали удаляться.

— Дошло, о чем я, красавчик? — И Палмер ухмыльнулся, словно концерт был устроен по его заказу.

Дэвид повернулся и начал спускаться по ступенькам; ветер трепал на нем куртку. Он шел быстро, боясь передумать, но по-настоящему тяжело дался только первый шаг. Потом его подстегивали мысли об Уилле.

— Дэвид, — позвал Палмер уже без всякой шутливости в голосе. — Не надо.

— С какой стати? Она ведь ушла. И вообще, волки вон там. — Он показал большим пальцем через плечо. — Если это они.

— Да кто же еще, они самые. Ну допустим, они тебя и не тронут — думаю, в это время года им хватает прокорма. Вот только какая нужда вам обоим застревать в этой Богом забытой дыре только из-за того, что ей вдруг захотелось городской шумихи?

— Вы, кажется, не понимаете — она же моя девушка.

— Позволь поведать тебе одну неприятную истину, друг мой: если бы она и в самом деле считала себя твоей девушкой, то не поступила бы подобным образом. Ты так не думаешь?

Дэвид помолчал, запутавшись в собственных мыслях. Из-за того, наверное, что не видел дальше собственного носа. Так сказала Уилла. Наконец он повернулся и поднял взгляд на Фила Палмера.

— По-моему, не годится бросать невесту в такой глуши. Вот как я думаю.

Палмер вздохнул.

— Вот пускай один из этих любителей отбросов цапнет тебя за задницу. Может, поумнеешь. Малышке Уилле Стюарт ни до кого нет дела, и не замечаешь этого один ты.

— Если попадется круглосуточный магазинчик, взять вам пачку сигарет?

— А почему бы, чтоб тебя, и нет? — проворчал Палмер. Дэвид зашагал по безлюдной стоянке, которую пересекала надпись «МАШИНЫ НЕ ПАРКОВАТЬ. МЕСТА ДЛЯ ТАКСИ». Вдруг старик крикнул: — Дэвид!

Он обернулся.

— Автобус будет только завтра, а до города три мили. Так написано на стенке информационного киоска. Если туда и обратно, получается шесть миль. Пешком. Это как минимум два часа, а ведь тебе еще надо ее найти.

Дэвид в знак понимания поднял руку и пошел дальше. С гор дул ветер, и довольно холодный, но ему нравилось, как тот треплет его легкую куртку и взъерошивает волосы. Поначалу он выглядывал по обеим сторонам дороги волков, но вскоре мысли вернулись к Уилле. Вообще после второй или третьей их встречи его ум редко был занят чем-нибудь другим.

Ей не хватало городской шумихи, здесь Палмер попал в точку, вот только Дэвид сомневался, что Уилла думает только о себе. На самом деле ей просто надоело торчать на станции с кучкой старых пердунов, которым лишь бы побрюзжать о том, как они не успеют туда, как опоздают сюда и так далее. Скорее всего городок ничего особенного собой не представлял, но там теоретически можно было поразвлечься, и это перевесило для нее риск, что подарочек от «Амтрака» придет в ее отсутствие.

Ну и куда же ее занесло в поисках развлечений?

Конечно же, в Кроухарт-Спрингс, где железнодорожный вокзал ютится чуть ли не в сарае, который может похвастаться лишь надписью «ВАЙОМИНГ — ШТАТ РАВНОПРАВИЯ»* красной, белой и синей краской на зеленой стене, нет ночных клубов в полном смысле слова. Ни клубов, ни дискотек, а вот бары — другое дело. В один из них она, видимо, и заглянула. Хоть как-то разгонит скуку.

* Вайоминг первым из американских штатов предоставил женщинам избирательное право

Наступила ночь, и небо от востока до запада ковром с тысячами блесков усыпали звезды. Между двумя горными пирами выглянул, да там и остался полумесяц, озарив полоску шоссе и прилегавшие пустоши больничным светом. На станции ветер лишь посвистывал в застрехах, а здесь в воздухе стоял странный гул. Дэвиду вспомнилась занудная песенка Пэмми Эндрисон.

Он шел, прислушиваясь, не приближается ли к станции поезд. Поезда не было; но когда ветер на минуту стих, слышалось отчетливое «цок-цок-цок». Обернувшись, он увидел на разделительной линии автострады 26, шагах в двадцати от себя, волка. Размерами зверь едва уступал теленку, шкура у него была свалывшаяся, как мех шапки-ушанки. В свете звезд шерсть казалась почти черной, глаза — желтыми, цвета мочи. Увидев Дэвида, волк ощерился и запыхтел, как маленький локомотив.

Времени на испуг не оставалось. Дэвид сделал шаг к волку, хлопнул в ладоши и крикнул:

— А ну пшел отсюда! Пшел, пшел!

Волк поджал хвост и дал стрекача, оставив на асфальте дымящуюся кучку. Дэвид позволил себе ухмылку, но подавил смех, чтобы не искушать понапрасну судьбу. Вместе со страхом навалилось непонятное, отрешенное. Он подумал, не сменить ли имя на «Вольф Перрипутер». Для банкира в самый раз.

На сей раз Дэвид все-таки не удержался от смеха. Он зашагал дальше, то и дело поглядывая через плечо. Волк не возвращался. Зато вернулась уверенность, что рано или поздно издали донесется пронзительный свисток поезда; тогда вагоны с путей уберут, и заскучавшие пассажиры — Палмеры, Лэндеры, хромой Биггертс, неугомонная Пэмми и все прочие — отправятся дальше.

Ну и что с того? «Амтрак» придержит их багаж в Сан-Франциско; уж в этом на них можно положиться. А они с Уиллой поищут местный автовокзал. В «Грейхаунде» наверняка слышали о существовании Вайоминга.

Наткнувшись на пустую банку из-под «Будвайзера», он стал пинать ее перед собой, пока вконец не смял и не зашвырнул в кусты. Пока Дэвид решал, лезть за ней или нет, до его ушей донеслась еле слышная музыка — басовые риффы и плач стил-гитары*, при звуках которой ему всегда представлялись слезы из жидкого хрома. Даже в самых веселых песнях.

Сейчас она сидела там и слушала эту музыку. И вовсе не потому, что поблизости не нашлось других заведений — просто место было подходящее. Дэвид это чувствовал. Он оставил банку в покое и зашагал на звук стил-гитары, поднимая кроссовками клубы пыли, которую тут же уносил ветер. Вскоре послышался стук ударных, затем показалась красная неоновая стрела под вывеской с цифрами 26. Ничего удивительного. Это ведь автострада 26, так что для хонки-тонка** название вполне логичное.

Перед баром располагались две стоянки. Одна была заасфальтирована и до отказа забита пикапами и легковушками, в основном поддержанными и американского производства. На другой, посыпанной гравием, натриевые лампы заливали белым сиянием ряды дальнобойных фур. Теперь Дэвид отчетливо различал партии соло- и ритм-гитары. На козырьке красовалась вывеска: «ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — «СОШЕДШИЕ С РЕЛЬСОВ»! ВХОД \$5. ИЗВИНИТЕ».

«Сошедшие с рельсов», — подумал он. Да, группу она нашла подходящую.

Пятерка у него имелась, но вестибюль пустовал. За дверью виднелась деревянная танцевальная площадка, битком набитая танцующими парочками, одетыми в основном в джинсы с ковбойскими ботинками и самозабвенно тискавшими друг друга ягодицы под звуки «Столько дней, прошедших зря». Музыканты играли громко, слезливо и, насколько мог судить Дэвид Сэндерсон, исправно попадали в ноты.

* Электрогитара без корпуса с широким грифом. Играют на ней, поместив ее на колени или на подставку.

** Дешевый провинциальный бар с музыкальными развлечениями.

В ноздри ударил запах пива, пота, дешевого одеколona и духов из «Уол-Марта». Смех и гул разговоров — даже лихие выкрики с дальней стороны площадки — словно явились из снов, которые снятся каждую ночь в переломные моменты жизни: снится, что ты пришел неготовым на важный экзамен, или очутился голым посреди толпы людей, или откуда-то падаешь, или тебя занесло в какой-то странный город, и ты бежишь без оглядки навстречу своей судьбе.

Дэвид подумал, не убрать ли пятерку обратно в бумажник, но все-таки просунул голову в окошко кассы и оставил деньги на столе — пустом, если не считать пачки «Лаки-стрейк» и романа Даниэлы Стил в мягкой обложке. Затем он прошел в главный зал.

«Сошедшие с рельсов» заиграли что-то веселенькое, и молодежь дружно задержалась, как панки на концерте. Слева посетители постарше выстроились в две линии по дюжине или около того человек в каждой и пустились в пляс. Оглядевшись, Дэвид сообразил, что на самом деле танцевали в один ряд. Всю дальнюю стену занимало зеркало, из-за чего площадка казалась в два раза больше.

Где-то разбился стакан.

— Братишка, а платить-то тебе! — крикнул солист.

Его слова сорвали аплодисменты. Когда в крови бурлит текила, подумал Дэвид, и не такое кажется верхом остроумия. «Сошедшие с рельсов» тем временем устроили инструментальный перерыв.

Над барной стойкой, имевшей форму подковы, висел неоновый красно-бело-синий контур хребта Уинд-Ривер; похоже, в Вайоминге к этой гамме питали особую страсть. Еще одна неоновая вывеска, переливавшаяся теми же цветами, гласила: «ТЫ В КРАЮ ГОСПОДНЕМ, БРАТИШКА». Слева от нее красовался логотип «Будвайзера», справа — «Корз». Перед стойкой в несколько рядов толпились люди. Трое барменов в белых рубашках и красных жилетах орудовали шейкерами, словно шестизарядными револьверами.

Зал был размером со здоровенный амбар — сейчас в нем гудело не меньше пяти сотен человек, — но у Дэвида не воз-

никло сомнений, где искать Уиллу. Мой талисман всегда со мной, подумал он, проталкиваясь через толпу ковбоев и еле удерживаясь, чтобы не заплескаться вместе с ними.

За баром и танцплощадкой располагалась небольшая полутемная зала с высокими кабинками. Почти во всех набилось по дружеской компании — со жбаном-другим пива для подкрепления сил; благодаря зеркалу каждая четверка удваивалась до восьмерки. И лишь в одной кабине еще было куда пристроиться. Там в одиночестве сидела Уилла; ее закрытое платье в цветочек казалось неуместным среди «ливайсов», джинсовых юбок и рубашек с перламутровыми пуговицами. Стол перед ней пустовал — ни выпивки, ни еды.

Сначала Уилла его не увидела, заглядевшись на танцующих. Лицо ее покраснелось, уголки рта прорезали глубокие морщинки. Здесь она выглядела совершенно чужой, но никогда Дэвид не любил ее больше, чем в эту минуту. Девушка, застывшая на грани улыбки.

— А, Дэвид, — сказала она, когда он протиснулся в кабину. — Я надеялась, что ты придешь. Даже рассчитывала. Отличные ребята, правда? Такие шумные!

Из-за музыки ей приходилось чуть ли не кричать, но он чувствовал, что ей нравится и это. Мельком взглянув на него, она снова уставилась на танцплощадку.

— Да, ребята что надо, — согласился он. И не покривил душой. Он и сам ощущал, как что-то в нем откликается на музыку — несмотря на вернувшуюся потихоньку тревогу. Теперь, когда Уилла нашлась, у него снова был на уме только чертов поезд. — Солист прямо как Бак Оуэнс.

— Да? — Она с улыбкой посмотрела на него. — А кто такой Бак Оуэнс?

— Да не важно. Пора возвращаться на станцию. Если только ты не хочешь застрять тут еще на несколько дней.

— А что, это идея. Мне здесь нра... ух ты, смотри!

Над площадкой описал дугу стакан, блеснув на миг золотом и зеленью в лучах цветных прожекторов, и где-то вне поля видимости разлетелся вдребезги. Послышались одобритель-

ные возгласы и даже аплодисменты. Уилла тоже захлопала в ладоши, но Дэвид заметил, что парочка накачанных парней с надписями «Охрана» и «Порядок» на футболках уже пробираются к предположительному месту запуска снаряда.

— В таких местах четыре драки за вечер это еще мало, — заметил Дэвид. — Плюс еще одна потасовка за счет заведения ближе к закрытию.

Уилла рассмеялась и пистолетиками наставила на него указательные пальцы.

— Здорово! Хочу на это посмотреть!

— А я хочу вернуться с тобой на станцию. Если тебе вздумается походить по барам в Сан-Франциско, то обязательно выберемся. Обещаю.

Она выпятила нижнюю губу, откинула со лба рыжеватые волосы.

— Это уже будет не то... Ну ты же понимаешь. В Сан-Франциско, наверное, в барах подают... ну, я не знаю... какое-нибудь вегетарианское пиво.

На сей раз расхохотался он. Вегетарианское пиво — это даже смешнее, чем банкир по имени Вольф Перрипугер. И все же тревога не отставала от него. Уж не отсюда ли и смех?

— Мы вернемся после короткого перерыва, — объявил солист, вытирая пот со лба. — А вы пейте до дна и не забывайте — с вами Тони Вильянуэва и «Сошедшие с рельсов».

— Пора надеть хрустальные туфельки и откланяться, — сказал Дэвид, взял ее за руку и стал вылезать из кабинки. Уилла не сдвинулась с места, но и руки его отпускать не стала, и Дэвид опять уселся за стол, чувствуя легкий прилив паники. Теперь ему стало понятно, как чувствует себя рыба, угодившая на крючок: вам уже не сорваться, мистер Окунь, так что добро пожаловать на берег, брюшком вверх... И снова этот взгляд — те же убийственно голубые глаза, те же морщинки в уголках рта, наметившие легкую улыбку... Уилла — девушка, читающая романы по утрам и стихи ночью... Девушка, полагающая теленовости — как она выразилась? — «слишком эфемерными».

— Гляди, — произнесла она, обратив лицо к зеркалу.

В зеркале Дэвид увидел приятную молодую пару с восточного побережья, почему-то застрявшую в Вайоминге. В своем ситцевом платье Уилла смотрелась получше его, но, кажется, так будет всегда. Вопросительно подняв брови, он перевел взгляд на оригинал.

— Нет, посмотри еще раз, — настояла она. Морщинки никуда не делись, но теперь она была серьезна — насколько позволял бушевавший вокруг разгул. — И подумай о том, что я тебе говорила.

С его губ едва не сорвалось: «Ты говорила мне о многом, и я постоянно об этом думаю», однако это был бы типичный ответ влюбленного — милый, но по сути бессмысленный. И поскольку Дэвид все-таки понял, к чему она клонит, он без лишних слов снова посмотрел в зеркало. На сей раз посмотрел по-настоящему — и не увидел никого. Перед его глазами была единственная пустая кабинка в «26». Он перевел взгляд на Уиллу, как громом пораженный... и все же, странное дело, не особенно удивленный.

— Ты хотя бы задумывался, как может привлекательная особа женского пола сидеть тут в гордом одиночестве, когда все ходит ходуном? — спросила она.

Он покачал головой. Нет, не задумывался. Он вообще о многом не задумывался — по крайней мере до этой минуты. Например, когда он в последний раз ел или пил. Или сколько сейчас времени, или когда успело зайти солнце. Он даже не знал, что именно с ними произошло. Просто «Северная стрела» сошла с рельсов, и вот теперь они сидят здесь и слушают кантри-группу, которая по какому-то совпадению называется...

— Я пинал пивную банку, — сказал он. — По дороге сюда я пинал банку.

— Да, — согласилась она, — а когда посмотрел в зеркало, сначала увидел нас. Ощущения — это еще не все, но вот если сложить их с ожиданиями... — Она подмигнула Дэвиду и поцеловала в щеку, прижавшись грудью к его плечу. Ощуще-

ния ощущениями, а это было нечто восхитительное — живое, теплое прикосновение. — Дэвид, бедняжка. Прости меня. Но ты молодчина, что пришел. Если честно, я не ожидала.

— Надо вернуться и рассказать остальным.

Она поджала губы.

— Зачем?

— Затем, что...

К их кабинке направились двое мужчин в ковбойских шляпах, ведя под руки двух хохочущих девиц в джинсах, ковбойках и с косичками. Когда они подошли поближе, на лицах у всех возникло одно и то же озадаченное — хотя и не совсем испуганное — выражение, и компания поспешила ретироваться к бару. Они чувствуют наше присутствие, подумал Дэвид. Будто дуновение сквозняка. Вот во что мы превратились.

— Затем, что так будет правильно.

Уилла рассмеялась. В голосе ее прорезалась усталость.

— Ты напоминаешь мне того старичка, что рекламировал овсянку по телевизору.

— Милая, но ведь они все еще ждут поезда!

— А может, он и вправду придет? — Внезапная свирепость Уиллы его немного огорошила. — Ну, тот, о котором поют в песнях — евангельский поезд на небеса, куда ни картежникам, ни кутежникам не пробраться...

— Сомневаюсь, что у «Амтрака» налажено сообщение с раем, — возразил он, надеясь ее рассмешить, но Уилла с угрюмым видом уставилась на свои руки. Вдруг его осенило: — Тебе известно что-то еще? Что-то, чего им лучше не говорить? Я прав?

— Не понимаю, зачем нам вообще утруждать себя, если можно просто остаться здесь, — ответила она. Не проскользнула ли в ее голосе раздраженная нотка? Кажется, да. О существовании такой Уиллы он даже и не подозревал. — Может, ты и чуточку близорук, Дэвид, но ты все-таки пришел, и за это я тебя люблю. — Она снова его поцеловала.

— А знаешь, я ведь встретил волка, — сказал он. — Я хлопнул в ладоши, и он убежал. Теперь думаю, не сменить ли имя на Вольф Перрипугер.

Какое-то мгновение она таращи́лась на него с отвисшей челюстью, и у Дэвида промелькнула мысль: чтобы по-настоящему удивить женщину, которую я люблю, нам обоим сначала пришлось умереть. Потом Уилла откинулась на мягкую спинку и захохотала во все горло. Проходившая мимо официантка с грохотом выронила поднос, уставленный пивными бутылками, и смачно выругалась.

— Вольф Перрипугер! — сквозь смех выговорила Уилла. — Я буду тебя так называть в постели! «О, Вольф Перрипугер, какой ты у меня большой! Какой волосатый!»

Официантка глядела на пенящееся месиво, не переставая чертыхаться, как моряк в портовой пивнушке... и держалась при этом на почтительном расстоянии от пустой кабинки.

— А думаешь, у нас теперь получится? Ну, заниматься любовью? — спросил Дэвид.

Уилла смахнула слезы:

— Ощущения плюс ожидания, не забыл? Вместе они горы могут свернуть. — Она взяла его за руку. — Я по-прежнему люблю тебя, а ты — меня. Разве нет?

— Не будь я Вольф Перрипугер! — Пока ему еще шутилось, так как мозг Дэвида не желал верить, что его хозяин мертв. Взглянув еще разок в зеркало, он увидел их обоих. Потом только себя — рука сжимала пустоту. Потом вообще ничего. И все же... он до сих пор дышал, чувствовал запах пива, виски и духов.

К официантке подбежал уборщик и принялся ей помогать.

— Точно в яму ухнула, — буркнула она.

После смерти Дэвид такого услышать не ожидал.

— Ладно, я все-таки пойду с тобой, — сказала Уилла, — но торчать на станции с этими занудами не намерена. Здесь куда лучше.

— Договорились.

— А кто такой Бак Оуэнс?

— Я тебе про него расскажу, — заверил Дэвид. — И про Роя Кларка тоже. Только сперва объясни, что еще тебе известно.

— Мне, в общем, до них и дела нет. Но Генри Лэндер славный. И его жена.

— Фил Палмер тоже неплохой человек.

Она сморщила нос.

— Фил Болтофил.

— Так что тебе известно, Уилла?

— Ты и сам поймешь, просто гляди в оба.

— А не проще было бы, если бы ты...

Видимо, нет. Вдруг она привстала и показала на сцену:

— Гляди! Музыканты возвращаются!

Когда они с Уиллой, взявшись за руки, вышли на автостраду, луна уже стояла высоко. Ума не приложить, как так получилось — они прослушали всего две песни из второй части программы, — но луна как ни в чем не бывало светила посреди черноты, подернутой блестками. Это тревожило Дэвида, но не так сильно, как еще одно обстоятельство.

— Уилла, — сказал он. — Какой сейчас год?

Она задумалась. Ветер трепал ее платье, презрев различия между живыми и мертвыми женщинами.

— Точно не помню, — ответила она наконец. — Странно, да?

— При том, что я не могу вспомнить, когда в последний раз обедал или держал в руках стакан воды? Да не очень-то. Ну а если наугад? Быстро, не задумываясь?

— Тысяча девятьсот... восемьдесят восьмой?

Дэвид кивнул. Сам он назвал бы восемьдесят седьмой.

— У одной девушки на футболке было написано «Средняя школа Кроухарт-Спрингс, выпуск 2003». И если учесть, что ей уже разрешают находиться в таких местах...

— ...то 2003 год был как минимум три года назад.

— Вот и я о том же. — Он встал как вкопанный. — Уилла, но не может же сейчас быть 2006 год, правда? Двадцать первый век?

Не успела она ответить, как послышалось клацанье когтей по асфальту. На сей раз за ними трусила целая стая из

четырёх волков. Самый большой, вожак, был Дэвиду уже знаком — такую лохматую шкуру ни с чем не спутаешь. Сейчас его глаза горели ярче. В каждом, словно лампа на дне колодца, плавало по полумесяцу.

— Они нас видят! — с восторгом закричала Уилла. — Видят, Дэвид!

Она встала коленом на белую полосу разметки и вытянула руку, зацокав языком:

— Сюда, малыш! Ко мне, ко мне!

— Уилла, лучше не надо.

Она пропустила его слова мимо ушей. В этом вся Уилла. У нее обо всем свои представления. Это она предложила поехать в Сан-Франциско на поезде, потому что ей хотелось узнать, каково это — трахаться в скоростном экспрессе, особенно если вагон немного раскачивается.

— Ну же, малыш, иди к мамочке!

Большой волк подбежал поближе, за ним потрусили самка и двое... как их там называют — годовиков? Зверь поднес морду (ну и зубищи!) к вытянутой руке, и луна залила желтые глаза серебряным блеском. Но вдруг, не успев его нос коснуться кожи Уиллы, волк пронзительно затавкал и отскочил назад — так резко, что встал на дыбы, молотя передними лапами воздух и обнажив белое, точно плюшевое, брюхо. Его семейство кинулось врассыпную. Самец перекувыркнулся в воздухе и с поджатым хвостом припустил в заросли, не переставая визжать. Остальные бросились за ним.

Уилла встала и посмотрела на Дэвида с такой неизменной горечью, что он усталился себе под ноги.

— Так вот для чего ты не дал мне дослушать музыку и вытащил в эту темень? — спросила она. — Чтобы показать, кем я стала? Да будто я сама не знаю.

— Уилла, мне очень жаль.

— Пока еще нет, но скоро будет. — Она снова взяла его за руку. — Пойдем, Дэвид.

Он отважился поднять глаза.

— Ты не сердись на меня?

— Чуть-чуть... но у меня теперь есть только ты, и я тебя уже не отпущу.

Вскоре после встречи с волками Дэвид заметил на обочине банку из-под «Будвайзера». Он почти не сомневался, что это ее пинал перед собой, пока не закинул за обочину. И вот она лежала на прежнем месте... потому, разумеется, что на самом деле к ней никто и не притрагивался. Ощущения — это еще не все, сказала Уилла, но вот если сложить их с ожиданиями... тогда получится штука, которую называют разумом.

Он зашвырнул банку в придорожные заросли. Через несколько шагов Дэвид обернулся. Банка лежала там же, где и раньше — где какой-то ковбой выбросил ее из окна пикапа. Может, на пути в «26». Ему вспомнилось старое шоу с Баком Оуэнсом и Роем Кларком, где пикапы называли ковбойскими «кадиллаками».

— Чему ты улыбаешься? — поинтересовалась Уилла.

— Потом расскажу. Времени у нас, если я все правильно понимаю, будет вдоволь.

Они стояли, взявшись за руки, перед станцией Кроухарт-Спрингс, точно Гензель и Гретель перед пряничным домиком. В лунном свете зеленая постройка казалась пепельно-серой, и хотя Дэвид знал, что слова «ВАЙОМИНГ — ШТАТ РАВНОПРАВИЯ» намалеваны красной, белой и синей краской, сейчас это мог быть любой цвет. В глаза ему бросился листок бумаги под пластиком, прикрепленный к одному из столбов на крыльце. В дверях, как и прежде, маячил Фил Палмер.

— Эй, сучок! — крикнул старик. — Есть бычок?

— Нет, мистер Палмер, извините, — ответил Дэвид.

— Если не ошибаюсь, кто-то обещал захватить для меня пачку.

— Магазинов по дороге не попалось.

— А там, где ты пропадала, сигарет не продавали, кукол-ка? — любопытствовал Палмер.

Он принадлежал к той породе мужчин, что всех молоденьких женщин называют куколками — об этом говорил сам его

вид. А если вас угораздит оказаться в его компании в знойный августовский день, он вытрет лоб и пояснит вам, что духота не из-за жары, а из-за влажности.

— Да, продают, — отозвалась Уилла, — но вряд ли у меня получилось бы их купить.

— И почему же, прелесть моя?

— А вы как думаете?

Вместо ответа Палмер сложил руки на цыплячьей груди. Из здания донеслись крики его жены:

— А на ужин у нас рыба! Час от ч-часу не легче! Фу, терпеть не могу эту вонь! Чертовы крекеры!

— Мы умерли, Фил, — произнес Дэвид. — Призракам сигарет не продают.

Несколько секунд Палмер молча смотрел ему в глаза. Прежде чем он разразился смехом, Дэвид успел почувствовать: старик не просто ему поверил — он давно уже все знал.

— Как только передо мной не оправдывались, когда забывали об обещаниях, — ухмыльнулся Палмер, — но за такое я дал бы специальный приз.

— Фил...

Крики изнутри:

— На ужин рыба! Ух, чтоб тебя!

— Простите, ребятки, — сказал старик. — Труба зовет.

И ушел. Дэвид обернулся к Уилле, ожидая услышать от нее заслуженное: «А чего ты хотел?», однако ее внимание было приковано к листку на столбе.

— Погляди-ка, — позвала она. — Что ты видишь?

Сначала из-за лунных бликов на пластике он вообще ничего не увидел. Тогда Дэвид встал на месте Уиллы.

— Сверху напечатано «СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗАПРЕЩЕН ПО ПРИКАЗУ ШЕРИФА ОКРУГА САБЛЕТТ», потом примечание мелким шрифтом... всякая дребедень... а внизу...

Она чувствительно ткнула его локтем.

— Хватит валять дурака. Приглядишься, Дэвид. У меня нет желания торчать тут всю ночь.

Не видишь дальше собственного носа.

Отвернувшись, он уперся взглядом в железнодорожные пути, поблескивавшие в лунном свете. За ними возвышался вулканический меловой холм с плоской верхушкой. Столовая гора, как в старых вестернах Джона Форда. Так-то, братишка.

Дэвид снова уставился на листок. И как только злой и страшный банкир Вольф Перрипугер Сэндерсон мог спутать «Проход» со «Сбором пожертвований»?

— «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН ПО ПРИКАЗУ ШЕРИФА ОКРУГА САБЛЕТТ», — прочел он.

— Замечательно. А что под «всякой дребеденью»?

Поначалу две нижние строчки показались Дэвиду набором невнятных символов — возможно, его разум, не желая верить в очевидное, просто не сумел найти безобидного перевода. Тогда он снова взглянул на пути — и без особого удивления отметил, что рельсы уже не поблескивают в темноте: металл давно проржавел, между шпалами пробивалась трава. Дэвид обернулся. Станция превратилась в покосившуюся развалюху с заколоченными окнами, от кровли почти ничего не осталось. С асфальта, который теперь изобиловал трещинами и выбоинами, исчезла надпись «МАШИНЫ НЕ ПАРКОВАТЬ. МЕСТА ДЛЯ ТАКСИ». На стене здания все еще виднелись слова «ВАЙОМИНГ — ШТАТ РАВНОПРАВИЯ», но и они обратились в бледные тени. Прямо как мы, подумал Дэвид.

— Ну давай же, — произнесла Уилла. Уилла, у которой обо всем были свои представления, которая всегда видела, что у нее под носом, и заставляла увидеть тебя, не боясь показаться жестокой. — Считай, это твой последний экзамен. Прочти две последние строчки, и пойдем отсюда.

Он вздохнул.

— Тут написано: «Здание предназначено под снос». Ниже: «Начало работ — июнь 2007 года».

— Сдал. Ну а теперь давай выясним, не хочется ли еще кому-нибудь послушать «Сошедших с рельсов». Я даже знаю, чем утешить Палмера: хоть сигарет мы покупать и не можем, зато с людей вроде нас никто не потребует платы за вход.

Вот только в город никто идти не хотел.

— Да что она хочет этим сказать? Как это — умерли? Зачем она говорит такие ужасные вещи? — спросила Рут Лэндер, и по-настоящему Дэвида убил (если можно так выразиться) не упрек в ее голосе, а выражение, мелькнувшее в глазах, прежде чем она уткнулась лицом в вельветовую куртку Генри.

Она тоже все знала.

— Рут, — начал он, — я вовсе не хочу вас расстраивать...

— Тогда прекрати! — раздался приглушенный вскрик.

Все, кроме Хелен Палмер, смотрели на него с враждебностью и злобой. Хелен беспрестанно кивала и о чем-то бубнила то своему мужу, то женщине, которую могли бы звать Салли. Люди небольшими кучками столпились в свете флуоресцентных ламп... но стоило Дэвиду моргнуть, как лампы исчезли. Теперь от пассажиров остались одни силуэты, смутно проступавшие в рассеянном лунном свете, сочащемся сквозь бреши в заколоченных окнах. Лэндеры сидели не на скамейке, а прямо на пыльном полу, возле россыпи пузырьков от крэка. Да, похоже, крэк добрался и до края Джона Форда... На одной из стен виднелся выцветший круг. Тут Дэвид опять моргнул, и флуоресцентные лампы вернулись на свои места. Как и большие круглые часы...

— Тебе лучше уйти, Дэвид, — проронил Генри Лэндер.

— Ну послушайте хотя бы минутку, Генри, — вмешалась Уилла.

Генри перевел взгляд на нее, не скрывая неприязни. От его прежней симпатии к Уилле Стюарт не осталось и следа.

— И слушать не желаю, — выговорил он. — Вы расстраиваете мою жену.

— Во-во, — встрял в разговор толстый молодой парень в бейсболке «Сиэтл маринерс». Кажется, его зовут О'Кейси, подумал Дэвид. Ну или еще какая-то ирландская фамилия с апострофом. — Лучше умолкни, детка!

Уилла склонилась над Генри, и тот чуть отодвинулся, словно у нее плохо пахло изо рта.

— Я позволила Дэвиду притащить меня сюда только потому, что это здание хотят снести! Слыхали о строительной груше, Генри? Вы неглупый человек, должны понимать, что это такое.

— Пусть она прекратит! — сдавленно вскрикнула Рут.

Уилла подалась еще ближе к Генри, глаза на ее узком милловидном лице так и сверкали.

— И когда все закончится, когда самосвалы развезут прочь груды дерьма, которая когда-то была железнодорожной станцией — этой самой! — что тогда будет с вами?

— Оставь нас в покое, прошу тебя, — произнес Генри.

— Генри... как сказала архиепископу девица из кордебалета, отрицаловка — это не река в Египте*.

Урсула Дэвис, которая невзлюбила Уиллу с первого взгляда, отделилась от остальных.

— Пошла на хер, сучка! От тебя одни проблемы.

Уилла резко обернулась.

— Неужели никто из вас не понял? Вы умерли... мы все умерли, и чем дольше вы остаетесь на одном месте, тем труднее потом будет уйти куда-то еще!

— Она права, — сказал Дэвид.

— Ну-ну, а если бы она ляпнула, что луна сделана из сыра, ты бы и сорт назвал, — хмыкнула Урсула. Это была высокая, устрашающе красивая женщина лет сорока. — Прости за мой французский, но ты у нее так засел под каблуком, что даже не смешно.

Дадли опять разразился ослиным ревом, миссис Райнхарт захлопала носом.

— Вы расстраиваете пассажиров, — подал голос Рэттнер, коротышка-проводник с вечно виноватым лицом.

Обычно он был тихоней. Дэвид моргнул; перед глазами снова мелькнул образ залитой лунным светом станции, и стало видно, что у Рэттнера отсутствует половина черепа. Оставшаяся часть лица обгорела до черноты.

* В английском языке слово *denial* («отрицание») созвучно сочетанию *the Nile* («река Нил»), на чем основана известная игра слов.

— Да, скоро это здание пойдет под снос, и вам некуда будет деваться! — закричала Уилла. — Никуда... мать вашу! — Она размазала кулаками злые слезы. — Ну что мешает вам пойти с нами в город? Мы покажем вам дорогу. Там хотя бы есть люди... и свет... и музыка.

— Мам, хочу музыку, — заныла малышка Пэмми.

— Ш-ш! — уняла ее мать.

— Если бы мы умерли, мы бы об этом знали, — заметил Биггерс.

— А он дело говорит, сынок, — поддержал его Дадли, подмигнув Дэвиду. — Ну так что с нами стряслось-то? Как мы вообще умерли?

— Я... не знаю, — ответил Дэвид и перевел взгляд на Уиллу. Та лишь пожала плечами.

— Ну видите? — продолжил Рэттнер. — Поезд сошел с рельсов. Такое случается... э-э-э, я хотел сказать «постоянно», но на самом деле все не так, даже в этом районе, хотя железнодорожную систему тут нужно серьезно реконструировать, потому что время от времени на некоторых узлах...

— Мы па-а-авали, — раздался голосок Пэмми. Приглядевшись к ней, Дэвид на мгновение увидел обгорелый безволосый трупик в истлевших лохмотьях. — Быдым, быдым, быдым. А потом...

Она издала рокочущий горловой звук и развела чумазные ладошки, что на детском языке жестов могло означать только взрыв. Пэмми хотела сказать что-то еще, но мать вдруг ударила ее наотмашь по лицу, да так, что показались зубы, и изо рта потекла струйка слюны. Пару мгновений Пэмми оторопело тарасилась на нее, потом завыла на одной пронзительной ноте, перекрыв все свои прежние достижения в невыносимости.

— Что я тебе говорила насчет вранья, Памела?! — завопила Джорджия Эндрисон, вцепившись девочке в плечо — да так крепко, что пальцы вдавились в плоть.

— Она не врет! — крикнула Уилла. — Поезд сошел с рельсов и рухнул в овраг! Теперь я вспомнила и вы тоже! Ведь прав-

да? Правда? Да у вас на лице все написано! На вашем поганом лице!

Не глядя в ее сторону, Джорджия Эндрисон показала Уилле средний палец. Другой рукой она продолжала трясти Пэмми — взад и вперед, взад и вперед. Дэвид видел то ребенка, то обугленный труп. Почему начался пожар? Теперь он вспомнил, как поезд улетел в овраг, но откуда взялось пламя? В памяти ничего не осталось. Или, быть может, он не очень-то и хотел вспоминать.

— Что я тебе говорила насчет вранья? — не унималась Джорджия Эндрисон.

— Врать нехорошо, мамочка! — сквозь рев выговорила Пэмми.

Мать потащила ее в неосвещенную часть зала. На какое-то время все замолчали, слушая непрекращающийся визг. Наконец Уилла повернулась к Дэвиду.

— Ну как? Достаточно?

— Да, — ответил он. — Пойдем.

— Делай ноги, раз сильно надо, не хлопни дверью себя по заду! — посоветовал заметно оживившийся Биггерс, чем вызвал у Дадли очередной приступ ослиного смеха.

Уилла потащила Дэвида к выходу. В дверях по-прежнему стоял, скрестив руки на груди, Фил. Дэвид сбросил руку Уиллы и подбежал к Хелен Палмер — та сидела в углу и раскачивалась. Она подняла на него безумные глаза.

— А на ужин у нас рыба, — еле слышно прошептала старуха.

— Насчет этого вам лучше знать, — сказал он, — но вот с запахом вы попали в точку. Старые вонючие крекеры... — Он оглянулся. Из пронизанного лунными лучами полумрака, который при сильном желании можно было принять за флуоресцентный свет, на него с Уиллой смотрели десятки глаз. — Такой запах появляется в заброшенных помещениях, когда они долго пустуют.

— Лучше иди отсюда, приبلуда, — проговорил Фил Палмер. — Твои теории тут никому не нужны.

— Да понял я, — произнес Дэвид и вышел вслед за Уиллой в ночь, навстречу лунному свету. Вдогонку ему унылым осенним шелестом несло:

— Час от ч-часу не легче!

Дэвид отмахал за ночь девять миль, но ни капельки не устал. Наверное, призраки не ведают усталости, как и голода с жаждой. Да и сама ночь была уже не та, что прежде. В небе, словно новенький серебряный доллар, сияла полная луна, а стоянка перед баром опустела. На гравийной дорожке стояло несколько фур, у одной полусонно урчал двигатель и горели дополнительные фары. Вывеска на козырьке сменилась: «В ВЫХОДНЫЕ ВЫСТУПАЮТ «КОЗОДОИ». ПРИВОДИ ПОДРУЖКУ, ВЫПЕЙ ХОТЬ КРУЖКУ».

— Какая прелесть, — сказала Уилла. — Приведешь меня, Вольф Перрипугер? Я ведь твоя подружка?

— Моя, приведу, — ответил Дэвид. — Только что нам теперь делать? Хонки-тонк закрыт.

— Зайдем внутрь, что же еще.

— Двери-то заперты.

— Пока мы не захотим иного. Ощущения, не забыл? Ощущения плюс ожидания.

Дэвид не забыл. Он потянул на себя дверь, и та отворилась. К знакомым запахам теперь примешивался приятный сосновый аромат какого-то чистящего средства. Стена опустела, на барной стойке выстроились ножками вверх табуретки, однако неоновый контур хребта Уинд-Ривер до сих пор горел — то ли хозяева всегда его так оставляли, то ли сказались ожидания Уиллы и Дэвида. Больше было похоже на второе. Танцплощадка, отражаясь в зеркалах, казалась сейчас необъятной. В отполированных глубинах мерцали вверх тор-машками неоновые горы.

Уилла глубоко втянула воздух.

— Пахнет духами и пивом, — объявила она. — Гремучая смесь. Очаровательно.

— А ты еще очаровательней, — сказал Дэвид.

Она повернулась к нему.

— Тогда поцелуй меня, ковбой.

Он поцеловал ее на краю площадки. Судя по кое-каким признакам, на любовное продолжение вечера все-таки можно было рассчитывать. Вполне.

Уилла поцеловала его в уголки рта и отстранилась.

— Бросишь четвертак в музыкальный автомат, ладно? Мне хочется танцевать.

Он подошел к автомату на дальнем конце барной стойки, сунул в прорезь монетку и выбрал песню под номером D19 — «Столько дней, прошедших зря» в исполнении автора, Фредди Фендера. Тем временем на стоянке некто Честер Доусон, устроившийся вздремнуть на пару часов, прежде чем повести фуру с грузом электроники дальше в Сиэтл, недоуменно поднял голову, но решил, что музыка ему приснилась, и вернулся к своему занятию.

Дэвид с Уиллой медленно двигались в танце по пустой площадке, то появляясь в длинном зеркале, то пропадая.

— Уилла...

— Ш-ш-ш. Твоя крошка еще не натанцевалась.

Притихший Дэвид зарылся лицом в ее волосы и отдался музыке. Ему подумалось, что теперь они останутся здесь навсегда, и время от времени люди будут их видеть. Бар даже может заработать славу места с привидениями, но скорее всего этого не случится: когда люди пьют и веселятся, им обычно не до призраков — не считая тех, кто пьет в одиночку. Может, иногда перед закрытием у бармена и последней задержавшейся официантки (у самой главной, которая распределяет чаевые) будет появляться чувство, будто за ними наблюдают. Иногда им будет чудиться музыка или чье-то отражение в зеркалах. Наверное, их могло занести и куда-нибудь получше, но и «26» не так уж плох. Здесь допоздна полно людей. И всегда звучит музыка.

Что, интересно, станет с остальными, когда чугунный шар разнесет их мираж вдребезги? А ведь это обязательно произойдет. Уже скоро. Дэвид представил, как Фил Палмер бро-

сится закрывать свою перепуганную, вопящую благим матом жену от падающих обломков, которые ничем не смогут ей навредить, поскольку ее там, по сути, и нет. Представил, как Пэмми Эндрисон в ужасе прижмется к кричащей матери. Как слова Рэттнера, тихони-проводника, потонут в реве больших желтых машин. Как хромой Биггерс вприпрыжку пустится к выходу, но споткнется, а его хрупкий мирок рухнет под напором чугунного маятника и рычащих бульдозеров.

Ему хотелось думать, что еще до катастрофы за ними придет поезд, родившийся из их общих надежд, но по-настоящему он в это не верил. Его даже посетила мысль, что от страшного потрясения они все просто угаснут, как пламя свечи на ветру, но не верилось и в это. Слишком четко стояла перед глазами картинка: бульдозеры, самосвалы и погрузчики наконец уехали, и вот они стоят в лунном свете у давно заброшенных путей, а ветер дует с гор, свистит в расщелинах и приминает высокую траву. Сгрудившись под бескрайним звездным небом, они все ждут и ждут своего поезда...

— Тебе холодно? — спросила Уилла.

— Нет, а почему ты спрашиваешь?

— Ты дрожишь.

— Может, кто-то прошелся по моей могиле.

Он закрыл глаза, и танец продолжился. Иногда они появлялись в зеркале, а когда пропадали, оставалась лишь старая песня, что звучала в пустом зале, освещенном сиянием неоновых гор.

Гретель

1

Только быстрый бег

После смерти маленькой дочки Эмили приистрастилась к бегу. Сперва добегала до конца подъездной аллеи и там сгибалась пополам, ловя воздух ртом, затем до конца квартала, затем до мини-маркета «Продукты от Коузи» у подножия холма. В мини-маркете она брала хлеб, маргарин и, если в голову больше ничего не приходило, шоколадное поленце «Хо-хо» или круглый «Ринг-динг» с замороженным кремом. Обратный путь Эмили поначалу преодолевала спокойным шагом, потом тоже бегом. Со временем она отказалась от сладостей. Далось это на удивление тяжело: во-первых, сахар был отличным антидепрессантом, универсальной палочкой-выручалочкой, во-вторых, у нее выработалась настоящая сахарная зависимость. В любом случае поленцам «Хо-хо» следовало сказать пока-пока. Поленца канули в Лету: теперь хватало

одного бега. Генри называл бег новой зависимостью, новой святыней и, пожалуй, не ошибался.

— Что об этом говорит доктор Штайнер? — поинтересовался он.

— Говорит, бегай сколько душе угодно, пусть эндорфины вырабатываются! — соврала Эмили, которая мало того, что не обсуждала новую святыню со Сьюзен Штайнер, вообще не была у нее после похорон Эми. — Для твоего спокойствия она готова написать «бег» на рецептурном бланке.

Лгать мужу Эмили умела всегда. Даже после смерти Эми. «Родим второго», — спокойно заявила она, присев на краешек кровати, на которой Генри свернулся калачиком и беззвучно глотал слезы.

Генри это утешило, и слава богу, только Эмили рожать больше не планировала: разве можно, если есть шанс в один прекрасный день обнаружить малыша посеревшим и неподвижным? Нет, хватит с нее искусственного дыхания с непрямой массажем сердца, от которых нет проку, хватит дежурных операторов 911, истошно орущих: «Не кричите, мэм, я вас не понимаю!» Но Генри об этом знать не обязательно, Эмили старалась успокоить мужа, по крайней мере поначалу. Она искренне верила, что всему голова — покой, а вовсе не хлеб. Возможно, когда-нибудь покой обретет и сама Эмили, но факт остается фактом: она родила больного ребенка, поэтому снова рисковать не собиралась.

Вскоре начались головные боли, жуткие, как мигрень. Тогда Эмили действительно обратилась к врачу, но не к Сьюзен Штайнер, а к доктору Мендесу, терапевту. Мендес прописал какой-то золмитриптан. На прием к Мендесу Эмили отправилась на автобусе, потом добежала до аптеки, чтобы купить лекарство, а потом — до дома. Получился кросс на две мили. На финише у подъездной аллеи Эмили казалось, что в правый бок, между верхним ребром и подмышечной впадиной, воткнули стальную вилку. Только она не расстроилась: физическая боль пройдет. Зато она устала и чувствовала, что сможет немного поспать.

Спала Эмили весь день и добрую половину вечера. На той самой кровати, где была зачата Эми и рыдал Генри. Когда проснулась, перед глазами расплывались круги — предвестники «Мигреней от Эм» — так она называла приступы головной боли. Эмили выпила новую таблетку, и, к ее вящему удивлению, боль сперва отступила куда-то в затылок, а потом исчезла вообще. «Жаль, от смерти ребенка таблетки не изобрели!» — с досадой подумала Эмили.

Она решила исследовать границы своей выносливости, подзревая, что исследование предстоит долгое. Недалеко от дома был колледж, а вокруг него — гаревые дорожки для бега. Туда она и стала ездить каждое утро, проводив мужа на работу. Генри страсти к бегу не понимал. Трусца — да, пожалуй-ста, трусцой бегают миллионы женщин. И приятно, и жировые валики исчезают, и живот подтягивается. Правда, у Эм валиков не имелось, и трусца ей не помогала. Помогал только быстрый бег.

Эмили ставила машину у дорожки и бегала до полного изнеможения, пока безрукавка с символикой университета штата Флорида не темнела от пота и спереди, и сзади, пока ноги не переставали слушаться и не подкатывала дурнота.

Генри узнал. Кто-то из соседей засек одинокую бегунью, в восемь утра наматывающую круги на дорожке, и настучал ему. Завязался спор, вылившийся в ссору, которая разрушила семью.

— Это хобби, — сказала она.

— Джоди Андерсон говорит, ты носилась по дорожке, пока не упала. Джоди испугалась, что у тебя сердечный приступ. Эм, это не хобби, не фетиш, а самая настоящая зависимость! — Генри укоризненно поглядел на нее.

Вскоре после этого Эмили швырнула в него книгу, но жирную точку на семейной жизни поставил именно тот укоризненный взгляд. У нее лопнуло терпение: длинное лицо Генри вкупе с застывшим взглядом делали его похожим на барана. «Господи, я выскочила замуж за безрогого барана, и теперь он блеет сутки напролет!»

Тем не менее Эмили попыталась в последний раз рационально подойти к явлению, в котором, как она подозревала, рациональное начало отсутствовало в принципе. Существует же магическое мышление, значит, существуют и магические действия. Например, бег.

— Марафонцы бегают, пока не упадут, — сказала она.

— Ты собираешься участвовать в марафоне?

— Возможно.

Эмили отвела взгляд и посмотрела в окно на подъездную аллею. Аллея звала и манила на улицу, а улица — в большой мир.

— Нет, — покачал головой Генри, — ни о каком марафоне ты не мечтаешь. Дело вовсе не в этом.

«Вот она, сущность Генри, его гребаная квинтэссенция!» — подумала Эмили, с мрачным торжеством осознавая очевидное. Все шесть лет их брака он как книгу читал ее чувства, планы и намерения.

«Я утешала тебя. — Эмили уже начинала злиться. — Ты лежал на кровати, рыдал, а я тебя утешала!»

— Бег — классическая реакция на душевную боль, психологический ответ на стресс, — серьезным, почти менторским тоном произнес Генри. — Это так и называется — условная реакция избегания. Милая, не прочувствовав боль, ты никогда не сможешь...

Тут Эмили и схватила первый подвернувшийся под руку предмет, которым оказалась «Дочь хранителя тайны» в мягкой обложке. Книгу Ким Эдвардс Эмили так и не осилила, зато Генри, судя по закладке, уже проглотил три четверти. «Даже литературные вкусы у него как у безрогого барана!» — раздраженно подумала Эмили, швырнула книгу и попала ему в плечо. Генри взглянул на нее круглыми от потрясения глазами и попытался схватить за руку. Вероятно, он собирался обнять и успокоить, но кто знает? Кто знает наверняка хоть что-нибудь?

Чуть больше проворства — Генри поймал бы ее за локоть, запястье или хотя бы за рукав футболки. Но ее выпад сильно обескуражил его. Генри промахнулся, а она пусти-

лась бежать, притормозив, только чтобы схватить поясной кошелек со столика у входной двери. Бегом по подъездной аллее, скорее на улицу, быстрее вниз по холму! Совсем недолго довелось Эмили прогуливаться там с коляской вместе с другими матерями, которые теперь ее сторонились. Однако сегодня она не то что останавливаться, даже скорость сбавлять не собиралась. В футболке с надписью «Поддержите группу поддержки!», шортах и кроссовках на босу ногу Эмили мчалась навстречу миру. Она надела поясной кошелек, застегнула и понеслась по склону. Что она чувствовала?

Эйфорию, самый настоящий кайф.

Эмили бежала по городу (две мили за двадцать две минуты); если загорался красный, она не останавливалась, а бежала на месте. На углу Мэйн и Истерн-стрит мимо проехали два парня на «мустанге» с откидным верхом (погода была как раз подходящая). Один засвистел, и Эмили показала наглецу средний палец. Наглец расхохотался, заплодировал, и «мустанг» помчался по Мэйн-стрит.

Денег с собой было в обрез, зато имелась пара кредиток. Особенно порадовало наличие «Американ экспресс», ведь с ней можно получить дорожные чеки.

Эмили поняла: домой она не собирается, по крайней мере в ближайшие дни. Понимание принесло не грусть, а облегчение, и у нее мелькнула мысль, что эта мера не временная.

В отель «Моррис» она заглянула, чтобы позвонить, но, поддавшись порыву, решила в нем заночевать. Можно снять номер на одну ночь? Да, конечно. Она протянула администратору свой «Амекс».

— Посыльный вам, видимо, не понадобится, — проговорил он, многозначительно глядя на ее футболку и шорты.

— Я уезжала в спешке.

— Поня-атно... — протянул администратор тоном, из которого следовало обратное.

Эмили схватила ключ и быстро зашагала к лифту, с трудом подавляя желание побежать.

Судя по голосу, ты плачешь

Ей хотелось купить одежду: пару юбок, пару блузок, двое джинсов и шорты, но до шопинга следовало позвонить Генри и отцу в Таллахасси. Начать решила с отца. Телефон автопарка, где он работал, Эмили не помнила, зато номер сотового знала наизусть. Отец ответил после первого же гудка.

— Привет, Эм, как ты? — закричал он под аккомпанемент рева моторов.

Щекотливый на первый взгляд вопрос в тупик не поставил.

— Пап, со мной все нормально. Я в отеле «Моррис», потому что, кажется, ушла от Генри.

— Навсегда, или это пробный шар? — уточнил отец.

Ни капли удивления в голосе: он воспринимал новости спокойно, что очень нравилось Эмили. Рев моторов стал тише, а потом заглох. Эмили представила, как папа входит в кабинет, закрывает дверь и, вероятно, берет ее портрет с заваленного всяким хламом стола.

— Трудно сказать, но пока возвращаться не думаю.

— Из-за чего поссорились?

— Из-за бега.

— Из-за бега?

— Ну, не только, — вздохнула Эмили. — Порой одно на деле означает совсем другое, понимаешь? Или целые слои совсем другого.

— Из-за ребенка, — заключил отец.

Со дня внезапной смерти внучки он называл ее не Эми, а просто «ребенок».

— Да, а еще из-за того, как я справляюсь с горем. Очевидно, совсем не так, как хотелось бы Генри, а вот мне вздумалось поступить по-своему.

— Генри — хороший парень, но да, собственные взгляды у него имеются. Как же иначе?

Эмили промолчала.

— Я могу чем-то помочь?

— Да, — сказала Эмили и объяснила, чем именно.

Отец согласился. Эмили знала, что он согласится, но сперва выслушает ее историю до конца. Ей очень хотелось выговориться, а старый Расти Джексон слушать умел. Иначе он вряд ли превратился бы из рядового автомеханика в одного из самых важных людей университетского городка (в этом Эм уверяли другие, сам отец не стал бы хвастать ни перед дочерью, ни перед кем-то еще).

— Я пришлю Мариэтту прибраться в доме, — сказал он.

— Пап, не надо, я в состоянии прибраться сама.

— Нет, там давно нужна генеральная уборка. Чертов дом закрыт почти целый год. С тех пор как умерла твоя мама, на Вермиллион-Ки я почти не выезжаю: в Таллахасси всегда дел невпроворот.

Покойную жену, равно как и маленькую внучку, Расти по имени не называл. После похорон (Дебра Джексон умерла от рака яичников) она превратилась в «твою маму».

«Ты точно не возражаешь?» — едва не вырывалось у Эм, но такие вопросы задают, когда просят об одолжении посторонних, ну или когда с отцом другие отношения.

— Ты бегать там собираешься? — поинтересовался Расти, и Эмили поняла, что он улыбается. — Пляжи на Вермиллионе бесконечные, плюс длинный участок хорошей дороги. Толкаться не придется: теперь до самого октября отдыхающих не будет. Тишина и покой!

— Я собираюсь там думать. Подумаю и, вероятно, поставлю точку на скорби по Эми.

— Вот и хорошо, — отозвался отец. — Забронировать тебе билет?

— Пап, я сама справлюсь.

— Разумеется, справишься. Эм, ты точно в порядке?

— Да.

— Судя по голосу, ты плачешь.

— Да, немного. Все случилось слишком быстро! — пожаловалась она, вытерла лицо и чуть не добавила: «Совсем как смерть Эми». Бедная крошка проявила себя маленькой леди: из «радионяни» не донеслось и слабого писка. «Уходи тихо, дверью не хлопай», — нередко слышала Эмили от мамы, особенно в подростковом возрасте.

— Генри ведь не заявится в отель и не станет тебе докучать?

Перед словом «докучать» Расти замялся буквально на секунду, но Эмили паузу расслышала и улыбнулась, хотя по щекам повсю текли слезы.

— Тебя интересует, не поколотит ли меня Генри? Нет, это не в его стиле.

— Когда уходит жена, и не просто уходит, а бегом сбегает, волей-неволей изменишь своему стилю.

— Генри не такой, — возразила Эмили. — Он скандалить не станет.

— Может, сначала заглянешь в Таллахасси?

Она замялась. С одной стороны, ей хотелось, но с другой...

— Если честно, мне нужно немного побыть одной. Все случилось слишком быстро, — повторила она, хотя подозревала: сегодняшний взрыв назревал давно, возможно даже таился в ДНК их брака.

— Ну хорошо. Эм, я люблю тебя.

— Я тоже люблю тебя, папа! Спасибо. — Она нервно сглотнула. — Огромное спасибо.

Генри действительно не стал скандалить, даже не поинтересовался, откуда она звонит, и лишь сказал: «Вероятно, тайм-аут нужен не только тебе, он пойдет на пользу нам обоим».

Эмили подавила желание, нормальное и одновременно абсурдное, поблагодарить мужа. Разумнее было промолчать, и следующая фраза Генри подтвердила правоту ее решения:

— И к кому ты обратилась за помощью? К королю автопарка?

На сей раз Эмили подавила желание спросить, не звонил ли Генри любимой мамочке: тактика «зуб за зуб» редко дает хорошие результаты.

— Я собираюсь на Вермиллион-Ки, — с подчеркнутым спокойствием объявила она. — У папы там дом.

— Избушка из ракушек! — фыркнул Генри, и Эмили мысленно нарисовала себе его усмешку.

Дома с тремя комнатами и без гаража Генри всерьез не воспринимал, равно как и бисквитные пирожные «Твинки» с шоколадными поленцами «Хо-хо».

— Ладно, доберусь — позвоню, — бросила она.

Повисла тишина. Эмили представила, как Генри стоит в кухне, прислонившись к стене, сжимает трубку так, что костяшки побелели, и пытается совладать с гневом ради шести лет их в основном счастливого брака. Эми надеялась, что у него получится (конечно, если она попала в точку со своими фантазиями).

— Кредитки взяла? — осведомился Генри вполне спокойным, но усталым голосом.

— Да, но транжирить деньги не собираюсь. Мне нужна лишь моя половина... — Эмили осеклась и закусил губу. Надо же, едва не назвала бедную малышку «ребенком». Разве это правильно? Возможно, отцу это подходит, но самой ей так нельзя! Эмили начала снова: — Мне нужна половина отложенного на колледж Эми. Наверное, там немного, но...

— Больше, чем ты думаешь, — перебил Генри, в голосе которого снова зазвучало разочарование. Копить на колледж ребенка они начали не когда родилась Эми и даже не когда забеременела Эмили, а когда они окончательно решили обзавестись потомством. Попытки воплотить решение в жизнь

растянулись на четыре года. Супруги уже подумывали о лечении от бесплодия и усыновлении, но тут мечта осуществилась. — Иначе как блестящими наши инвестиции не назовешь, особенно в акции производителей софты. Мы, как говорится, оказались в нужном месте в нужное время. Эмми, ты ведь не намерена залезать в ту кубышку?!

Ну вот, Генри опять указывает, чего можно хотеть, а чего — нет.

— Доберусь — сразу сообщу адрес, — процедила Эмили. — Со своей половиной поступай, как заблагорассудится, а на мою выпиши чек.

— Все бегаешь, — проговорил Генри, и Эмили промолчала, хотя менторски-профессорский тон мужа пробудил горячее желание швырнуть в него еще одну книгу, на сей раз в твердом переплете. — Слушай, Эм, — прервал затянувшуюся паузу Генри, — через пару часов я уеду, так что можешь забрать вещи и так далее. На комод оставлю немного личных.

Эмили чуть было не согласилась, но потом ей пришло в голову, что деньги на комодах и столиках обычно оставляют шлюхам.

— Нет, — твердо произнесла она. — Хочу начать с чистого листа.

— Эм! — горестно вздохнул Генри. Молодая женщина представила, как муж борется с эмоциями, и перед глазами снова потемнело. — Нашей семье конец, да, детка?

— Не знаю, — ответила Эмили, стараясь говорить как можно спокойнее. — Время покажет.

— Если бы я строил прогнозы, то сказал бы «да». Сегодня я осознал две вещи: во-первых, молодая здоровая женщина способна убежать далеко.

— Я перезвоню, — пообещала Эмили.

— Во-вторых, если живые младенцы укрепляют брак, подобно цементу, то мертвые разъедают словно серная кислота.

Самая обидная шпилька Генри не уколола бы больше, чем дурацкая метафора, в которую он превратил дочку. Эм бы на такое не решилась, не только сейчас, а вообще никогда.

— Я перезвоню, — повторила она и повесила трубку.

3

Опустевший Вермиллион-Ки наслаждался покоем

Итак, Эмили Оуэнсби сбежала по подъездной аллее, затем вниз по холму к мини-маркету «Продукты от Коузи», затем на гаревую дорожку Колледжа Южного Кливленда. Она сбежала в отель «Моррис», сбежала от опостылевшего мужа, без оглядки, как сбегают уставшие терпеть женщины, у которых под ногами горит прошлое. Чуть позже Эмили (с помощью «Саутвест эрлайнз») сбежала в Форт-Майерс, штат Флорида, а там взяла напрокат машину и покатила на юг к Нейплсу.

Опустевший Вермиллион-Ки наслаждался покоем под палящими лучами июньского солнца. Две мили по дороге от разводного моста, и Эмили уперлась в кузую подъездную аллею. Аллея вела к коттеджу из некрашеного ракушечника с синей крышей и облупленными синими ставнями, довольно неказистому снаружи, но уютному и комфортному внутри. Во всяком случае кондиционеры работали исправно!

Когда Эмили заглушила мотор «ниссана», вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом волн, накатывающих на пустынный пляж, и испуганным «У-у-о! У-у-о!» птицы, кричащей где-то совсем рядом.

Эм уронила голову на руль и добрых пять минут рыдала, выплескивая страх и напряжение последних шести месяцев. По крайней мере она пыталась, ведь в пределах слышимости не было никого, кроме у-окающей птицы. Вдоволь наплакавшись, Эмили сняла футболку и стерла сопли, пот и слезы с

лица, шеи и груди, обтянутой трикотажным серым бюстгалтером. Когда она шла к дому, под ногами хрустели ракушки и обломки кораллов. Эмили наклонилась за ключом, который лежал в коробке от пастилок «Сакретс», спрятанной под обаятельным уродцем-гномом в выгоревшем (изначально красном) колпаке, и подумала, что уже неделю не вспоминает о «мигренях от Эм». И слава богу, ведь золмитриптан остался в тысяче миль от Вермиллион-Ки.

Пятнадцать минут спустя Эмили, переодевшаяся в шорты и старую отцовскую футболку, уже бежала по пляжу.

Следующие три недели ее жизнь поражала спартанской простотой. На завтрак Эм пила кофе и апельсиновый сок, на обед поглощала огромные порции зеленого салата, а на ужин лакомилась мороженостями от «Стоуфферс» — макаронами с сыром или фаршем на тосте, который отец называл дерьмом на палочке. Углеводы были очень кстати. По утрам, когда еще царила прохлада, Эмили босиком бегала по пляжу, у самой воды, где лежал плотный влажный песок, а ракушек почти не попадалось. После обеда, когда становилось жарко, хотя нередко заряжал дождь, она бегала по тенистой, на большинстве участков, дороге. Иногда Эмили промокала до нитки. В таких случаях она бегала под дождем с улыбкой, порой даже смехом, а вернувшись домой, бросала одежду в стиральную машину, которая, на счастье, стояла в трех шагах от душевой кабины.

Сперва Эмили ежедневно пробегала две мили по пляжу и одну по дороге, а через три недели — три по пляжу и две по дороге. Свое убежище Расти Джексон любовно окрестил «Зеленым шалашом», вероятно, в честь какой-то старой песни. Шалаш стоял на северной оконечности острова, и второго такого на Вермиллион-Ки не было: остальную территорию оккупировали богатые, очень богатые, а южную оконечность, где высились три «дворца», — безумно богатые. Иногда Эм обгоняли грузовики с приспособлениями для ландшафтного дизайнера и уборки территории и куда реже — легковушки. Все

дома, мимо которых она пробегала, были закрыты, а подъездные аллеи огорожены цепями. Эмили знала: так они просто-ят до октября, когда начнут стягиваться хозяева. Постепенно она придумала названия для каждого из домов: «дворец» с колоннами окрестила «Тарой», окруженный металлическим забором-решеткой — «Тюрьмой», огромный, спрятанный за уродливой стеной из серого бетона — «Секретным объектом», а второй (после отцовского) дом небольшого размера, обсаженный пальметто и фенакоспермумами — «Логовом троллей», обитатели которого весь сезон питаются исключительно печеньем для троллей.

На пляже Эмили нередко встречала волонтеров из Общества спасения морских черепах и вскоре выучила их имена. «Привет, Эм!» — кричали они ей вслед. Посторонних почти не было, хотя однажды над самой ее головой пролетел вертолет. Молодой пассажир высунулся из кабины и помахал рукой. Эм помахала в ответ, радуясь, что ее бейсболка с символикой «Флоридских семинолов» надвинута на самое лицо.

За продуктами Эмили ездила в «Пабликс», расположенный в пяти километрах по шоссе 41, а на обратном пути нередко останавливалась в букинистической лавке Бобби Трикетта, которая хоть и была намного больше отцовского Шалаша, по сути являлась той же избушкой из ракушек. Эмили покупала детективы Реймонда Чандлера и Эда Макбейна в мягкой обложке с пожелтевшими страницами и сладковатым запахом, навевающим не меньшую ностальгию, чем древний «Форд-универсал» с деревянным кузовом, двумя пластмассовыми креслами, привязанными к крыше, и выдавшей виды доской для серфинга, торчащей сзади, который Эм однажды встретила на шоссе 41. Детективы Джона Макдональда брать не стоило: у отца имелось чуть ли не полное собрание сочинений, распределенное по грубым шкафам. К концу июля грудь Эмили превратилась в прыщики, попа исчезла. Она пробегала по шесть, а то и семь миль в день, заставила свободные полки книгами с названиями вроде «Мертвый город» и «Шесть злодеяний», забыла про телевизор — даже погоду не

смотрела, — ни разу не включала старый компьютер и не читала газет.

Отец звонил через день, но перестал спрашивать, «не стоит ли положить на работу и нагрянуть в гости», после того как Эм объяснила: когда будет готова к встрече, скажет сама. Пока она завершила лишь, что о самоубийстве не думает (правда), от депрессии не страдает (ложь) и нормально питается. Расти хватило и этого, ведь они с дочерью привыкли доверять друг другу. Эмили знала, что в летние месяцы у отца хлопот полон рот: все, чем нельзя заниматься, когда по университетскому городку шныряют студенты, следовало сделать с пятнадцатого июня по пятнадцатое сентября, когда вокруг лишь слушатели летних курсов и участники научных конференций, которые проводит администрация.

Еще у отца имелась подруга по имени Мелоди. Подробностями Эм не интересовалась, не представляя, как их воспримет, зато знала: отец с Мелоди счастлив, поэтому всегда о ней спрашивала. «У Мел все пучком», — неизменно отвечал отец.

Однажды Эмили позвонила Генри, и однажды Генри позвонил ей, кажется, пьяный. В тот вечер он раз десять спрашивал, считать ли их отношения законченными, а Эмили врала, что не знает. Наверное, врала.

По ночам Эмили точно в кому проваливалась. Сначала ее мучили кошмары: снова и снова снилось утро, когда они с Генри обнаружили дочку серой и холодной. Порой она видела Эми почерневшей, как гнилая ягода, а пару раз в кошмарах «покошмарнее» малышка отчаянно хрипела, и она спасала ее искусственным дыханием «изо рта в рот». Подобные кошмары пугали сильнее всего, ведь, просыпаясь, Эмили осознавала: девочка мертва. Одну из таких попыток прервал гром. Молнии вспарывали небо над Мексиканским заливом и чертили на стенах эфемерные ярко-голубые узоры. Эмили соскользнула с кровати, прижала колени к груди и разрыдалась, кулаками растягивая рот в страшной улыбке.

По мере увеличения физических нагрузок — нужно же исследовать границы своей выносливости — кошмары либо исчезли, либо отступили на задворки памяти. Эмили просыпалась не столько посвежевшей, сколько эмоционально разряженной, причем разряженной полностью. Дни на Вермиллион-Ки были похожи, как близнецы, но теперь каждый новый казался действительно новым, а не продолжением старого. Однажды, открыв глаза, Эмили поняла: смерть дочки из жуткого настоящего незаметно превратилась в прошлое.

Молодая женщина решила пригласить в гости отца. Если хочет, пусть и Мелоди свою привозит, она приготовит им праздничный ужин. При желании могут и на ночь остаться, в конце концов дом-то отцовский.

Вскоре появились другие мысли: что делать со своей настоящей жизнью, той, которая ждет за разводным мостом. Что ей стоит сохранить, а от чего лучше избавиться?

Нужно еще немного времени, совсем немного. Неделя, максимум две, и она позвонит отцу. Эмили чувствовала, что уже почти готова. Почти.

4

Не очень хороший человек

Однажды, незадолго до того как июль уступил права августу, Дик Холлис объявил Эмили, что она больше не будет маяться от скуки на пустынном острове, мол, у нее появилась компания. Крошечный Вермиллион-Ки он называл исключительно островом, а не островком.

Про таких, как Дик, говорят «стреляный воробей». Иногда он выглядел на пятьдесят, иногда — на все семьдесят. Высокий, поджарый, он постоянно носил соломенную шляпу, напоминающую перевернутую миску, и с семи утра до семи вечера дежурил на разводном мосту, который соединяет

Вермиллион-Ки с материком. Дик работал с понедельника по пятницу, а в выходные его сменял Малой (явно справивший тридцатилетие). Порой Эмили вбегала на мост и, увидев в старом плетеном кресле у будки дежурного не Дика, а Малого, читающего не «Нью-Йорк таймс», а «Популярную механику» или «Максим», с ужасом понимала, что пролетела очередная неделя.

Однако в тот день, как ни странно, дежурил Дик. В темнеющем под хмурым небом проливе между Вермиллионом и материком, который Холлис величал горлом, не было ни души. Сидящая на перилах моста цапля либо медитировала, либо караулила рыбу.

— Компания? — удивилась Эм. — Нет у меня никакой компании.

— Я имел в виду другое. Пикеринг вернулся. Он ведь в триста шестьдесят шестом живет? Вот, «племянницу» привез.

На слове «племянница» Холлис закатил блекло-голубые, почти бесцветные глаза.

— Я никого не видела, — парировала Эм.

— Верно, — кивнул Дик. — Пикеринг прикатил на своем красном «мерсе» около часа назад, ты небось тогда кроссовки зашнуровывала. — Холлис подался вперед, зашуршав лежащей на впадом животе газетой. Эмили успела разглядеть наполовину разгаданный кроссворд. — Каждое лето у него новая «племянница»! Всегда молодая! А иногда, — Дик сделал паузу, — иногда в августе он привозит одну, а в сентябре — другую.

— Я с ним не знакома, — проговорила Эм, — и красных «мерседесов» здесь не видела.

Эмили даже не представляла, который из домов триста шестьдесят шестой. Она обращала внимание на сами дома, а не на почтовые ящики с номерами. Естественно, за исключением номера двести девятнадцать: на том ящике красовался целый выводок деревянных птичек (соответствующий ему дом Эм, разумеется, окрестила Скворечником).

— Ну и тем лучше, — отозвался Дик и вместо того, чтобы закатить глаза, резко опустил уголки рта, словно проглотив гнилую ягоду. — Сюда Пикеринг везет девчонок на «мерсе», а обратно в Сэнт-Питерсберг — на яхте. У него большая белая яхта, называется «Карусель». Сегодня утром она как раз мимо моста проплыла. — Дик снова опустил уголки рта. Вдали гроыхнул гром. — Пикеринг показывает девчонкам дом, потом отправляется с ними в мини-круиз и пропадает до января, когда в Чикаго становится холодно.

Во время утренней пробежки по пляжу Эм вроде бы видела белую красавицу у причала, но точно уверена не была.

— Через пару дней, максимум неделю, его люди отгонят «мерс» туда, где он обычно стоит. Наверное, в гараж неподалеку от частного аэропорта в Нейплсе.

— Похоже, ваш Пикеринг очень богат, — отметила Эм.

Столь долгих и интересных разговоров у них с Диком еще не случалось, но она начала бежать на месте, отчасти боясь, что остынут мышцы, но в основном, потому что тело настойчиво звало вперед.

— Богат, как Скрудж Макдак, только Пикеринг свои деньги тратит на то, что в утиную голову дядюшки Скруджа точно бы не пришло. Говорят, его бизнес как-то связан с компьютерами. Думаю, у всех Скруджей так, верно? — Холлис закатил глаза.

— Да, пожалуй, — кивнула Эм, не прекращая бег на месте.

Вдали снова гроыхнуло, на сей раз поувереннее.

— Вижу, тебе не терпится сбежать, но я не просто так это рассказываю, — заявил Дик, аккуратно свернул газету, положил рядом с креслом, а сверху вместо пресс-папье поставил кофейную чашку. — Привычки сплетничать о местных обитателях у меня нет. Они в основном богаты, и сплетничай я с каждым встречным, давно бы место потерял. Но ты, Эмми, мне нравишься: держишься особняком, нюни не распускаешь, и отец у тебя замечательный — сколько раз меня пивом угощал!

— Спасибо! — поблагодарила тронутая до глубины души Эмили, а потом, кое-что сообразив, улыбнулась: — Отец попросил вас за мной приглядывать?

— Нет! — покачал головой Холлис. — Не просил и никогда не попросит. Это не в стиле Расти Джексона, хотя он сказал бы тебе то же самое: «Джим Пикеринг не очень хороший человек, я бы держался от него подальше. Если пригласит пропустить стаканчик или даже выпить чашечку кофе со своей новой «племянницей», лучше отказаться, а если позовет в круиз, следует отказаться категорически».

— Круизы меня больше не интересуют, — заявила Эмили. В данный момент ее интересовала лишь задача, ради которой она приехала на Вермиллион-Ки. Эмили чувствовала: задача почти решена. — Побегу домой, пока дождь не полил!

— Он полетит не раньше пяти, — проговорил Дик. — Хотя, даже если я ошибаюсь, с тобой ничего не случится.

— Я тоже так думаю, — снова улыбнулась Эмили. — Вопреки расхожему мнению, женщины под дождем не тают. Передать отцу привет?

— Обязательно. — Холлис нагнулся за газетой, потом взглянул на Эм из-под своей нелепой шляпы. — Кстати, как твои дела?

— Лучше, с каждым днем лучше. — Эмили развернулась и побежала к «Зеленому шалашу». Она подняла руку — пока, мол, — и сидевшая на перилах цапля пролетела мимо, зажав в длинном клюве рыбу.

Домом номер триста шестьдесят шесть оказался «Секретный объект», ворота которого впервые со дня приезда Эмили на Вермиллион-Ки были приоткрыты. Или они были приоткрыты, уже когда она бежала к мосту? Эмили не помнила. Да, конечно, ведь чтобы не терять счет времени, она стала брать на пробежки массивные электронные часы с крупными цифрами. Вероятно, на них она и смотрела, пробегая мимо.

Сперва Эмили не собиралась останавливаться у «Секретного объекта»: гроза приближалась. Однако на ней ведь была не замшевая юбка за тысячу долларов из бутика, а наряд из спортивного магазина: шорты и футболка с «галочкой» «Найк». К тому же, как она сказала Дик, женщины под дождем не тают. В общем, Эмили сбавила скорость, свернула к дому и заглянула за ворота. Из чистого любопытства.

Во дворе стоял «Мерседес-450 SL», который Эмили узнала, потому что ее отец ездил на таком же. Только машина Рас-ти была уже старая, а эта — новехонькая, карминно-красная и блестящая даже под слабыми лучами затянутого тучами солнца. Багажник оставили открытым. Из него свисала длинная прядь белокурых волос. Перепачканных кровью...

Дик упоминал, что гостя Пикеринга — блондинка? Первым в сознании Эмили возник именно этот вопрос. Потрясенная до глубины души Эм не чувствовала в нем ничего странного: вопрос казался вполне логичным, а Дик на него не ответил. Он лишь съязвил, что гостя молода, назвал ее «племянницей» и закатил глаза.

На сей раз гроыхнуло прямо над головой.

За исключением ярко-красной машины и блондинки (в багажнике лежала именно она), во дворе не было ни души. Дом тоже казался пустым, он словно прятал нутро от внешнего мира и даже больше обычного напоминал секретный объект. Унылый пейзаж не смягчали и раскачивающиеся на ветру пальмы: слишком много серого, холодного, безжизненного. Не дом, а уродливая громадина!

Послышался стон. Толком не подумав, Эмили бросилась через двор к красному «мерседесу» и заглянула в багажник. Стонала явно не белокурая девушка. Нет, ее глаза были открыты, но на теле запекался добрый десяток ножевых ран, а горло перерезали от уха до уха.

Эмили точно примерзла к месту: шок не давал ни шевельнуться, ни вздохнуть. А потом в голову пришло, что блондинка ненастоящая, то есть это кукла, манекен, киношная бутафория. Холодный рассудок заявил: манекенная те-

ория — чистой воды бред, однако сопротивляющаяся шоку психика согласно закивала и мгновенно выдавала вполне рациональное объяснение. Дику не нравится Пикеринг с бесконечными «племянницами»? Вероятно, неприязнь взаимна, и Пикеринг замыслил образцово показательный розыгрыш: он пройдет через мост с приоткрытым багажником, из которого «случайно» выбьется окровавленная белокурая прядь, и...

Тут Эмили почувствовала запах: из багажника пахло кровью и дерьмом. Она боязливо прикоснулась к щеке блондинки. Холодная... кожа. Господи, господи, человеческая кожа!

За спиной послышался шорох. Шаги. Эмили уже начала оборачиваться, когда по голове ударило что-то тяжелое. Боли не было, на секунду мир стал ослепительно белым, а потом погрузился во мрак.

5

Он хочет показать ей мышку

Очнулась Эмили с изолентой на лодыжках, туловище и запястьях: ее крепко привязали к стулу на просторной кухне, полной жутких стальных предметов. Стальная мойка, холодильник и плита куда больше подошли бы кафе или ресторану. Затылок посылал длинные радиоволны болевых сигналов: «Помоги! Помоги! Помоги!»

У раковины стоял высокий стройный мужчина в шортах и старой тенниске «Изод». Безжалостные люминесцентные лампы позволили разглядеть и гусиные лапки, и поблескивающую на висках седину. Эм дала ему лет пятьдесят. Мужчина мыл руки, нет, не просто мыл, а промывал колотую рану под левым локтем.

Мужчина обернулся. Простое движение выдало в нем проворного безжалостного хищника, и у Эмили засосало под

ложечкой. Голубые глаза оказались куда ярче, чем у Дика Холлиса, и полыхали таким безумием, что под ложечкой засосало еще сильнее. На полу — та же уродливая серость, что во дворе, только вместо бетона кафель — поблескивала темная дорожка дюймов восемь шириной. Наверняка кровь. Эм без труда представила, как Пикеринг волочит девушку неизвестно куда, и длинные волосы размазывают кровь по кафелю.

— Очнулась? — поинтересовался Пикеринг. — Хорошо. Отлично. Думаешь, я хотел ее убить? Ничего подобного! Она прятала нож в чертовом носке. Я лишь за руку ее ущипнул. — Задумавшись, Пикеринг промокнул сильно кровоточащую рану под локтем бумажной салфеткой. — Ну, еще за титьку. Ведь вы, девчонки, только этого и ждете, по крайней мере должны ждать. Стандартная любовная прелюдия... или в данном случае прешлюхия!

После каждой фразы Пикеринг расставлял кавычки большим и указательным пальцами правой руки. Эм казалось, он хочет показать ей мышку или паучка, совсем как она показывала маленькой дочке. Хозяин дома безумен — это сомнений не вызывало. Гром громохнул так, словно в небесной канцелярии ломали мебель. Эм даже подпрыгнула — насколько позволил тяжелый стул, — а стоящий у двойной раковины Пикеринг не шелохнулся. Выпятив нижнюю губу, он разглядывал пленницу.

— В общем, нож я у нее отнял, а потом сорвался с катушек. Да, признаю. Меня называют мистером Самообладание, и я стараюсь соответствовать репутации. Правда стараюсь. Только обывателям невдомек: голову может потерять каждый, особенно при определенных обстоятельствах.

За окном дождь полил как из ведра. Вероятно, Всевышний спустил воду в собственном унитазе.

— Кто может догадаться, что ты здесь?

— Очень многие, — без колебаний ответила Эмили.

Пикеринг подлетел к ней быстрее молнии. Да, именно молниеносно. Секунду назад он стоял у раковины, а в следующую очутился рядом с Эмили и отвесил такую пощечину,

что перед глазами поплыли белые круги и по кухне понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами. Волосы свесились набок, из разбитой нижней губы потекла кровь, вдобавок Эмили сильно поцарапала ее зубами, ей даже показалось, что прокусила. На улице бушевал ливень. «Умру в дождь», — подумала она, но сама в это не поверила. Хотя кто верит в свою смерть?

— Кто знает?! — прямо в лицо ей прогремел Пикеринг.

— Очень многие, — повторила она, но из-за распухшей губы получилось «Очень многие». С подбородка тонкой струйкой стекала кровь, а вот голова не пухла и, несмотря на боль и страхи, работала с поразительной отдачей. Эм понимала: чтобы спастись, следует убедить Пикеринга, что, убив ее, он поставит себя под удар. Разумеется, отпустив ее, Пикеринг тоже поставит себя под удар, но это она обдумает позднее. С проблемами, точнее, кошмарами, лучше разбираться по мере их появления.

— Очень многие! — еще раз повторила она с откровенным вызовом. Пикеринг молнией метнулся обратно к раковине и вернулся с маленьким ножом в руках. Вероятно, именно его прятала в носке несчастная девушка. Пикеринг приставил кончик к нижнему веку Эмили и слегка надавил. В этот момент ее мочевого пузыря не выдержал и разом опорожнился.

Пикеринг гадливо поморщился, но вместе с отвращением на его лице мелькнул восторг. Эмили даже удивилась: как один человек может одновременно испытывать столь противоречивые чувства. Пикеринг отступил на полшага, но кончик ножа по-прежнему оттягивал ее нижнее веко.

— Отлично! — процедил он. — Мало грязи я выгреб, ты еще добавила. Впрочем, все вполне предсказуемо. Да, конечно! Как выразился тот человек? «Снаружи места больше, чем внутри». Угу, именно так! — Пикеринг коротко хохотнул, и его ярко-голубые глаза впились в карие глаза Эмили. — Назови хоть одного человека, которому известно, что ты здесь. Ну, выкладывай! Начнешь мяться — я почувствую фальшь,

выколю тебе глаз и брошу в раковину. За мной не заржавеет. Давай выкладывай, живо!

— Дик Холлис, — прошелестела Эмили.

Она предательница, подлая предательница, но имя буквально сорвалось с губ: глаз терять совершенно не хотелось.

— Кто еще?

На ум больше ничего не приходило: лихорадочно работающий мозг не выдал ни одного имени. Эмили не сомневалась, что Пикеринг не врет и, почуяв фальшь, впрямь выколет ей глаз.

— Никто, больше никто, понял? — зарыдала она. В принципе Дика должно было хватить. Одного человека вполне хватило бы, если Пикеринг не полный безумец, и не попытается...

Пикеринг убрал нож, и Эмили скорее почувствовала, чем увидела периферическим зрением: на нижнем веке появилась крошечная бусинка крови. Ерунда! Главное, периферическое зрение не отняли!

— Понял, ладно, ладно, ладно... — Пикеринг, метнувшись к раковине, швырнул туда ножик. Эм вздохнула с облегчением, но он достал из ящика нож побольше — длинный, острый, такими мясо разделявают. — Ладно! — Он вернулся к Эмили. На одежде Пикеринга кровавых пятен не просматривалось, ни единого. Как же это получилось? Она долго была без сознания? — Ладно, ладно. — Он провел левой рукой по коротким, явно постриженным в абсурдно дорогом салоне волосам — они тотчас легли, как нужно. — Кто такой Дик Холлис?

— Смотритель разводного моста, — дрожащим голосом ответила Эмили. — Мы говорили о вас, поэтому я и заглянула за ворота. Дик видел девушку! — в порыве вдохновения выпалила она. — Сказал, это ваша племянница.

— Да-да, девочки возвращаются домой на яхте — больше твой Дик не знает ничего, абсолютно ничего. Надо же, как любопытны люди! Где твоя машина? Отвечай немедленно, не то сделаю эксклюзивную ампутацию груди. Быструю, но отнюдь не безболезненную.

— У «Зеленого шалаша»! — выдала перепуганная Эм.

— Какого еще шалаша?

— Это маленький домик из ракушечника на северной оконечности острова. Он принадлежит моему отцу... — Тут у нее появилась отличная мысль. — Отец знает, что я здесь!

— Да-да, — пробормотал внезапно утративший интерес Пикеринг. — Понятно, здорово... Так ты здесь живешь?

— Да...

Пикеринг взглянул на ее шорты, из голубых превратившиеся в темно-синие.

— Ты ведь бегунья? — спросил он. Эмили промолчала, но Пикеринг несколько не смутился. — Конечно, бегунья! Только посмотри на эти ноги! — К вящему изумлению Эм, он поклонился, словно встретив члена королевской семьи, и шумно чмокнул ее левое бедро чуть ниже шорт. Когда Пикеринг выпрямился, на его шортах появилась заметная выпуклость. Проклятие, этого еще не хватало! — Бегаешь туда-сюда, туда-сюда... — Он махнул массивным ножом, точно дирижер палочкой — получилось очень завораживающе. За окнами лило как из ведра. Еще минут сорок, максимум час такого ливня, и снова выйдет солнце, но Эмили не знала, суждено ли ей его увидеть. Скорее всего нет, хотя это по-прежнему казалось невозможным, даже невероятным. — Туда-сюда, туда-сюда. Иногда болтаешь со стариком в соломенной шляпе, но больше ни с кем. — Невзирая на испуг, Эмили поняла: безумец разговаривает с самим собой. — Да, больше ни с кем, ведь здесь больше никого нет. Лишь немые латинос, которые сажают деревья да газоны стригут. Думаешь, кто-то из них вспомнит, что ты пробегала мимо?

Лезвие ножа маятником двигалось вперед-назад, а Пикеринг смотрел на него, словно в ожидании ответа.

— Нет, — покачал он головой, — и я объясню почему. Для них ты очередная богатая гринго, помешанная на беге. Такие повсюду, каждый день с ними сталкиваюсь! Шизанутые фанатки здорового образа жизни, вечно под ногами путаетесь! Если не бегаєте, то на велосипедах гоняете, в своих ду-

рацких шлемах, ведь так? Еще бы! Ну, леди Джейн, помолись, только быстрее. Времени у меня в обрез, я тороплюсь, очень тороплюсь!

Пикеринг поднял нож к плечу и поджал губы в предвкушении смертельного удара. Эмили показалось, что над миром разошлись тучи, и яркое солнце осветило каждый его закоулок. «Доченька, я иду к тебе», — подумала она и, как ни странно, вспомнила фразу, которую, вероятно, слышала на «И-эс-пи-эн»: «Жди меня, малышка!»

Однако Пикеринг замер и обернулся, точно на чей-то голос.

— Да? — спросил он, а потом сам ответил: — Да, да.

В центре кухни стоял разделочный стол с пластиковой крышкой — туда Пикеринг и швырнул приземлившийся с громким лязгом нож вместо того, чтобы вонзить его в Эмили.

— Сиди здесь, убивать тебя не стану. Я передумал. Может ведь человек передумать! От Николь я ничего, кроме пера в локоть, не добился.

На столе лежал тонкий рулон изоленты. Пикеринг потянулся к нему и секунду спустя уже стоял перед Эмили на коленях. Беззащитный затылок точно дразнил ее. В ситуации поблагоднейшее и посправедливее она сложила бы пальцы замком и как следует двинула бы по уязвимому месту. Только запястья были надежно привязаны к массивным кленовым подлокотникам. Ее туловище Пикеринг обездвигил толстыми кольцами ленты на уровне талии и под грудью, а ноги прикрепил к ножкам стула на уровне колен, в верхней и нижней части икр. Да, он, что называется, поработал на совесть.

Ножки стула Пикеринг, в свою очередь, прилепил к полу, а теперь добавлял свежие слои ленты сначала спереди, потом сзади. Когда все было готово, а вся лента израсходована, он поднялся и положил картонный сердечник мотка на разделочный стол.

— Ну вот, — произнес он, — получилось весьма недурно. Жди меня здесь... — Видимо, собственная фраза показалась

ему забавной, потому что он запрокинул голову и хохотнул. — Только не скучай и не убегай, договорились? Мне нужно разобраться с твоим престарелым дружкой, причем желательно успеть до окончания ливня.

На сей раз он метнулся к двери, за которой скрывался одежный шкаф, и вытащил желтый дождевик.

— Я знал, что он где-то здесь! Мужчины в плащах внушают доверие, трудно сказать почему. Очередной необъяснимый факт. Ладно, подружка, сиди тихо!

Пикеринг снова хохотнул, но прозвучало больше похоже на лай озлобленного пуделя, и исчез.

6

По-прежнему 9.15

Когда хлопнула передняя дверь, и Эмили поняла, что мучитель действительно ушел, необыкновенная яркость окружающего мира сменилась унылой серостью. Эмили почувствовала: она на грани обморока. Нет, обморок она позволить себе не может, ни в коем случае. Если загробный мир существует и рано или поздно она встретит там отца, как объяснить, что последние минуты жизни она потратила на обморок, то есть бездарно и впустую? Расти Джексон будет разочарован. Даже если они встретятся по колено в облаках, среди небесных ангелов, играющих небесную музыку (наверняка на арфах), Расти Джексон будет разочарован, что единственный шанс спастись дочь променяла на старый добрый обморок.

Она прикусила распухшую нижнюю губу так, что ранка снова закровоточила. Тотчас вернулись и яркие краски, и четкие очертания. Шелест ветра и шорох дождя усилились, словно необычная музыка.

Сколько у нее времени? От «Секретного объекта» до моста примерно четверть мили. Пикеринг надел дождевик, рев

заведенного мотора она не слышала, поэтому решила, что Пикеринг отправился пешком. Естественно, шум мотора могли заглушить гром и ливень, но она все равно не верила, что он сядет за руль. Дик Холлис знает красный «мерседес». Красный «мерседес» насторожит Дика Холлиса, и, Эмили не сомневалась, Пикеринг это понимает. Пикеринг сумасшедший, разговаривает то с самим собой, то с невидимым сообщником, но идиотом его не назовешь. Равно как и Дика, только ведь Холлис один в своей будочке. Ни машин, ни катеров с яхтами в такое ненастье не будет.

К тому же Дик Холлис стар.

— У меня минут пятнадцать, — объявила Эмили пустой комнате. Или она обращалась к кровавому следу на полу? Пикеринг не заткнул ей рот кляпом. Хотя зачем возиться? В этой уродливой бетонной крепости ее крик никто не услышит. В принципе с таким же успехом она могла бы стоять на улице и орать что есть мочи. Сейчас даже мексиканские рабочие наверняка сидят в кабинах своих грузовиков, курят и пьют кофе. — Максимум пятнадцать минут.

Да, вероятно, так. Потом вернется Пикеринг, изнасилует ее, как собирался изнасиловать Николь, и убьет, как убил Николь. Ее и скольких своих «племянниц»? Она, разумеется, не знала, однако не сомневалась в том, что это, как бы выразился Расти Джексон, далеко не первые гастроли Пикеринга.

Пятнадцать минут, возможно, даже десять.

Эмили взглянула на свои ноги. Их, в отличие от ножек стула, к полу не прилепили. Значит...

«Ты бегунья, конечно, бегунья! Только посмотри на эти ноги!»

Да, ноги хороши, Эмили знала это и без поцелуев, особенно без поцелуев клинических идиотов вроде Пикеринга. Не факт, что они хороши в плане эстетики или сексуальности, зато с практической точки зрения просто замечательны. На этих самых ногах Эмили проделала долгий путь с тех пор, как они с Генри нашли дочку мертвой. Пикеринг, вслед за десятком маньяков в десятках фильмов, явно понадеялся на

крепость изоленты, тем более что ни одна из его «племянниц» поводов для сомнений не давала. Возможно, потому что он не предоставлял им шансов, возможно, потому что девушки умирали от страха. Но вдруг... особенно при стопроцентной влажности дождливого дня в непрветренном доме, где сырость такая, что пахнет плесенью...

Эм подалась вперед, насколько позволяли липкие пути, и начала напрягать икроножные мышцы — недавно сформировавшиеся мышцы бегуны, которыми восхищался маньяк. Сначала чуть-чуть, потом вполсилы, потом изо всех сил. Она уже теряла надежду, когда послышался треск, сперва даже не треск, а едва различимый шорох, но вскоре он стал громче. Пикеринг ленту не жалел и намотал ее крест-накрест. Получилось очень прочно, только лента растягивалась и отлеплялась от пола, но медленно, господи, как медленно!

Эмили расслабила мышцы. На лбу, под мышками и на груди проступил пот. Она приготовилась ко второй попытке, но многочасовые тренировки на беговых дорожках колледжа Южного Кливленда подсказывали: нужно подождать, пока бешено бьющееся сердце не разгонит по телу молочную кислоту, которая сейчас скопилась в ногах. Если поторопиться, следующая попытка получится куда слабее и результата не принесет. Только ждать было сложно, почти невыносимо. Она не знала, сколько времени прошло с ухода Пикеринга. На стене висели часы в виде солнца (разумеется, из нержавеющей стали, как и все в этой жуткой бездушной кухне, за исключением деревянного стула, к которому ее привязали), но они остановились на четверти десятого. Наверное, часы на батареях, а те разрядились.

Она пыталась сидеть спокойно, пока не досчитает до тридцати (не спеша, после каждой цифры проговаривая «мышка Мейзи»*), но вытерпела лишь до семнадцати. Тогда она снова напрягла мышцы изо всех сил. На сей раз лента затрещала

* Мышка Мейзи — героиня серии книг и мультфильмов для самых маленьких.

сразу и куда громче. Стул поднимался, поднимался! Совсем чуть-чуть, но поднимался.

Эм запрокинула голову и напрягла мышцы так, что оскалились зубы обнажились, из разбитой губы потекла свежая кровь, а на шее вздулись жилы. Теперь лента трещала всюю и — вот чудо! — рвалась.

Правое бедро неожиданно обожгла резкая боль. Пару секунд Эмили сопротивлялась: слишком высоки были ставки, но потом расслабилась, судорожно глотая воздух, и снова начала считать.

— Один, мышка Мейзи; два, мышка Мейзи, три...

Счет три обошелся без «мышки»: Эмили почти не сомневалась, что сможет оторвать стул от пола. Но если при этом правое бедро сведет судорога (подобное пару раз уже случилось: мышцы точно каменели), она потеряет больше времени, чем выиграет, и останется привязанной, приклеенной к дурацкому стулу.

Она уже знала: настенные часы стоят, но тем не менее чисто машинально на них взглянула. По-прежнему 9.15. Пикеринг сейчас на мосту? Внезапно мелькнула надежда: Дик включит аварийную сигнализацию и спугнет убийцу. Возможно такое? Да, вполне. Ведь Пикеринг, как гиена, опасен, лишь когда уверен в собственном превосходстве. Вдруг, подобно той же гиене, он не в состоянии представить обратную ситуацию? Эмили вслушалась: с улицы доносились раскаты грома, мерный шорох дождя, но, увы, не вой сирены у будки дежурного по мосту.

Она снова попыталась отлепить ножки стула от пола и, когда это неожиданно удалось, едва не рухнула на плитку лицом вниз. Стул опасно закачался, и, чтобы не потерять равновесие, Эмили прижалась к разделочному столу с пластиковой крышкой. Сердце стучало так часто, что отдельные удары слились в мерный рокот. Упав стул, и она сделается беспомощной, как перевернутая на спину черепаха: у нее не будет ни малейшего шанса подняться.

«Все в порядке, — подумала она. — Непоправимое не случилось».

Не случилось, но Эмили с ужасающей ясностью представляла себя на плите. Она лежала бы в полном одиночестве, хоть с засохшей кровью Николь разговаривай! Лежала бы и ждала возвращения Пикеринга. Кстати, когда он вернется? Через семь минут? Пять? Три?

Эмили снова взглянула на часы: 9.15.

Скрючившись у стола, она жадно хватала воздух ртом. Она... как горбуня, только вместо горба стул. На столе лежал нож для разделки мяса, но как до него дотянуться, если запястья прилеплены к подлокотникам? Даже если она подцепит нож, что тогда? Липкие пути ей в жизни не перерезать!

Эмили посмотрела на горелки. Интересно, удастся ли включить одну из них? Тогда можно... Воображение нарисовало очередную жуткую картинку: она пытается расплавить ленту, но вместо этого от огня горелки воспламеняется одежда. Нет, так рисковать нельзя! Если бы ей предложили таблетку (или пулю в лоб), которая избавила бы от изнасилования, пыток и смерти, вероятно медленной, в чудовищных муках, она не стала бы слушать голос отца («Эмми, нельзя сдаваться! Светлая полоса всегда рядом!») и согласилась бы. Но если она получит сильные ожоги? Тогда, покрывшись хрустящей корочкой, она будет не просто ждать возвращения Пикеринга, а молиться, чтобы он скорее вернулся и избавил от страданий.

Не годится! Только что делать? Время точно сквозь пальцы просачивалось! Настенные часы упрямо показывали 9.15, однако Эмили почувствовалось, что дождь чуть притих. Со дна души поднялся ужас, Эмили затолкала его обратно: в такой ситуации паника смертельно опасна.

Использовать нож она не могла, а плиту не хотела. Что оставалось? Ответ был очевиден: оставался стул. Других в кухне не наблюдалось, только три табурета, высоких, напоминающих барные. Кленовый стул Пикеринг, наверное, при-

нес из столовой, которую она надеялась никогда не увидеть. Неужели он всех девушек, всех «племянниц» привязывал к массивным стульям из красного клена, которым место у обеденного стола, вероятно, даже к этому самому? В глубине души она чувствовала, что да. Пикеринг доверял этому стулу, хотя он был не металлический, а деревянный. Не подвел один раз, не подведет и в следующий — она не сомневалась, что Пикеринг и мыслит как гиена.

Нужно скорее выбраться! Других вариантов не было, а в распоряжении имелось всего несколько минут.

7

Будет больно

Кленовый стул стоял примерно по центру кухонного острова, но разделочный стол чуть выдавался вперед, образуя выступ. Двигаться не хотелось: малейшая неловкость — она упадет и превратится в черепаху, — но при этом хотелось отыскать поверхность для разбивания стула шире и надежнее выступа стола. Идеально подходил холодильник: он из нержавеющей стали и большой. Лучшей поверхности для битья не придумаешь!

Она поползла к холодильнику вместе со стулом, привязанным к ногам, спине и пояснице. Судя по ощущениям, сзади у нее был не стул, а гроб. И он станет гробом, если Эмили упадет или будет тщетно бить его о «Китченэйд», когда вернется хозяин дома.

В какой-то момент она опасно покачнулась и упала бы ничком, если бы не удержала равновесие, казалось, чистым усилием воли. Боль в правой икре не просто вернулась, а многократно усилилась, грозя превратиться в судорогу и сделать ногу бесполезной. Зажмурившись от натуги, Эмили прогнала и ее. По лицу катился пот, смывая невыплаканные слезы.

Сколько времени прошло? Сколько? Дождь еще немного притих. Совсем чуть-чуть, и он станет моросью. Может, Дик дал Пикерингу бой. Может, в его древнем, заваленном хламом столе даже хранился пистолет, и он пристрелил Пикеринга, как бешеного пса. Услышала бы она выстрел? Вряд ли, уж слишком сильный ветер! Нет, куда вероятнее, что Пикеринг, который лет на двадцать моложе Дика и, очевидно, в прекрасной форме, отнял бы пистолет и выстрелил в старика.

Эмили старательно гнала эти мысли, что оказалось очень непросто. Непросто, хотя они и были никчемными. Лицо бледное, перекошенное от натуги, нижняя губа распухла, глаза закрыты — она вместе со стулом ползла вперед. Один шаг, второй... Можно сделать шесть? Можно. Только уже на четвертом колени, фактически прижатые к животу, ударились о холодильник.

Она разлепила веки, не в силах поверить, что благополучно справилась с этой трудной экспедицией: человек, свободный от тяжелого стула и пут, преодолел бы такое расстояние за три шага, а для нее это целая экспедиция, чертово приключение!

Времени поздравлять себя, увы, не было, и не только потому, что в любой момент могла заскрипеть дверь «Секретного объекта». Имелись проблемы посерьезнее. От ходьбы в положении сидя перенапрягшиеся мышцы дрожали, Эмили чувствовала себя как на первом занятии усложненной тантра-йогой. Если не приступить немедленно, вообще ничего не получится, а если крепость стула не обманчива...

Она решительно отмахнулась от этой мысли.

— Скорее всего будет больно! Ты ведь понимаешь это, да?

Конечно, она понимала, только при этом осознавала, что пытки Пикеринга будут еще страшнее и больнее.

— Пожалуйста! — взмолилась Эмили и, повернувшись к холодильнику боком, увидела в дверце свой профиль. Если она действительно молилась, то не богу, а покойной доче-

ри. — Пожалуйста! — повторила она и, резко оттолкнувшись от пола, ударила своим кленовым горбом о дверцу холодильника.

Эмили не слишком удивилась, когда стул разом оторвался от пола. Она чуть не стукнулась головой о плиту, но, к счастью, «чуть» не считается. Спинка стула громко заскрипела, сиденье сдвинулось вправо от ее поясницы и бедер, а вот ножки даже не треснули.

— Гнилой! — крикнула пустой кухне Эмили. — Чертов стул — гнилой!

Вообще-то, гнилым он почти наверняка не был, но — благослови, Господи, флоридский климат — его прочность оказалась обманчивой. Наконец-то удача ей улыбнулась... и испортил Пикеринг своим появлением этот прекрасный момент, она сошла бы с ума.

Сколько у нее времени? Как давно ушел Пикеринг? Эмили не представляла. Прежде биологические часы ее не подводили, но сейчас казались бесполезнее настенных. До чего досадно полностью потерять счет времени! Вспомнив электронные часы с крупными цифрами, она с тоской взглянула на запястье. Исчезли, осталась лишь светлая полоска на загорелой коже. Наверняка Пикеринг конфисковал!

Она уже собралась снова ударить «горбом» по холодильнику, но тут возникла идея получше. Поясница почти отделилась от стула, значит, появился дополнительный рычаг. Эмили напрягла мышцы спины так же, как напрягала бедра и икры, когда отлепляла стул от пола. Поясницу, вернее, самое основание позвоночника, тут же обожгла боль: осторожно, мол, осторожно, но на сей раз она не сделала паузу, дабы восстановить силы. Передышки казались непозволительной роскошью. Перед мысленным взором возник Пикеринг, бегущий по пустынной дороге: желтый дождевик развеивается, из-под ног летят брызги, а в руках наверняка что-то тяжелое, например, монтировка, которую он вытащил из залитого кровью багажника «мерседеса».

Эм потянулась вверх. Боль в пояснице тут же усилилась, стала резкой, словно меж позвонками застрял осколок. Зато снова раздался треск — лента отлеплялась. Увы, не от стула, просто верхние слои отходили от нижних, и путы ослабежали. Конечно, лучше бы сбросить их совсем, но ослабить тоже неплохо: появляются дополнительные возможности для рывка.

Она снова двинула бедрами о холодильник, негромко вскрикнув от напряжения. Удар сотряс все тело, но стул даже не пошевелился, он пристал к ней, как намагниченный. Она сильнее двинула бедрами и громче вскрикнула — получилась тантра-йога с примесью садомазохизма. Лента опять затрещала, и на сей раз сиденье сместилось влево относительно ее спины и бедер.

Эм бешено вращала немеющими от напряжения бедрами и билась, билась, билась о холодильник. Она потеряла счет ударам. Она снова заплакала. Она порвала шорты. Ткань лопнула по заднему шву, шорты начали сползать, обнажив кровотокающую ссадину. «На щепку напоролась», — подумала Эмили.

Глубоко вздохнула, тщетно стараясь успокоить бешено бьющееся сердце, и снова изо всех сил двинула деревянным горбом по холодильнику. Она попала по рычагу встроенного автомата для льда, и на кафельный пол посыпались кубики. Лента в очередной раз затрещала, вытянулась, и через секунду левая рука оказалась на свободе. Эмили взглянула на нее, словно не сообразив, что произошло. Подлокотник был до сих пор привязан к ее запястью, но сейчас сам стул висел справа на длинных серых полосках изоленды. Эмили точно в паутине запуталась... Да, именно так: угодила в плен к сумасшедшему пауку в шортах цвета хаки и тенниске «Изод». Она еще не освободилась, зато теперь могла воспользоваться ножом. Оставалось только вернуться за ним к разделочному столу.

— Не наступай на кубики! — велела она себе дребезжащим голосом, точь-в-точь как у студентки, дозанимавшейся

до нервного срыва. — Кататься на коньках сейчас явно не время.

Кубики Эмили успешно миновала, но, когда нагнулась за ножом, переутомленная спина хрустнула в знак предупреждения. Из-за стула, болтавшегося у ее груди и лодыжек на длинных полосах изоляции, Эмили врезалась в разделочный стол, не обращая ни на что внимания, схватила нож левой рукой и перерезала путы на правой. Жадно глотая воздух ртом, она то и дело посматривала на дверь, ведущую из кухни в другие комнаты, вероятно, в столовую и холл. Пикеринг ушел именно туда, значит, оттуда и появится. Освободив правую руку, она сорвала обломок стула, до сих пор висевший на левой, и швырнула в центр кухонного острова.

— Хватит ждать Пикеринга! — одернула она себя, застыв посреди серой, утонувшей в полумраке кухни. — Лучше делай свое дело!

Совет, конечно, хорош, только как ему следовать, если знаешь, что совсем скоро дверь распахнется, и войдет твоя смерть.

Эмили перерезала ленту, приклеенную под грудью. Действовать следовало медленно, с предельной аккуратностью, но времени не было, и нож несколько раз царапнул кожу. Потекла кровь.

Нож попался острый, что имело как минусы — глубокие раны под грудиной, так и плюсы — слои ленты, перерезанные без особых проблем. Наконец она справилась с последним — стул еще немного отделился от спины — и взялась за широкую полоску вокруг талии. Наклоняться стало куда проще, поэтому работа пошла быстрее и с меньшим риском пораниться. Когда с лентой было покончено, стул упал на кафель. В результате его ножи, до сих пор привязанные к икрам, врезались в ахилловы сухожилия, бугрившиеся прямо под кожей. Больно! Господи, как больно! Она жалобно застонала.

Эмили развернула корпус и левой рукой прижала стул к ногам, чтобы жуткая давящая боль утихла. Движение полу-

чилось коварным, в стиле тантра-йоги с элементами мазохизма, но Эмили не отпускала стул до тех пор, пока в очередной раз не оказалась лицом к плите. На нее она и облокотилась, чтобы ножки стула снова не врезались в сухожилия. Задышавшись, плача (слез она даже не чувствовала), Эмили наклонилась вперед и стала перерезать изоленту на лодыжках. От рывков ослабли и эти полоски, и другие, удерживающие проклятый стул у нижней части туловища, поэтому все прошло быстро и практически без царапин с порезами, хотя она умудрилась как следует полоснуть себя по правой икре, словно в приступе безумия наказывая за судороги, которые начались, когда она отлепляла стул от пола.

Эмили перерезала ленту вокруг колен — оставался последний виток, — когда хлопнула входная дверь.

— Милая, я дома! — радостно закричал Пикеринг. — Ты соскучилась?

На долю секунды Эмили замерла, потом наклонилась так, что волосы свесились на лицо, и, собрав волю в кулак, приказала себе действовать. В подобной ситуации не до изящества — она поднесла нож к серой полоске ленты на правом колене, чудом не поранив коленную чашечку, и полоснула изо всех сил. В холле раздался скрежет: вероятно, Пикеринг повернул ключ в замке, внушительного, судя по звуку, размера. Он не хотел, чтобы ему мешали: незваных гостей на сегодня достаточно. Приняв меры предосторожности, Пикеринг зашагал по коридору. Очевидно, на ногах у него были кроссовки, потому что Эмили слышала хлюпанье мокрых резиновых подошв.

Пикеринг насвистывал песенку «О, Сюзанна» Стивена Фостера.

Лезвие ножа наконец перерезало ленту на правом колене, и стул, теперь держащийся лишь на левом колене, с грохотом ударился о разделочный стол. На секунду шаги за дверью (в каких-то ярдах от нее) остановились, а потом превратились частую дробь: Пикеринг побежал. После этого события развивались с головокружительной быстротой.

Бам! — Пикеринг распахнул дверь, толкнув ее обеими руками. Получилось, что и на кухню он влетел с вытянутыми руками, но, вопреки ожиданиям Эмили, монтажки в них не оказалось. Рукава желтого дождевика были закатаны до самых локтей, и она успела подумать: «Идиот, кто же так высоко рукава закатывает? Жена бы тебе подсказала, только ведь жены у тебя нет, верно?»

Пикеринг снял капюшон, и волосы, постриженные в абсурдно дорогом салоне, наконец растрепались. Слегка растрепались — при такой длине большее невозможно. Дождевая вода текла по лбу и заливала глаза. Чтобы оценить ситуацию, Пикерингу хватило буквально полувзгляда.

— Мерзкая сучка! — взвыл он и бросился к столу, пытаясь схватить Эмили.

Она ударила его массивным разделочным ножом, сильно порезав развилку между большим и указательным пальцами правой руки. Полилась кровь, и Пикеринг закричал от боли и удивления. Наверное, скорее от удивления, ведь гиены не ждут, что жертвы станут сопро...

Сделав незаметный выпад, Пикеринг левой рукой схватил ее за запястье и резко крутанул. Что-то заскрипело или, возможно, хрустнуло. Так или иначе, правую руку пронзила добела раскаленная стрела боли. Эмили попыталась удержать нож, но разве в таком состоянии удержишь? Он перелетел через всю кухню, и когда Пикеринг выпустил запястье, рука Эмили повисла безвольно, как плеть.

Пикеринг бросился в атаку, но Эмили оттолкнула его обеими руками, не обращая внимания на вывихнутое запястье, которое буквально стонало от боли. Действовала она чисто инстинктивно, холодный рассудок подсказал бы: одним толчком Пикеринга не остановишь, только холодный рассудок скрючился от страха и был способен лишь надеяться на лучшее.

Пикеринг превосходил Эмили в весе, однако она прижала поясницу к щербатому выступу кухонного острова. Вдруг он отшатнулся с испуганным выражением лица, которое при любых других обстоятельствах показалось бы комичным, и

наступил на кубик льда или сразу на несколько. На пару секунд маньяк Пикеринг превратился в Роуд-Раннера из мультика — по крайней мере так же отчаянно молотил ногами, стараясь удержать равновесие. Еще один шаг по кубикам — Пикеринг рухнул на пол и ударился затылком о дверцу холодильника, на которой красовалась свежая вмятина.

Пикеринг поднял окровавленную руку, озадаченно оглядел ее и закричал на Эмили:

— Сучка, мерзкая тупая сучка, посмотри, ты меня порезала! Зачем, мать твою, зачем?

Пикеринг попытался встать, но из-под ног полетели кубики льда, и он снова рухнул на пол. Подняться он собирался, опершись на правое колено, и буквально на секунду оказался к Эмили спиной. Она тут же схватила отломившийся подлокотник, с которого свисали серые клочья изоленды. Вот Пикеринг выпрямился в полный рост и обернулся. Эмили только этого и ждала. Короткий замах, и она ударила его по лбу подлокотником, который держала обеими руками. Правая кисть не желала сжиматься, но Эмили заставила. Древний инстинкт самосохранения советовал: кленовую палку нужно перехватить покрепче, тогда удар получится сильнее, а Эмили требовалась вся имеющаяся сила. Да ведь и в руках был подлокотник, а не бейсбольная бита!

Бам! Прозвучало не так громко, как когда Пикеринг распахнул навесную дверь, но вполне различимо, возможно, потому что дождь еще немного притих. Сначала больше ничего не произошло, но потом из раны, скрытой постриженными в абсурдно дорогом салоне волосами, потекла кровь. Эмили заглянула в ярко-голубые глаза Пикеринга: они выражали полное непонимание.

— Не надо! — пролепетал он и протянул руку, желая забрать деревянный обломок.

— Надо! — Эмили нанесла очередной удар.

Получился слайс, который задумывался как двуручный, но буквально в последний момент правая кисть не выдержала, превратив его в одноручный. Зазубренный, с торчащими

щепками обломок подлокотника врезался Пикерингу в правый висок. Кровь потекла мгновенно, а голова резко качнулась к левому плечу. Яркие капли поползли по щеке и забарабанили по серому кафельному полу.

— Не надо! — просипел Пикеринг, отчаянно хватая воздух правой рукой.

Он напоминал утопающего, который отчаянно молит о помощи.

— Надо! — твердо возразила Эм и ударила снова.

Пикеринг закричал и, вжав голову в плечи, попытался спрятаться за кухонным островом. Он снова наступил на кубики льда, но на сей раз удержался на ногах. По счастливой случайности, как показалось Эмили, ведь кубики лежали аккуратно под его ногами.

Она едва не упустила Пикеринга, думая, что тот метнется к двери, ведь сама поступила бы именно так. Но тут услышала спокойный голос отца: «Доченька, ему нужен нож».

— Нет! — прорычала Эмили. — У тебя ничего не выйдет!

Она попыталась обогнуть остров с другой стороны и опередить Пикеринга, только как бежать, если за тобой волочатся обломки стула, до сих пор прилепленные к левому колену — настоящее ядро на цепи, мать его! Обломки цеплялись за остров, путались под ногами, норовили ее опрокинуть. Стул явно был на стороне Пикеринга, и Эмили радовалась, что сломала его.

Пикеринг первым добрался до ножа, упавшего у двери, и с утробным рычанием бросился на него, словно блокирующий полузащитник на мяч. Эмили подросла, уже когда Пикеринг переворачивался, и раз, другой, третий ударила его подлокотником по голове, крича от отчаяния, потому что чувствовала: подлокотник недостаточно тяжелый, а ее удары далеко не так сильны, как хотелось бы. Правое запястье распухло на глазах, реагируя на произвол, который над ним совершали. Неужели организм надеется пережить сегодняшний день?

Пикеринг рухнул на нож и перестал шевелиться. Эмили отступила на пару шагов, стараясь привести в порядок дыхание. По кухне снова понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами, а в голове послышались мужские голоса. Подобное случалось далеко не впервые и уже перестало мешать. Порой голоса «включались» совершенно не вовремя. Порой, но не всегда.

Генри. Вытащи чертов нож и воткни уроду между лопатками!

Расти. Нет, доченька, к Пикерингу лучше не приближайся, он только этого и ждет. Мерзавец лишь прикидывается, что сознание потерял!

Генри. Ну или в загривок, туда тоже неплохо! Полосни по его вонючей шее.

Расти. Эмми, ощупью искать нож сейчас — что опускать руку в аквариум с пираньями. У тебя два варианта: забить его до смерти...

Генри (*нехотя, но убежденно*). ...или бежать.

Может, они правы, а может, и нет.

С ближней к ней стороны разделочного стола имелся ящик. Эмили открыла его, надеясь увидеть нож, а в идеале — целый арсенал: разделочные, филейные, столовые, для нарезки хлеба... Господи, хотя бы нож для масла! Увы, обнаружили лишь кухонные приборы из черного пластика: пара лопаток, половник, шумовка, а также другие штуковины, но самой опасной казалась картофелечистка.

— Эй, послушай! — Голос Эмили стал хриплым, чуть ли не гортанным. — Я не хочу тебя убивать, но, если вынудишь, убью. У меня тут вилка для мяса, попробуешь перевернуться — воткну тебе в затылок, да так, чтобы из яремной впадины вылезла.

Поверил ли ей Пикеринг? Это был вопрос номер один. Эмили чувствовала: он намеренно спрятал все ножи за исключением того, что сейчас лежал под ним. А как насчет других колюще-режущих предметов? Большинство мужчин даже не представляет, что хранится в ящиках на кухне, это Эмили

знала из жизни с Генри и с отцом. Только Пикеринга не следовало сравнивать с другими мужчинами, а его кухню — с другими кухнями. Кухня Пикеринга скорее напоминала операционную. Тем не менее, учитывая его бессознательное состояние (а Пикеринг действительно без сознания?) и большую вероятность того, что он не захочет рисковать жизнью из-за собственной забывчивости, Эмили не сомневалась: план сработает. Тут возникал вопрос номер два: слышит ли он ее? А если слышит, то понимает ли? План, построенный на обмане, не сорвется лишь при условии, что человек, которого решено обмануть, понимает что к чему.

Стоять возле Пикеринга и размышлять она не собиралась: в данной ситуации это было бы худшим вариантом. Она наклонилась и подцепила последний виток ленты, который удерживал обломок стула. Пальцы правой руки категорически отказывались шевелиться, но Эмили заставила, да и вспотевшая кожа помогала. Стоило дернуть серую полоску вниз — раздался пренеприятный треск, и лента начала отходить. Наверное, было больно, и на коленной чашечке появился ярко-красный обод (почему-то из глубин сознания всплыло слово «Юпитер»), только Эмили волновало другое. Изолента быстро отлепилась, соскользнула с лодыжки и бесформенным кольцом упала на кафельный пол. Эмили стряхнула ее со стопы и оттолкнула подальше. Свободна! В висках бешено стучало то ли от перенапряжения, то ли от удара, который нанес Пикеринг, когда она смотрела на труп девушки, уложенный в багажник «мерседеса».

— Николь, — вслух произнесла Эмили, — ее звали Николь.

Имя несчастной помогло вернуться к реальности. Теперь желание вытащить нож из-под Пикеринга казалось настоящим безумием. Часть сознания Эмили, говорившая голосом ее отца, была права: даже просто находясь в одной комнате с маньяком, она искушает судьбу. Таким образом, оставался один-единственный вариант — бежать.

— Эй, ты меня слышишь? Я ухожу, — объявила она.

Пикеринг не пошевелился.

— У меня вилка для мяса. Станешь преследовать — убью. Нет, лучше... лучше глаза тебе выколю! Поэтому разумнее всего лежать там, где лежишь, понял?

Пикеринг не пошевелился.

Эмили попятилась к двери, затем развернулась и шмыгнула в соседнюю комнату. Окровавленный подлокотник она так и не бросила.

8

На стене у кровати висела фотография

За дверью оказалась столовая, в ней длинный стол со стеклянной крышкой, а вокруг него семь стульев из красного клена. Восьмое место, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяйке, пустовало. Ну разумеется! Глядя на свободное пространство, Эмили неожиданно вспомнила бусинку крови, появившуюся на нижнем веке, когда Пикеринг тараторил: «Понял, понял, ладно, ладно». Пикеринг поверил, когда она сказала, что о ее возможном визите в «Секретный объект» известно только Дику, и бросил ножик, маленький ножичек Николь в раковину.

Получается, нож для усмирения Пикеринга все-таки имелся, он с самого начала лежал в раковине. Только Эмили не собиралась возвращаться на кухню. Ни за что.

Из столовой она попала в коридор с пятью дверями: по две с каждой стороны плюс одна в конце. Первые две оказались незаперты: слева была ванная, справа — прачечная, в которой стояла стиральная машина с вертикальной загрузкой, а рядом — пачка «Тайда». Люк открыли и кое-как затолкали в него окровавленную рубашку. Эмили почти не сомневалась: это рубашка Николь, хотя наверняка знать не могла. Если рубашка впрямь принадлежит погибшей девушке, за-

чем Пикерингу ее стирать? Дыры-то «Тайдом» не сведешь! Во дворе шокированной Эмили почудилось, что на теле Николь добрый десяток ножевых ранений, что, естественно, не соответствовало действительности. Или соответствовало? Скорее всего это соответствовало бешеному припадку Пикеринга.

Открыв дверь за ванной, Эмили увидела комнату для гостей — эдакий темный стерилизатор, абсолютную пустоту которого нарушала лишь широкая кровать, заправленная с такой аккуратностью, что казалось, брось на покрывало монетку — отскочит как минимум пару раз. Служанка постаралась? «Нет, — подумала Эмили, — по данным наших исследований, ни одна служанка не переступала порог этого дома. Сюда вхожи только «племянницы».

Напротив комнаты для гостей находился кабинет, ничуть не уступавший ей в плане стерильности. В одном углу обнаружили сразу два стеллажа для документов, а рядом — письменный стол, на котором стоял лишь компьютер «Делл» под прозрачным пылезащитным чехлом. На полу из простых дубовых досок нет ковра, на стенах — ни картин, ни фотографий. На большом окне — жалюзи, почти не пропускавшие солнце, поэтому кабинет, равно как и комната для гостей, казался темным и заброшенным.

«Пикеринг никогда здесь не работал», — подумала Эмили и поняла, что попала в точку. Кабинет, по сути, являлся театральной декорацией, подобно всему дому, включая кухню, из которой она только что сбежала — страшная комната лишь выдавалась за кухню, а на самом деле была операционной с кафельным полом и легкоочищаемым гарнитуром.

Дверь в конце коридора оказалась закрыта и, приблизившись, Эмили поняла: она заперта. Появись из столовой Пикеринг, она попадет в западню: бежать некуда, а в последнее время бег был единственным, что у нее получалось, единственным, для чего она годилась.

Эмили подтянула шорты — они «ездили» на ней, потому что задний шов лопнул — и взялась за дверную ручку. Она

слишком положились на свои предчувствия и сперва не поверила, что ручка поворачивается. Она распахнула дверь и, судя по всему, оказалась в спальне Пикеринга. Спальня была почти такой же стерильной, как гостевая, хотя определенные различия имелись. Во-первых, вместо одной подушки на широкой кровати лежали сразу две, во-вторых, стеганое прокрывало (идентичное увиденному в комнате для гостей) свернули аккуратным треугольником, чтобы хозяин дома, уставший после тяжелого дня, скорее насладился свежестью чистых простыней. В-третьих, на пол постелили ковер, дешевый, с нейлоновым ворсом, зато от стены до стены. Генри наверняка назвал бы такой паласом для пятизвездного шалаша! Тем не менее по цвету ковер гармонировал с темно-синими стенами и немного скрашивал убожество комнаты. Помимо кровати Эмили увидела письменный стол, совсем маленький, как школьная парта, и простой деревянный стул. Хотя после кабинета с большим (увы, закрытым) окном и дорогим компьютером спальня выглядела бледновато, у нее возникло чувство, что этот письменный стол используется, что Пикеринг действительно сидит за ним, сгорбившись, точно ученик сельской школы за неудобной партой, и пишет от руки. Что именно он пишет, ей думать не хотелось.

В спальне тоже имелось окно, тоже большое, но в отличие от кабинета и комнаты для гостей без жалюзи. Прежде чем Эмили успела выглянуть на улицу, ее внимание привлекла фотография, которая висела на стене у кровати. Точнее, фотографию не повесили (ее даже в рамку не поместили), а лишь прикололи кнопкой. На стене просматривались другие следы от кнопок: некогда и там были фотографии. Нынешний снимок оказался цветным с датой 19.04.07, пропечатанной в правом нижнем углу. Судя по качеству, снимали не цифровым, а каким-то древним фотоаппаратом, да и фотограф особой любви к своему занятию не испытывал. Зато наверняка испытывал возбуждение: все гиены возбуждаются, когда с заходом солнца появляется новая жертва. Снимок получился мутным, точно его делали при помощи телеобъ-

ектива, а объект даже в фокус не попал! Объект, длинноногая блондинка в джинсовых шортах и топе с глубоким вырезом и надписью «Бар «Времена пива» держала поднос в левой руке — ни дать ни взять официантка с первых картин Нормана Роквелла — и смеялась. Это Николь? Полной уверенности не было: снимок не отличался четкостью, да и убитую Эмили видела лишь несколько секунд. Но в глубине души она не сомневалась: перед ней Николь.

Р а с т и: Доченька, сейчас это не важно. Тебе нужно выбраться из спальни, выбраться из западни и бежать.

Словно в подтверждение его слов дверь между кухней и столовой распахнулась и, судя по грохоту, слетела с петель.

«О нет! — каменея от ужаса, подумала Эмили. Вряд ли она обмочилась снова, хотя, даже случись такая неприятность, наверняка не почувствовала бы. — Нет, только не это!»

— Любишь жесткую игру? — громко поинтересовался Пикеринг, голос которого звучал глухо, но вполне бодро. — Я умею играть жестко! Никаких проблем! Ты этого хочешь? Только попроси — папочка исполнит любое желание!

Он уже в столовой! Он приближается! За тяжелым «бум!» раздалось раскатистое «бабах!» — очевидно, Пикеринг налетел на стулья, стоявшие там, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяину, и повалил их на пол. У Эмили закружилась голова, а все вокруг посерело, хотя в спальне было довольно светло: дождь почти перестал.

Она прикусила разбитую губу. По подбородку потекла свежая кровь, зато в призрачно-серый мир вернулись краски реальности. Эмили захлопнула дверь и потянулась к замку, чтобы закрыть его на ключ. Замка не было! Оглядевшись по сторонам она заметила у школьного деревянного стола школьный же деревянный стул. Когда прихрамывающий Пикеринг пустился бежать мимо прачечной и кабинета — а про нож он вспомнил? Разумеется, вспомнил! — Эмили схватила стул и заблокировала им дверную ручку, предварительно ее повернув. Буквально через секунду Пикеринг толкнул дверь обеими руками.

Окажись пол голым, стул заскользил бы по нему, как деревянный диск в палубном шаффлборде. Тогда пришлось бы сыграть в бесстрашную укротительницу львов и использовать стул для самообороны. Вряд ли это остановило бы Пикеринга! Слава богу, на полу лежал ковер! Пусть дешевый, нейлоновый, зато с длинным ворсом. Ножки стула точно застряли в нем, хотя Эм заметила, что на ковре появились волны. Дико заревев, Пикеринг стал колотить в дверь кулаками, а Эм — надеяться, что в порыве бешенства он напорется на нож или даже горло себе перережет.

— Открой дверь! — орал Пикеринг. — Открой! Ты только хуже себе делаешь!

«А хуже бывает?» — подумала она, попятилась от двери и огляделась по сторонам. Что теперь? Раз дверь была лишь одна, оставалось окно.

— Леди Джейн, не доводи меня до безумия!

«Да ты давным-давно свихнулся! Как Шляпник в Алисе!»

Окно было типично флоридское, такие ставят, чтобы любоваться видом, а не чтобы открывать: кондиционер же есть. Как действовать дальше? Выброситься из окна, как Клинт Иствуд в одном старом вестерне? Да, можно, в детстве подобные трюки ей очень нравились, но ведь сейчас она осознает, насколько велик риск порезаться. Клинта Иствуда, Шона Коннери и Стивена Сигала в сценах с пробиванием окон заменяли каскадеры, да и в тех окнах наверняка были особые стекла.

В коридоре опять слышались шаги: Пикеринг отступил, потом снова налетел на дверь. Он был настроен решительно, и дверь, несмотря на всю тяжесть, содрогнулась. На сей раз стул сдвинулся на пару дюймов, но, к счастью, не упал. Зато ковер снова покрылся волнами и начал рваться со звуком, чем-то напоминающим треск отклеивающейся изолен-ты. Для человека, которого только что колотили по голове и плечам тяжелой кленовой палкой Пикеринг казался поразительно бодрым. Наверное, безумию своему вопреки, он

понимал: если пленница свободу обретет, то он — вмиг потеряет. Да, безумие вкупе с рациональностью создают отличную мотивацию.

«Зря я подлокотником ограничилась, лучше бы весь чертов стул о его голову сломала!» — подумала Эмили.

— Хочешь поиграть? — сипло поинтересовался Пикеринг. — Я за, обеими руками! Только играем мы в моей песочнице, вот... Вот... я... иду!

Он снова пнул дверь, которая подпрыгнула на разболтавшихся петлях, а стул отодвинулся еще на два-три дюйма. Между ножками и дверью появились темные каплевидные пятна — прорехи в дешевом ковре.

Значит, все-таки окно... Раз уж ей суждено умереть от кровотечения, раны лучше нанести самой. Если... если обернуться покрывалом, может...

Тут ее взгляд упал на письменный стол.

— Мистер Пикеринг! — закричала Эмили, схватив стол за бока. — Подождите! Хочу заключить с вами сделку!

— Никаких сделок с сучками, ясно? — раздраженно рявкнул Пикеринг, но замер, вероятно, чтобы восстановить дыхание, и таким образом дал ей время. Большого и не требовалось: немного времени, а не пылкие заверения в том, что он не привык заключать сделки с сучками. — Ну, что у тебя за план? Расскажи папочке Джиму!

Сейчас ее планом был стол. Эмили подняла его, почти уверенная, что надорванная поясница лопнет словно воздушный шар. Только стол оказался легким и стал еще легче, когда с него слетела скрепленная резинкой стопка... неужели университетских тетрадей для экзаменационных работ?

— Что ты задумала? — рявкнул Пикеринг. — Не смей!

Эмили бросилась к окну, резко затормозила и швырнула стол. От звона битого стекла чуть не лопнули барабанные перепонки. Не тратя времени на раздумья и взгляды вниз — думать в такой ситуации ни к чему, а от созерцания высоты

мог проснуться страх, — Эмили сдернула покрывало с кровати.

Пикеринг снова налетел на дверь, и хотя стул снова выдержал (в этом Эмили не сомневалась, ведь иначе он на всех парах мчался бы к ней), раздался громкий треск.

Она завернулась в покрывало, превратившись в индианку из детских книг с иллюстрациями Н.К. Уайета, готовую выйти под снегопад, и прыгнула в обрамленную зазубринами брешь в тот самый момент, когда дверь наконец распахнулась. Несколько колючих стеклянных стрел оторвались от рамы и вонзились в покрывало, но ни одна из них ее не поранила.

— Сучка, мерзкая сучка! — где-то рядом, совсем рядом заорал Пикеринг, но Эмили уже шагнула в пустоту.

9

Сила тяжести — наше все

В детстве Эмили считалась сорванцом и предпочитала мальчишечьи игры (любимая называлась просто «Войнушка») в лесу за домом в предместье Чикаго бестолковой возне с Барби и Кеном. Она, не снимая, носила джинсы с кроссовками, а волосы убирала в хвост. Вместо сестер Олсен они с лучшей подругой Бекки смотрели по телевизору Иствуда со Шварценеггером, а после очередной серии «Скуби-Ду» представляли себя именно Скуби или Скраппи, а не Вельмой или Дафной. Первые два класса начальной школы все, что они ели на ленч, называлось скубиками.

Разумеется, девчонки лазали на деревья. Одно лето они, в ту пору девятилетние, только этим и занимались. Помимо папиных советов о том, как правильно падать, из того лета Эмили запомнила белый крем, который каждое утро мама намазывала ей на нос, и строгим — только посмей послушать—

ся! — голосом говорила: «Ни в коем случае не вытирай, поняла, Эмми?»

Однажды Бекки потеряла равновесие и чуть не упала на лужайку Джексонс с высоты пятнадцати футов (может, всего десяти, но для девчонок они были все равно что двадцать пять или даже пятьдесят). Спасла Бекки лишь толстая ветка, за которую она ухватилась и повисла, жалобно взывая о помощи.

В то утро Расти косил лужайку. Он подошел к дереву — да, неторопливо подошел, а не подбежал, успев даже выключить косилку «Бригс энд Страттон», — и поднял руки. «Прыгай!» — велел он, и доверчивая Бекки, лишь двумя годами раньше верившая в Санту, прыгнула. Расти без труда ее поймал, позвал дочь: «Спускайся, Эм!» и усадил обеих девочек у подножия дерева. Бекки глотала слезы, а Эмили боялась в основном того, что лазанье по деревьям переведут в разряд запрещенного, как, например, походы в круглосуточный магазин без взрослых после семи вечера.

Расти не запретил лазать по деревьям (хотя мать Эмили, выгляни она в окно кухни, поступила бы именно так). Вместо этого он научил девочек падать. После объяснений Бекки с Эмили целый час оттачивали навык на практике. День получился прекрасным: ярким и запоминающимся.

Выпрыгивая в окно, Эмили увидела, как далеко от нее мощный плиткой дворик. Может, лишь в десяти футах, но вылетающей из разбитого окна в изрезанном покрывале Эм казалось, что в двадцати пяти, а то и в пятидесяти.

«Берегите колени! — учил их с Бекки Расти шестнадцать или семнадцать лет назад, в пору белых носов и лазанья по деревьям. — Не заставляйте их гасить силу удара. В девяти случаях из десяти так и случится, особенно если высота небольшая, но за это можно поплатиться переломом бедра, колени или особенно часто — лодыжки. Запомните, сила тяжести — наше все. Не сопротивляйтесь ей, а, наоборот, доверь-

тесь, используйте. Поджимайте колени, группируйтесь, сворачивайтесь в клубок».

Сгруппировавшись еще в воздухе, Эмили упала на красную, в испанском стиле плитку двора и осторожно повела плечом, переместив тяжесть тела влево. Боль не появилась, по крайней мере сразу, зато все тело дрожало, как пустая шахта мусоропровода, в которую швырнули тяжелый предмет. Хорошо, голову о каменную плитку не расшибла и не сломала ноги, хотя последнее окончательно прояснится, лишь когда она встанет.

Эм с силой толкнула стоявший неподалеку столик, и он опрокинулся. Ну вот, теперь можно подниматься! Она выпрямилась в полный рост, убедившись, что серьезных повреждений не получила. Обернувшись, она увидела в разбитом окне Пикеринга: скривившись от злости, тот размахивал ножом.

— Стой! — заорал он. — Стой на месте, не смей убежать!

«Ну конечно!» — подумала Эмили. Дождь успел превратиться в туман, мгновенно покрывший лицо росой. Как хорошо! Она подняла средний палец и покачала им для убедительности.

— Сука, что ты мне показываешь?! — взревел Пикеринг и швырнул в нее нож.

Меткостью он явно не отличался: нож упал далеко, со стуком покатился по плитке, а у газового гриля раскололся на рукоять и лезвие. Когда Эмили снова подняла голову, в разбитом окне никого не было.

Голос отца предупредил: Пикеринг приближается, но предупреждения ей и не требовались. Она подошла к краю дворика — легко, без малейших признаков хромоты, хотя списала это на повышенный выброс адреналина — и глянула вниз. До песка и униолы три жалких фута — ерунда по сравнению с прыжком-полетом, который она только что совершила. За двориком простирался пляж, где она десятки раз бегала по утрам.

Посмотрев в противоположном направлении, то есть на дорогу, Эмили расстроилась. Уродливая бетонная стена была слишком высокой, а Пикеринг приближался. Конечно, как же иначе!

Она оперлась на декоративную кирпичную кладку и прыгнула на песок. Униола зашекотала обнаженные бедра. Эмили побежала вверх по дюне, отделяющей «Секретный объект» от пляжа, то и дело подтягивая лопнувшие шорты и оглядываясь. Никого, снова никого... А потом из черного хода вылетел Пикеринг. «Не смей убегать! — истощенно кричал он. — Не смей!» Желтый дождевик он, судя по всему, оставил дома, зато захватил какой-то острый предмет и размахивал им, летя через дворик. Что именно было у Пикеринга в левой руке, она не видела и видеть не хотела, ведь для этого следовало подпустить его поближе.

Эмили чувствовала: Пикерингу ее не догнать. Бежал он словно типичный спринтер, который быстро устанет, как бы сильно ни подгоняли его безумие и страх перед разоблачением.

«Я будто специально тренировалась все эти месяцы», — подумала она. Тем не менее она едва не допустила непоправимую ошибку, когда, добравшись до пляжа, хотела свернуть на юг. Четверть мили, и она достигла бы окончечности Вермиллион-Ки. Естественно, она позвала бы дежурного по мосту (точнее, заорала бы во все горло), но, если Пикеринг «разобрался» с Диком Холлисом, а Эмили не сомневалась, что случилось именно так, ей пришел бы конец. Даже если ее крик услышат проплывающие мимо на лодках, Пикеринг вряд ли ступшует. В нынешнем состоянии ему море по колено — он попытается заколоть ее даже в киноконцертном зале «Рэдио-Сити» в разгар выступления шоу-группы «Рокетс».

Поэтому Эмили повернула на север. Две мили по пустынному пляжу, и она попадет в «Зеленый шалаш». Она скинула кроссовки и побежала.

Ее удивляла лишь красота

Эмили далеко не впервые бегала по пляжу после короткого, но сильного дождя, поэтому влага, конденсирующаяся на лице и руках, была ей знакома. Равно как усилившийся шум прибоя (прилив уже начался, и пляж превращался в узкую полосу), а еще запахи соли, водорослей, цветов и даже сырого леса. Собственный страх ее не удивлял — участникам военных действий, которые обычно, хотя и не всегда заканчиваются благополучно, всегда страшно — ее удивляла красота.

Из Мексиканского залива приполз туман. Сквозь белую пелену вода тянулась к берегу блеклым зеленым призраком. Рыба, видимо, устремилась на нерест, потому что пеликаны устроили настоящий «шведский стол»: ешь, сколько можешь. Большинство птиц складывали крылья и бросались в воду навстречу своему отражению. Другие покачивались на волнах у самого берега, на вид безучастнее целлулоидных уток, хотя сами пристально следили за бегущей Эм. Слева тусклой бронзовой монеткой поблескивало солнце.

Она боялась, что правую икру снова сведет судорога — в этом случае ей несдобровать. Только ее икры давно привыкли к бегу, поэтому мышцы оставались мягкими и эластичными, хотя, пожалуй, слишком теплыми. Вот поясница беспокоила больше — каждые три-четыре шага ее терзала острая резкая боль, а каждые десять—двенадцать — вспышка посильнее. Эмили мысленно уговаривала поясницу, умасливала, как ребенка, обещала горячие ванны и массаж шиацу, когда этот кошмар закончится и несущегося по ее следу монстра благополучно запрут в тюрьме округа Колье. Помогли либо щедрые посулы, либо сам бег являлся неплохим массажем, во всяком случае у Эм были причины в это верить.

Пикеринг дважды орал, чтобы она остановилась, потом затих — вероятно, решил не сбивать дыхание. Когда Эм оглянулась в первый раз, их разделяло ярдов семьдесят, и в густой вечерней дымке четко просматривалась лишь красная тенниска «Изод». Когда оглянулась снова, фигура преследователя стала четче: теперь Эмили видела и окровавленные шорты цвета хаки. Пикеринг приблизился ярдов на двадцать, но дышал тяжело и неровно. Отлично! Сбившееся дыхание — это просто отлично!

Она перепрыгнула через кучу плавника, и шорты поползли вниз. Не дай бог наступить на них и потерять равновесие! Снимать шорты элементарно не было времени, поэтому она судорожно дернула за пояс, жалея, что шорты не затягиваются шнурком: сейчас мигом завязала бы его потуже, да хоть в зубах бы зажала!

Сзади послышался вопль, в котором звучали и страх, и ярость. Похоже, Пикеринг наконец сообразил: сегодня удача не на его стороне. Эм рискнула оглянуться еще раз и поняла: ее надежды не напрасны — Пикеринг споткнулся о кучу плавника, через которую она перепрыгнула, и упал на колени. Новое оружие серебристой буквой «Х» лежало перед ним на песке. Это ножницы, большие кухонные ножницы, такими повара разрезают хрящи и кости. Пикеринг схватил их и спешно поднялся на ноги.

Эмили неслась по берегу, понемногу увеличивая темп. Сознательно она это не планировала, неужели тело действовало бесконтрольно и самостоятельно? Вряд ли. Скорее включилась область контакта тела и разума, некий симбиоз. Этот симбиоз хотел абсолютного контроля, и Эмили не возражала. Хотел включаться медленно и незаметно, чтобы летящий по пятам монстр ни о чем не догадался. Хотел подразнить Пикеринга: пусть сам увеличит темп и немного сократит отставание. Хотел измотать и измочалить маньяка. Хотел, чтобы маньяк хрипел и сипел, даже в кашле заходилась, если он курильщик (нет, уповать на это вряд ли стоит). Тогда Эмили задействует ускоряющую передачу, которую до сих пор по-

чти не использовала, считая это искушением судьбы вроде полетов на восковых крыльях в солнечную погоду. Только сейчас выбора не было. А судьбу она испустила уже когда заглянула на мощный дворик «Секретного объекта».

«А что мне оставалось после того, как я увидела окровавленную прядь? Может, это судьба испустила меня, а не наоборот».

Она бежала дальше, отпечатывая шаги на влажном песке. Когда обернулась снова, Пикеринг отставал на сорок ярдов, что вполне ее устраивало. Сорок ярдов и красное взмокшее лицо устраивали более чем.

Чуть западнее тучи разошлись с характерной тропической быстротой, мгновенно сделав унылый серый туман сверкающе белым. Казалось, на пляже включили прожектор: на песке появились ярко освещенные островки. Эмили пронеслась сквозь такой, почувствовав, как температура и влажность подскочили, но, стоило вернуться в объятия тумана, тут же упали. Ощущения были такими же, как при пробежке мимо открытой двери «Лондромата» в холодный зимний день. Впереди меж облаков появилась брешь, напоминающая глаз сиамской кошки, а в ней — двойная радуга с четкими сияющими полосками. Один ее конец нырнул в рассеивающийся туман и окунулся в воду, другой дотянулся до материка и утонул среди пальм и вощенного лиродревесника.

Задев левой ногой правую лодыжку, Эмили споткнулась, едва не упала, но все-таки удержала равновесие. Теперь Пикеринг отставал лишь ярдов на тридцать, что казалось недостаточным. Все, хватит глазеть на радугу! Если не взять себя в руки, эта радуга станет последней в ее жизни.

Отвернувшись от Пикеринга, она увидела мужчину, который стоял по колено в воде и изумленно на них таращился. Из одежды на нем были только джинсовые шорты и насквозь промокший шейный платок красного цвета. Смуглая кожа, темно-карие глаза, каштановые волосы — незнакомец вышел из воды, и Эмили машинально отметила, что, несмотря на невысокий рост, сложен он прекрасно. На

загорелом лице читалась тревога. Слава богу, что не апатия или равнодушие!

— Помогите! — закричала она. — Помогите, пожалуйста! Незнакомец встревожился еще сильнее.

— *Señora? Qué ha pasado? Qué es lo que va mal?**

По-испански Эмили почти не понимала: так, отдельные слова, но, услышав мексиканское произношение, забыла и их. Не важно! Этот парень наверняка обслуживал один из богатых домов и, воспользовавшись дождем, решил искупаться в Заливе. Вероятно, у него не было грин-карты, но ведь для спасения ее жизни она и не требовалась! Перед ней стоял мужчина, физически сильный и, к счастью, неравнодушный. Эмили бросилась к нему, чувствуя, как футболка намокла от его влажной кожи.

— Он сумасшедший! — заорала Эмили прямо в смуглое лицо. Получилось это без труда, потому что они с мексиканцем были почти одного роста. Тут, к счастью, вспомнилось очередное испанское слово, и не какое-то, а очень нужное в этой ситуации: — *Loco! Loco! Loco!***

Парень крепко обнял ее за плечи и обернулся. Проследив за его взглядом, Эмили увидела Пикеринга. Маньяк улыбался. Улыбка получилась славной, немного смущенной. Ее искренность снимала все вопросы, возникающие при виде бурых пятен на шортах и опухшего от побоев лица. А где... где же ножницы? Правая рука с глубоким порезом между большим и указательным пальцами оказалась пустой!

— *Es mi esposa*, — проговорил Пикеринг. И смущения, и искренности в его голосе было не меньше, чем в улыбке, а сбившееся от бега дыхание лишь усиливало нужный эффект. — *No te preocupes. Ella tiene...**** — Он забыл, или якобы забыл, нужное испанское слово и с той же обезоруживающей улыбкой развел руками. — Проблемы. У нее проблемы.

* Сеньора, в чем дело? Что стряслось? (*исп.*)

** Сумасшедший! (*исп.*)

*** Это моя жена. Не беспокойся. У нее... (*исп.*)

В глаза мексиканца мелькнуло неподдельное облегчение.

— *Problemas?*

— *Si*, — согласился Пикеринг и поднес левую руку ко рту, изобразив стакан или бутылку.

— А... — понимающе кивнул мексиканец. — Алкоголь?

— Нет! — закричала Эмили, чувствуя: еще немного, и мексиканец спихнет ее Пикерингу. Не нужна ему странная *señora* с ее непонятными *problemas*! Она дыхла ему в лицо — пусть почувствует, что спиртным от нее не пахнет — и выразительно показала на свою разбитую губу. — Это он сделал! *Loco!*

— Не верь, брат, она сама постаралась, — возразил Пикеринг. — Понял?

— Угу, — кивнул мексиканец, но Эмили не оттолкнул.

Он явно пребывал в нерешительности. Неожиданно Эмили вспомнила еще одно слово, усвоенное в глубоком детстве, когда они с Бекки в перерывах между «Скуби-Ду» смотрели детские обучающие шоу.

— *Peligro**, — произнесла она, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Нет, нельзя, кричат только безумные *esposas*. — Он *peligro*! — Эмили впиалась взглядом в мексиканца. — *Señor Peligro!*

Засмеявшись, Пикеринг потянулся к Эмили. Господи, он близко, совсем близко, у аквариума с пираньями выросли руки! В панике она оттолкнула Пикеринга, который этого никак не ожидал и не успел восстановить дыхание. От удивления его глаза округлились, но он не потерял равновесия, а лишь неловко отступил на шаг. Из-за пояса шорт выпали ножницы — хитрый мерзавец прятал их на правом боку, — и несколько секунд все трое заворуженно смотрели на металлическое «Х», тускло поблескивающее на влажном песке. Монотонно ревел прибой. В рассеивающемся тумане пели птицы.

* Опасный (*исп.*).

Она поднялась и побежала

На губах Пикеринга снова заиграла славная обезоруживающая улыбка, которой он наверняка покори́л немало «племянниц».

— Я бы объяснил, да на твоём языке плохо болтаю. Ладно, постараюсь подходчивее. — Он стукнул себя кулаком в грудь — получилось очень в стиле Тарзана. — *No Señor Loco, no Señor Peligro*, понял? — Это прозвучало ещё более или менее правдоподобно, только Пикеринг точку не поставил. Продолжая улыбаться, он ткнул пальцем в Эм. — *Ella es bobo perra**.

Эм не представляла, что значит *bobo perra*, зато увидела, как изменилось выражение лица Пикеринга, когда он это говорил. В основном изменения касались верхней губы, которая приподнялась, как у оскалившейся собаки. Взмах руки, и мексиканец оттолкнул Эмили назад, фактически заслонив собой. Он явно решил её защитить и даже нагнулся за металлическим «Х», тускло поблескивавшим в песке.

Потянулся он за ножницами прежде, чем отталкивать Эм — все могло получиться. Только Пикеринг сообразил, что ситуация выходит из-под контроля, и нырнул за ножницами сам. Он добрался до них первым и вонзил острые концы в левую, облепленную песком ногу мексиканца. Тот вытаращил глаза и закричал от боли.

Мексиканец хотел дать сдачи, но его обидчик упал на бок, поднялся («Да, молниеносная быстрота никуда не делась», — с досадой подумала Эм) и ловко ускользнул от удара. Буквально через секунду он по-дружески обнял мексиканца за мускулистые плечи и вонзил ножницы ему в грудь. Несчастный закричал и попытался вырваться, только Пикеринг дер-

* глупая сучка (исп.).

жал его крепко и колол, колол, колол ножницами. Удары получались неглубокими — уж слишком быстро махал ножницами Пикеринг — только кровь лилась ручьем.

— Нет! — закричала Эмили. — Нет, нет, перестань!

Пикеринг обратился к ней полыхающий безумным огнем взгляд, а в следующий миг вонзил ножницы в рот мексиканца с такой силой, что стальные кольца ударились о передние зубы.

— Ну, понял? — осведомился Пикеринг. — Теперь понял, ты, немытый мексикашка?!

Эмили огляделась по сторонам. Где же плавник, хоть одна ветка, чтобы ударить негодя? Не обнаружив ничего подходящего, она повернулась к дерущимся. Только драка уже закончилась — ножницы торчали из левого глаза мексиканца. Он медленно, словно отвешивая глубокий поклон, осел на землю, а Пикеринг нагнулся вслед за ним: ему нужно было вытащить ножницы.

Она с криком налетела на безумного маньяка и плечом двинула в живот, машинально отметив, что живот мягкий: мерзавец отлично питался.

У Пикеринга сбилось дыхание. С ненавистью взглянув на Эмили, он повалился на спину, но далеко беглянку не отпустил: ловко схватил за ногу и вонзил в лодыжку ногти. Совсем рядом бился в конвульсиях истекающий кровью мексиканец. Он лежал на спине, и Эм с ужасом поняла: то, что тридцать секунд назад было красивым лицом, разбито в фарш, серьезно не пострадал лишь нос.

— Иди сюда, леди Джейн! — Пикеринг подтянул ее к себе. — Давай позабавимся! Ты ведь не против забав, а, мерзкая сучка?

Он был явно не обделен физической силой и, как ни цеплялась за песок Эмили, все равно выигрывал. Сперва ее стопу обожгло горячее дыхание, а потом в пятку вонзились зубы.

Никогда в жизни она не чувствовала такой боли; расширившиеся от ужаса глаза четко различали каждую песчинку. Вскрикнув, Эмили лягнула правой ногой и, к счастью — о

том, чтобы целиться, речь не шла, — пнула не воздух, а Пикеринга, и пнула сильно. Он взвыл, резкая боль в левой пятке исчезла так же внезапно, как появилась, оставив лишь жжение. На лице Пикеринга что-то хрустнуло — Эмили не только услышала это, но и ощутила. Что же хрустнуло: скула или нос?

Она встала на четвереньки, и вывихнутое запястье пронзила боль, тотчас заглушившая жжение в пятке. На миг она превратилась в замершую на старте бегунью, хотя к старту в рваных шортах не допускают, а потом, словно услышав выстрел судьи, побежала. Техника заметно изменилась: укушенная пятка заставляла прихрамывать. Эмили спустилась к самой воде. В голове царил хаос (теперь она казалась не стайером, а хромой помощницей шерифа из старого вестерна), но недремлющий инстинкт самосохранения подгонял: «Беги, беги по влажному песку!» Эмили судорожно подтянула шорты и заметила: ладони испачканы кровью и песком. Обреченно всхлипнув, она по очереди вытерла их о футболку и обернулась: вдруг все-таки... Напрасные надежды — Пикеринг приближался.

Она старалась, бежала что было мочи, холодный влажный песок успокаивал укушенную пятку, но об обычной технике и обычной скорости оставалось только вспоминать. Пикеринг приближался, очевидно, вложив в финишный спурт последние силы. Двойная радуга бледнела на глазах: облака расходились, и температура стремительно повышалась.

Эмили понимала: ее отчаянных усилий недостаточно. Она могла бы сбежать от старика, старухи, своего зануды-мужа, но не от бешеного ублюдка, который несея за ней по пятам. Пикеринг ее поймает. Чем бы треснуть, когда случится неминуемое? Она огляделась по сторонам, но увидела лишь кострище — памятку о чьем-то пикнике. Увы, оно было слишком далеко и от нее, и от береговой линии — там, где песок сменяют поросшие униолой дюны. Если свернуть в опасный рыхлый песок, погоня закончится еще быстрее. Однако даже у воды положение становилось критическим. Пикеринг

приближался: Эм слышала, как он хрипит и фыркает, давясь кровью, текущей из разбитого носа. Она слышала даже частый стук кроссовок о влажный песок. В тот момент ей так хотелось кого-нибудь встретить, что воображение услужливо нарисовало высокого седовласого мужчину с большим носом и высушенной солнцем кожей. Это же отец, ее последняя надежда! Стоило осознать это, и мираж растаял.

Пикеринг подобрался почти вплотную, дотянулся до ее спины, и чуть не вцепился в футболку, но пальцы соскользнули. В следующий раз не соскользнут. Эмили вошла в воду — сперва по колено, затем по пояс. В воспаленном мозгу появилась идея, расплывчатая, еще не сформировавшаяся окончательно: от Пикеринга можно уплыть или хотя бы дать ему бой в воде, где силы будут более или менее равны. По крайней мере вода погасит бешеную скорость атаки — естественно, если забраться поглубже.

Прежде чем она нырнула в воду и сделала первый гребок — какое там, она даже по пояс не зашла, — Пикеринг схватил ее за футболку и потащил назад, к берегу.

Едва над ее левым плечом мелькнули ножницы, Эмили вцепилась в них и попыталась вырвать из рук Пикеринга. Увы, ничего не получилось. Ноги на ширине плеч, стопы плотно прижаты ко дну, Пикеринг стоял по колено в воде, и отливные, шуршащие прибрежным песком волны ему не особо мешали. А вот Эмили споткнулась и упала на Пикеринга, повалив его в воду. Даже суматошное барахтанье среди волн не помешало ей оценить обстановку мгновенно и безошибочно. Поразительная догадка яркой вспышкой озарила ее сознание — Пикеринг не умел плавать! Владел домом у Мексиканского залива, но не умел плавать! Хотя определенная логика просматривалась: все его визиты на Вермиллион-Ки посвящались игрищам в закрытом помещении.

Эмили отодвинулась, а Пикеринг даже не попытался ее схватить. Он сидел по грудь в бурной воде Залива и явно меч-

тал лишь встать и уберечь свое драгоценное дыхание от стихии, с которой так и не научился справляться.

Если бы не усталость, Эмили непременно поддела бы его. Например, сказала бы: «Знай я правду заранее, не стала бы терять времени и спасла бы жизнь тому несчастному». Вместо этого она глубже вошла в воду и схватила Пикеринга.

— Нет! — заорал он, отбиваясь обеими руками. Ножниц в них не было: вероятно, утонули, а запаниковавший Пикеринг даже не думал о том, чтобы сжать кулаки. — Не смей! Отпусти, сука, отпусти!

Эмили не отпускала. Более того, тащила его на глубину. Перестань он паниковать, запросто вырвался бы, но он не мог, и Эмили поняла: дело не просто в неумении плавать. Пикеринг страдал водобоязнью.

«Зачем нужен дом на берегу Мексиканского залива, если у тебя водобоязнь? Это же безумие, чистое безумие!»

Эмили развеселилась, хотя Пикеринг бешено хлестал ее сначала по правой щеке, затем по левому виску. В рот попала вода, и Эмили быстро сплюнула. На глубину, скорее на глубину! Увидев высокую, блестящую на солнце волну с белым барашком на вершине, она окунула туда Пикеринга. Вода накрыла его с головой, и испуганные крики превратились в сдавленное бульканье. Пикеринг отчаянно бился в ее объятиях. Пару секунд оба были под водой, и, задержав дыхание, Эмили увидела, как его лицо превращается в бледную маску ужаса; нечеловеческое лицо нечеловека — что ж, все встало на свои места. В зеленоватой воде танцевали мириады песчинок, мимо проплыла мелкая, ни о чем не подозревающая рыбка.

Глаза Пикеринга вылезли из орбит. Течение трепало его волосы, постриженные в абсурдно дорогом салоне, и Эм следила за ними во все глаза. Когда короткие темные пряди повернуло в другом направлении — не к Флориде, а к Техасу, Эмили изо всех сил толкнула его, затем коснулась ногами песчаного дна и вынырнула на поверхность.

Воздух, блестящий, сияющий воздух! Эмили жадно глотала его: еще, еще и еще. Надышавшись, медленно побрела к берегу, что оказалось непросто, несмотря на его близость. Отливные волны, скользившие у ее ног, с небольшой натяжкой можно было бы назвать откатом, а чуть дальше от суши — и без натяжки. Чуть дальше начинался водоворот, в котором погиб бы даже опытный пловец, если бы потерял голову и не рассчитал оптимальную траекторию движения.

Запнувшись, Эм потеряла равновесие, села, и ее тут же окатила подлетевшая волна. Как здорово! Холодно, но все равно здорово! Впервые со дня смерти дочери ей было хорошо. Даже не просто хорошо: болела каждая клеточка тела, по щекам текли слезы, но она чувствовала себя прекрасно.

Эмили поднялась, ощущая, как липнет к груди промокшая футболка. Волны уносили от берега что-то голубое, и, взглянув на себя, она поняла, что потеряла шорты.

— Ну и ладно, все равно порвались, — сказала Эм и, громко смеясь, начала отступать к берегу. Сперва вода доходила до колен, потом до голеней и, наконец, лишь до щиколоток. На такой глубине она могла стоять сколько угодно. Холодная вода почти успокоила саднящую боль в пятке, а морская соль наверняка отличный антисептик, ведь говорят же, что человеческий рот — настоящий рассадник микробов. — Да уж, — хохотала Эмили, — но какого черта...

Тут на поверхность воды вынесло Пикеринга. Он был уже футах в двадцати пяти от берега, бешено махал руками и кричал: «Помоги! Помоги! Я не умею плавать!»

— Знаю, — спокойно сказала Эм и сделала ему ручкой. — Может, акулу встретишь. На прошлой неделе Дик Холлис говорил, у них нерест.

— Помог... — очередная волна накрыла Пикеринга с головой, Эмили решила, что окончательно, но его вынесло на поверхность уже футах в тридцати от берега, — ...мне! Пожалуйста!

Надо же, какой живучий! А ведь то, что он делал — молотил руками, словно надеясь чайкой взлететь над волнами, в принципе не могло принести результат. Течение уносило Пикеринга все дальше, а спасти его было некому.

Разве что Эмили.

Вернуться он не мог даже теоретически, но Эмили все равно добрела до брошенного кострища, схватила самую большую из обугленных палок и вместе со своей удлинившейся тенью осталась смотреть на залив.

12

Наверное, такой вариант мне больше нравится

Держался Пикеринг долго. Сколько именно, Эмили сказать не могла, ведь он забрал ее часы. Сначала он перестал кричать, потом превратился в белую точку над красной кляксой тенниски «Изод», а потом разом исчез. Через некоторое время Эм почудилась рука, поднимающаяся над водой наподобие перископа, но она ошиблась: Пикеринг просто исчез. Эх... Она не на шутку расстроилась. Скоро она станет собой, даже чуть лучше, но в тот самый момент... В тот самый момент ей хотелось, чтобы Пикеринг продолжал страдать, чтобы умирал долго и мучительно. Хотелось отомстить за Николь и остальных «племянниц».

«Я теперь тоже «племянница»?»

Да, пожалуй. Последняя «племянница». Которая бежала во весь опор. Которая выжила. Эмили села у брошенного кострища и отшвырнула обугленную палку. Вряд ли из нее получилась бы приличная дубинка, скорее от первого же удара она раскрошилась бы, подобно рашкулю. Огненно-оранже-

вое солнце ласкало западный горизонт. Еще немного, и он воспламенится.

Она думала о Генри, думала о маленькой дочке. От семьи ничего не осталось, но ведь когда-то она была такой же прекрасной, как двойная радуга над пляжем. и воспоминания о ней согревали душу. Она думала об отце. Скоро она встанет, доберется до «Зеленого шалаша» и позвонит ему. Скоро, но не сейчас. Сейчас хотелось просто сидеть на пляже, прижав стопы к песку, и обнимать колени ноющими от боли руками.

Ни рваные голубые шорты, ни красную тенниску Пикеринга к берегу не прибило. Мексиканский залив проглотил и то и другое. Пикеринг утонул? Этот вариант казался наиболее вероятным. Просто исчез он внезапно и не под волну попал, а просто исчез...

— По-моему, его забрала какая-то сила, — сказала Эм сгущающимся сумеркам. — Наверное, такой вариант мне больше нравится, бог знает почему.

— Потому что ты человек, милая, — ответил Расти Джексон. — Только и всего.

Простое объяснение полностью устроило Эмили.

В классическом фильме ужасов Пикеринг обязательно нанес бы еще один, последний удар: выбрался бы из темных вод Залива или, насквозь промокший, но живой, караулил бы Эм в стенном шкафу «Зеленого шалаша». Только она понимала: это не фильм ужасов, а жизнь, ее собственная жизнь, в которую она погрузится прямо сейчас и для начала вернется к дому из некрашеного ракушечника с ключом в коробке от пастилок «Сакретс», спрятанной под уродцем-гномом в выгоревшем (изначально красном) колпаке. Она воспользуется ключом, а еще телефоном. Первым позвонит отцу, потом в полицию, а потом, наверное, Генри. Генри ведь имеет право знать, что с ней все в порядке, верно? Хотя скоро он это права утратит, без особого, как казалось ей, сожаления.

Три пеликана спикировали на воду, потом взлетели, высматривая рыбу. Эм заворуженно наблюдала, как они обрета-

ют равновесие в освещенном ярко-оранжевым солнцем воздухе. В те минуты лицом Эмили напоминала девчонку-сорванца, обожающую лазать по деревьям, только сама об этом даже не подозревала.

Птицы сложили крылья и синхронно нырнули в воду.

— Браво, пеликаны! — крикнула Эмили и зааплодировала, не жалея распухшего правого запястья.

Потом вытерла глаза, откинула волосы за спину, поднялась и зашагала к дому.

Сон Харви

Дженет поворачивается от раковины и — нате вам! — муж, с которым прожито почти тридцать лет, сидит за кухонным столом в белой майке и трусах «Биг дог» и молча на нее смотрит.

Все чаще и чаще по субботам она натывается на этого ко-мандора Уолл-стрит здесь, в кухне, где он сидит — вот как сейчас, — ссутулившийся, с пустыми глазами, белесой щетиной на щеках, обвислой грудью за вырезом майки и торчащими волосами — будто у постаревшего и поглупевшего Альфальфы из «Маленьких негодников».

В последнее время Дженет и ее подруга Ханна частенько пугали друг дружку (как девчонки по ночам байками о привидениях) страшилками про то, что делает с людьми болезнь Альцгеймера: такой-то больше не узнает жену, такая-то не может вспомнить, как зовут детей.

Вообще-то она не верит, что эти молчаливые субботние «явления» и есть на самом деле ранние симптомы жуткой болезни. По будням Харви Стивенс уже без четверти семь свеж, подтянут и рвется в бой: шестидесятилетний — а в костюме ему больше пятидесяти... ладно, больше пятидесяти четырех и не дашь — бодрячок, получше многих умеющий и провер-

Harvey's Dream

© Перевод. С. Самуйлов, 2010

нуть выгодную сделку, и купить с маржей, и сыграть на понижение.

Нет, думает она, Харви всего лишь примеряется к старости, и ей эти примерки не по душе. Дженет боится, что когда муж выйдет на пенсию, таким станет каждое утро: он будет вот так сидеть, пока она не подаст стакан сока и не спросит, старательно и безуспешно скрывая накапливающееся раздражение, желает ли он хлопья или только тост. Дженет боится, что, отвлекаясь от дел, будет каждый раз вздрагивать, видя Харви у бара в полосе яркого света, в майке и трусах, расставившего ноги, выставившего напоказ съездившийся пенис и пожелтевшие мозоли на пальцах, неизменно вызывающие в памяти «Императора мороженого» Уоллеса Стивенса. Боится, что он навсегда останется молчаливым и тупо сосредоточенным, а не свежим и бодрым, настроенным на деловой лад.

И все-таки Дженет надеется, что ошибается. От таких мыслей жизнь кажется пустой и бессмысленной. Разве все было ради этого? Разве ради этого они растили и выдали замуж трех дочерей, терпели неизбежный для среднего возраста роман Харви, работали и, что скрывать, иногда урывали кое-что для себя? А если, продравшись сквозь тернии, ты оказываешься... оказываешься на такой вот посадочной площадке, то возникает вопрос: почему?

Ответ прост. Потому что ты не знала, чем все кончится. Ты шла, стараясь не замечать мелкого вранья и обмана, и при этом упорно цеплялась за большую ложь, согласно которой жизнь имеет смысл. Ты хранила альбом, в котором твои девочки оставались юными, хранительницами твоих надежд: вот Триша, старшая, в островерхой шляпе мага машет обмотанной фольгой волшебной палочкой над головой кокер-спаниеля Тима; вот Дженна застыла в прыжке через фонтанчик спринклера — ее слабость к наркотикам, кредиткам и мужчинам постарше еще не дала всходов, — а вот и Стефани, младшенькая, на окружном соревновании по орфографии, где она споткнулась о «канталупу». На большинстве снимков, обычно на заднем фоне, присутствуют и они — Дженет и тот,

за кого она вышла замуж, — всегда улыбающиеся, будто позируя не улыбчивым, ты преступаешь закон.

А потом в один прекрасный день ты совершила ошибку: оглянулась и обнаружила, что девочки выросли, а мужчина, за которого ты изо всех сил держалась, сидит в полосе утреннего света, расставив бледные, как рыбье брюхо, ноги, и смотрит в никуда. И пусть в костюме, собираясь на работу, он выглядит на пятьдесят четыре, здесь, за кухонным столом, ему никак не дашь меньше семидесяти. Да что там — семидесяти пяти. Таких, как он, громилы в «Клане Сопрано» называют пришибленными.

Дженет поворачивается к раковине и сдержанно кашляет — раз, другой, третий.

— Как оно сегодня? — спрашивает Харви, имея в виду ее аллергию.

Ответ — не очень. Но — и это удивительно — как и во многом другом, что считалось прежде злом, в летней аллергии Дженет обнаружилась и светлая сторона. Не нужно больше делить с ним кровать, сражаться среди ночи за одеяло и слушать, как он пердит во сне. Летом удастся поспать шесть, а то и семь часов, и этого более чем достаточно. С приходом осени Харви возвратится из комнаты для гостей в спальню, и сон сократится до четырех беспокойных часов.

Дженет знает — однажды он не вернется, останется там. И хотя не говорит мужу об этом, чтобы не обижать — она по-прежнему бережет его чувства; именно это щадящее отношение друг к другу заменяет теперь у них любовь, по крайней мере на той полосе, что идет от нее к нему, — ее это только обрадует.

Дженет вздыхает, опускает руку в стоящую в раковине кастрюльку с водой, шарит...

— Так себе.

И тут, когда она только-только успевает подумать (уже не в первый раз), что сюрпризов в жизни не осталось, как не осталось неизведанных глубин в браке, Харви вдруг замечает каким-то странным тоном, будто бы вскользь:

— Хорошо, что ты не спала со мной сегодня, Джакс. Что-то плохое снилось. Вообще-то я даже проснулся оттого, что закричал.

Вот так-так. И когда ж он в последний раз называл ее Джакс, а не Дженет или Джен? Неприятное прозвище, оно никогда ей не нравилось, потому что напоминало о слащавой актрисочке в сериале «Лесси» из далекого детства. Там еще был мальчик (Тимми, да, Тимми), с которым постоянно случались неприятности: то в колодец провалится, то у него нога под камень попадет, то змея его укусит. Да какие ж родители доверят присматривать за ребенком чертовой колли?

Она поворачивается к нему, позабыв про кастрюльку с последним яйцом. Приснилось что-то плохое? Харви? Дженет пытается вспомнить, когда он вообще говорил, что ему что-то приснилось, и не может. В памяти сохранилось только бледное воспоминание о тех давних временах, когда он ухаживал за ней. Тогда фраза типа «ты мне снилась» еще звучала довольно мило и не казалась избитой.

— Ты... что?

— Проснулся оттого, что закричал. Ты вообще слышала, что я сказал?

— Нет.

Дженет смотрит на него. Уж не подкалывает ли? Может, у Харви теперь по утрам шутки такие? Да нет, Харви не юморист. Юмор в его понимании — это рассказать за обедом анекдот из армейской жизни. Да и те она знает наперечет.

— Я выкрикивал какие-то слова, но выговорить их не мог. Как будто... ну, даже не знаю... как будто меня парализовало. И голос у меня был другой... ниже... совсем не похожий на мой. — Харви ненадолго умолкает. — Потом понял, что кричу, и остановился. Но меня еще трясло. Так трясло, что даже свет пришлось включить. Сходил в туалет и, представляешь, ни капли. Обычно-то наоборот, чуть ли не постоянно тянет пописать и всегда что-то да выжимаю, а тут на часах два сорок семь — и ничего.

Он опять умолкает. Сидит в полосе солнечных лучей. Дженет видит в ней танцующие пылинки. Они как нимб над его головой.

— И что же тебе приснилось? — спрашивает она и ловит себя на том, что, пожалуй, впервые за последние лет пять — после того случая, когда они засиделись за полночь, решая, придержать или продать акции «Моторолы» (в конце концов дело закончилось продажей), — ей действительно интересно, что он скажет.

— Не уверен, что так уж хочу рассказывать, — с нехарактерным для себя смущением отвечает Харви.

Поворачивается, берет мельницу для перца и начинает перебрасывать из руки в руку.

— Говорят, если сон рассказать, он не сбудется, — замечает Дженет, и — Странность Номер Два — что-то вдруг меняется.

Даже тень Харви на стене над тостером выглядит иначе. Уместнее. Как будто он еще что-то для меня значит, размышляет она. Но с чего бы это? Если я минуту назад думала, что жизнь пуста и бессмысленна, то откуда появиться смыслу? Обычное летнее утро, конец июня. Мы в Коннектикуте. В июне мы всегда в Коннектикуте. Скоро кто-то из нас сходит за газетой, которую мы поделим на три части. Как Галлию.

— Так говорят?

Харви думает, сдвинув брови — их снова надо выщипывать, вон как разрослись, а ему хоть бы хны! — перебрасывая с ладони на ладонь мельницу. Дженет так и подмывает сказать, чтобы перестал, чтобы оставил мельницу в покое, что ее это нервирует, как нервирует его черная тень на стене и тревожное биение ее собственного сердца, которое ни с того ни с сего вдруг затрепыхалось, но она сдерживается, чтобы не отвлекать мужа от того, что происходит сейчас в этой его субботней голове.

Потом Харви ставит на стол мельницу для перца, и все бы хорошо, но только все нехорошо, потому что у мельницы вырастает своя тень, тянущаяся через стол, длинная, как от ог-

ромной большой шахматной фигуры, и тени появляются даже у хлебных крошек, и они, эти тени, почему-то — почему? — путают ее. На память приходит Чеширский Кот, его обращенные к Алисе слова, «мы все здесь сумасшедшие», и у Дженет вдруг пропадает всякое желание выслушивать глупый сон мужа. Тот, в котором он кричал и разговаривал, как парализованный. Нет, пусть лучше жизнь будет пустой и бессмысленной. Что в том плохого? Ничего. А если сомневаетесь — посмотрите на киноактрис.

Ничего нет и быть не должно, лихорадочно думает она. Да, лихорадочно, как будто у нее снова прилив, хотя Дженет могла бы поклясться, что вся эта чушь закончилась еще два или три года назад. Ничего нет и быть не должно. Сегодня суббота, и ничего быть не должно.

Дженет открывает рот, чтобы отречься от своих слов, поправиться, сказать, что нет, наоборот, сон не сбудется, если про него не рассказывать, но уже поздно, и Харви говорит, и ей приходит в голову, что это наказание за неприятие жизни как пустой и бессмысленной. А ведь жизнь, она как тот кирпич в песне группы «Jethro Tull» «Thick as a brick», и разве можно думать иначе?

— Мне снилось, что было утро, — рассказывает Харви, — и что я спустился в кухню. И была суббота, как сегодня, только ты еще не встала.

— По субботам я всегда встаю до тебя, — напоминает Дженет.

— Знаю, но это же во сне, — терпеливо объясняет он, а она рассматривает бесцветные волоски на внутренней стороне бедра, там, где теперь висят жидкие, дряблые мышцы.

Когда-то Харви играл в теннис, но то время давно прошло. Ты умрешь от сердечного приступа, думает Дженет с несвойственным ей злорадством. Вот что тебя доконает. И может быть, кто-то даже решит, что твой некролог достоин «Таймс», но если в этот день умрет какая-нибудь второразрядная актриса из пятидесятых или малоизвестная балерина из сороковых, ты и этого не получишь.

— Все было так же, — продолжает Харви. — Вот и солнце так же светило.

Он поднимает руку, и пылинки вокруг головы оживают, и ей хочется крикнуть, чтобы он перестал, не делал так, не нарушал привычный порядок вселенной.

— Я видел свою тень на полу, и она казалась как никогда яркой и плотной. — Харви улыбается, и Дженет видит, какие потрескавшиеся у него губы. — «Яркая»... странное слово для тени, да? Как и «плотная».

— Харви...

— Я подошел к окну, выглянул и увидел вмятину на фридмановской «вольво». Не знаю откуда, но я знал, что он крепко выпил где-то, и вмятина появилась по пути домой.

Дженет вдруг делается не по себе, как будто она вот-вот упадет в обморок. Она тоже видела вмятину на «вольво» соседа, Фрэнка Фридмана, когда выглядывала за дверь проверить, не пришла ли почта (почта не пришла), и тоже подумала, что Фрэнк, наверное, гулял в «Тыкве» и зацепил что-то на парковке. Хорош же он был, именно такая мысль у нее мелькнула.

Может быть, Харви видел то же самое и теперь просто прикалывается? Почему бы и нет? Окна комнаты, в которой он спит летом, выходят на улицу. Да вот только не тот Харви человек. Прикалываться не в духе Харви Стивенса.

Пот на щеках, на лбу, на шее. Дженет чувствует его, и сердце колотится еще быстрее. Что-то за всем этим вырисовывается, что-то грядет, но почему же именно сейчас? Сейчас, когда мир так тих, а перспективы безмятежны. Если это я напросилась, прости, думает она. Думает или, может быть, уже молит? Мне ничего не надо, пожалуйста, сделай все, как было.

— Я подошел к холодильнику, — говорит Харви, — заглянул, увидел тарелку с фаршированными яйцами и жутко обрадовался — такой ленч в семь утра!

Он смеется. Дженет — то есть Джакс — смотрит в кастрюльку, где осталось одно сваренное вкрутую яйцо. Другие уже очищены и аккуратно разрезаны на половинки, желток

вынут. Они лежат в чашке возле сушилки. Возле чашки — баночка с майонезом. Собиралась нафаршировать и подать к ленчу с салатом.

— Не хочу больше слушать, — говорит она, но так тихо, что и сама себя едва слышит.

Когда-то Дженет занималась в драматическом кружке, а теперь и на кухню голоса не хватает. Грудные мышцы вдруг раскисли, как раскисли бы ноги у Харви, вздумай он вдруг поиграть в теннис.

— Я подумал, что, пожалуй, съем одно, а потом решил — нет, она же раскричится. Потом зазвонил телефон. Я сразу к нему бросился, не хотел, чтобы звонок тебя разбудил. И вот тут начинается страшное. Хочешь страшное слушать?

Нет, думает Дженет, стоя у раковины. Не желаю слушать страшное. И в то же время ей хочется услышать это страшное. Страшное всем интересно, мы на этом повернуты. И потом ее мать действительно говорила, что, если рассказать кому-то сон, он не сбудется, а значит, от кошмаров нужно избавляться, а хорошие сны оставлять для себя, утаивать, прятать, как молочный зуб под подушку.

У них три девочки. Одна, Дженна, из тех, кого называют «веселыми разведенками», живет на этой же улице. И, конечно, имя ей не нравится — оно, видите ли, такое же, как у дочери Буша, — требует, чтобы ее называли Джен. Три девочки — сколько зубов под подушкой, сколько беспокойств и тревог из-за тех типов, что подкатывают на машине и предлагают конфетку, сколько предосторожностей. И как надеется она теперь, что мать была права, что рассказать дурной сон — это как вогнать осиновый кол в грудь вампиру.

— Я взял трубку — звонила Триша. — Триша, их старшая, обожавшая Гудини и Блэкстона, пока не открыла для себя парней. — Она только сказала: «пап», и я уже понял — Триша. Ну, ты знаешь, как это бывает.

Дженет знает, как это бывает. Своих детей узнаешь по одному-единственному, первому слову. По крайней мере пока они не вырастают и не становятся кем-то еще.

— Я сказал: «Привет, Триш, что так рано, милая? Твоя мама еще спит». Сначала никакого ответа. Я уж подумал, что нас разъединили, а потом услышал эти странные звуки, как будто человек то ли шепчет, то ли хнычет. Не слова — половинки слов. Словно она пыталась что-то сказать, но то ли отдышаться не могла, то ли сил не хватало. Вот тогда я и испугался.

Какой приторможенный, а? Сама Дженет — которую звали Джакс в колледже Сары Лоуренс и в драматическом кружке, которая лучше всех владела искусством французского поцелуя, курила «житан» и притворялась, что получает удовольствие от текилы, — испугалась куда раньше, еще до того, как Харви помянул вмятину на машине Фрэнка Фридмана. Сейчас, думая об этом, она вспоминает недавний, не прошло и недели, телефонный разговор со своей подругой Ханной, разговор перекинувшийся в конце концов на страшилки про болезнь Альцгеймера. Ханна звонила из города, а Дженет сидела у окна в гостиной, любуясь их прекрасным участком в один акр и чудесными растениями, от которых у нее свербело в носу и слезились глаза, и еще до того, как речь зашла о болезни Альцгеймера, они говорили о Люси Фридман, потом о Фрэнке, а потом кто-то — вот только кто? — сказал: «Если он не перестанет садиться за руль пьяным, точно кого-нибудь сожмет».

— Потом Триша произнесла что-то вроде «лицо» — по моему, это называется выпусканием слога, ну, когда у человека теряется в речи слог? — но дело было во сне, и я понял, что она говорит «полиция». Я спросил, при чем тут полиция, что она хочет сказать... и сел. Прямо вон там. — Харви указывает на стул в нише, где стоит телефон. — Она не ответила, молчала, потом снова начала что-то шептать, какие-то обрывки слов. Я так на нее разозлился. Подумал, вот же притвора, какой была, такой и осталась. И тут она произнесла «номер». Так четко и ясно. И я сразу понял: она хочет сказать, что полиция позвонила ей, а не нам, потому что у них нет нашего номера.

Дженет тупо кивает. Они сами два года назад попросили дать им незарегистрированный номер, потому что Харви постоянно названивали репортеры — из-за скандала с «Энроном». Причем звонили обычно вечером, ближе к обеду. Не то чтобы Харви имел к «Энрону» непосредственное отношение, просто он специализировался на крупных энергетических компаниях. Несколько лет назад, когда всем верховодил Клинтон, а мир (по ее скромному мнению) был немного лучше и безопаснее, Харви даже входил в президентскую комиссию. И что бы она ни думала о муже — а ей теперь не нравилось в нем многое, — одно Дженет знала точно: в одном мизинце Харви больше честности, чем у всех энроновских проходимцев, вместе взятых. Честность порой утомляет, но Дженет знает ей цену.

Стоп, а разве полиция не может получить номер незарегистрированного телефона? Может быть, и нет, особенно если они спешат что-то передать кому-то или кого-то разыскать. К тому же сон ведь не обязательно должен подчиняться логике, так? Сны — стихи из подсознания.

Она не в силах больше просто стоять, а потому идет к двери и смотрит на их улицу, Соуинг-лейн — миниатюрную копию того, что, по ее представлению, и является Американской Мечтой. Какое тихое утро! Как блестят росинки на траве! Но сердце громыкает молотом в груди, и пот катится по лицу, и она хочет сказать, чтобы он перестал, замолчал, не рассказывал этот жуткий кошмар. Она хочет напомнить ему, что Дженна — нет, Джен! — живет на этой же улице. Джен, которая работает в видеосалоне и слишком много времени проводит в «Тыкве», где пьет с такими, как Фрэнк Фридман, который ей в отцы годится. Что, конечно, только добавляет ему привлекательности.

— Она все никак не хотела говорить, только бормотала неразборчиво, но потом я услышал «погибла» и понял, что одной из наших девочек больше нет. Я просто это знал. Не Триши — она мне звонила. Стефани или Дженны. Я жутко перепугался. Сидел и думал, кто же мне дороже. Как в том

долбаном «Выборе Софи». И я начал кричать на нее. «Скажи кто!» «Скажи мне, кто!» «Ради бога, Триш, скажи кто!» И только тогда реальный мир начал как бы просачиваться...

Харви хмыкает, а Дженет видит в самой середине вмятины на бампере Фрэнковой машины красное пятно и в середине красного пятна что-то темное, может, грязь, а может, клочок волос. Она видит, как Фрэнк, пьяный вдрызг, подваливает к тротуару в два часа ночи. Он даже не пытается свернуть на дорожку, не говоря уже о том, чтобы заехать в гараж — тесны ворота и все такое. Дженет видит, как он бредет к дому, пошатываясь, повесив голову, тяжело дыша через нос.

— К тому времени я уже понял, что лежу в постели, но голос продолжал звучать, тихий и совсем на мой не похожий, голос незнакомца. «Жии тоо» — вот так он звучал. «Жии нее тоо, риш!»

Скажи кто. Скажи мне кто, Триш.

Харви замолкает. Думает. Прикидывает. Над ним танцуют пылинки. Майка на солнце блестит так, что на нее больно смотреть; это майка из рекламы стирального порошка.

— Я лежал и ждал, когда же ты прибежишь и поймешь, что что-то не так, — наконец говорит он. — Лежал и трясся от страха. Убеждал себя, как и ты, что это только сон, только уж больно реальный. Реальный и ужасно удивительный. Или удивительно ужасный.

Харви снова умолкает, обдумывая, как рассказать о том, что было дальше, и не замечая, что жена больше не слушает. Та, что была когда-то Джакс, напрягает все свои немалые мыслительные силы, убеждая себя в том, что красное пятно на капоте фридмановской «вольво» не кровь, а всего лишь грунтовка под ободранной краской. Грунтовка. С какой готовностью подсознание отыскивало и подсказало нужное слово.

— Поразительно, насколько глубоко иногда заходит воображение, — говорит наконец Харви. — Такой сон — это то, как поэт — по-настоящему великий поэт! — видит свою поэму. Все детали настолько четкие и яркие...

Он замолкает. Кухня принадлежит теперь солнцу и танцующим пылинкам. Мир снаружи временно поставлен на паузу. Дженет смотрит на стоящую через улицу «вольво», и машина пульсирует в глазах в ритме той песни «Jethro Tull». Когда звонит телефон, она не кричит, потому что не может даже вздохнуть, и не затыкает уши, потому что не в силах поднять руки. Она слышит, как муж встает и идет к телефону, а тот звонит второй раз и третий.

Ошиблись номером, думает она. Так должно быть, потому что если сон рассказываешь, он не сбывается.

— Алло? — говорит Харви.

Стоянка

Не иначе как между Джексонвиллем и Сарасотой он проделал трюк старины Кларка Кента, имевшего обыкновение выходить из телефонной будки в личине Супермена. Только вот забыл, где и как. А может, и помнить было нечего. Иногда ему казалось, что вся эта канитель с Риком Хардином и Джоном Дикстрой насквозь фальшива, рекламный трюк, как в случае с Арчибальдом Блоггертом (или как там его), снимавшимся под псевдонимом Кэри Грант, или Эваном Хантером (Сальваторе такой-то), печатавшимся под именем Эдда Макбейна. Наверняка у этих парней были свои резоны, как и у Дональда Э. Уэстлейка, который подписывал свои лихо закрученные пиратские истории псевдонимом Ричард Старк. Или К.С. Константайна, под именем которого скрывался... Впрочем, эту тайну так ведь никто и не раскрыл, верно? Или возьмем таинственного мистера Б. Травена, написавшего «Сокровища Сьерра-Мадре». Никто не знает наверняка, в этом вся прелесть.

Имена, кому нужны имена?

К примеру, кем он был на пути из Джексонвилля в Сарасоту, который проделывал раз в две недели? Очевидно, что

Rest Stop

© Перевод. М. Клеветенко, 2010

из «Золотой кружки» в Джексе он выходил Хардином, а в свой дом у канала на Макинтош-роуд входил Дикстрой. Но кто сейчас, на семьдесят пятом шоссе проносится мимо городишек, спрятанных за слепящими огням магистрали? Хардин? Дикстра? Ни тот, ни другой? В какой миг преуспевающий литератор-оборотень превращался в безобидного английского профессора, специализирующегося на американских поэтах и романистах двадцатого века? Да и кого это волнует, если упомянутый литератор сумел поладить с Всевышним, налоговой службой и парой футболистов, которых каким-то ветром занесло на один из двух его обзорных курсов?

Во всяком случае, к югу от Окалы это не важно. Где бы отлить — вот что занимало мозги. В «Золотой кружке» он превысил норму на пару-тройку бокалов, поэтому поставил ограничитель круиз-контроля «ягуара» на шестьдесят пять. Не хватало еще увидеть в зеркале заднего вида полицейские мигалки. И пусть «ягуар» куплен на гонорары Хардина, большую часть жизни Хардин был Джоном Эндрю Дикстрой, и именно это имя на водительских правах осветит фонарик патрульного. Хардин может преспокойно потягивать пиво в «Золотой кружке», но если флоридский блюститель закона вынет из синего ящичка свою ужасную трубку, внутрь хитроумного устройства попадут отравленные алкоголем молекулы Дикстры. Кем бы он ни был, в эту июньскую ночь на четверг он мог стать легкой добычей — любители погреться на зимнем флоридском солнышке давно укатали в свой Мичиган, и шоссе принадлежало только ему.

Золотое правило, известное любому первокурснику: пиво дырочку найдет. К счастью, в шести-семи милях от Окалы есть стоянка, а при ней — заветная комнатка, к которой направлены все его мысли.

Его? Кого его?

Наверняка можно сказать только одно: шестнадцать лет назад в Сарасоту приехал именно Джон Дикстра, он же с девяностого преподавал английский в местном филиале Флоридского университета. В девяносто четвертом Дикстру одо-

лел писательский зуд, заставивший отказаться от летнего курса и засесть за написание остросюжетного романа. Идею подсказал его нью-йоркский агент — малый звезд с неба не хватал, но был честным и с неплохим послужным списком. Он пристроил четыре рассказа нового клиента (под фамилией Дикстра) в журналах, где платили жалкие несколько сотен за штуку. Звали агента Джек Голден, и, несмотря на ничтожные коммиссионные, от чека Дикстры он отказался. Именно Джек первым заметил, что его рассказам присущ «повествовательный размах» (выражение, которые агенты употребляют, имея в виду сюжет, решил Джонни). Именно он поверил, что новый клиент способен заработать сорок—пятьдесят тысяч за роман в сотню тысяч слов.

«Лучше приступать летом. Ищите крючок для шляпы — и вперед, — написал агент в письме (в деловых вопросах они не признавали телефона и факса). — Заработаете вдвое больше, чем за летние курсы в Международном университете. Самое время, дружище, пока не успели обзавестись женой и кучкой отпрысков».

И хотя ни тогда, ни теперь подходящей кандидатуры на роль жены не предвиделось, Джон прекрасно понимал, что имеет в виду агент. Чем старше становишься, тем труднее схватить удачу за хвост. И дело не только в жене и детях. Жизнь неспешно скользит мимо, а ты потихоньку обрастаешь обязательствами. Взять, к примеру, извечный соблазн жить в кредит. Кредитные карты, словно ракушки, облепившие корпус судна и тормозящие продвижение вперед. Кредитные карты — свидетели вашей успешности, признающие только игру на верняка.

Получив в январе девяносто четвертого контракт на летний курс лекций, он вернул его, не подписав, с короткой припиской: «Решил посвятить лето написанию романа».

В ответ Эдди Вассерман был дружелюбен, но тверд: «Дело твое, Джонни, но не обещаю, что сохраню для тебя место на следующее лето. Сам понимаешь, штатный преподаватель всегда имеет преимущество».

Дикстра понимал, но ему было все равно: у него появилась идея, более того, герой. Пес — папаша «ягуаров» и домов на Макинтош-роуд — рвался на свет Божий, благослови Господь его жестокосердную душу.

Впереди в свете фар мелькнула белая стрелка на синем фоне. Левый поворот, тротуар — словно сцена, залитая слепящим неоновым светом. Он включил поворотник, снизил скорость до сорока и свернул с трассы.

На полпути дорога раздваивалась: дальнобойщикам и краснокожим — направо, пижонам на «ягуарах» — прямо. В пятидесяти ярдах от развилки яркий сценический свет заливал приземистое строение из серого шлакобетона. В кино такие изображают ракетные бункеры где-нибудь в захолустье. Почему бы нет? Дежурный офицер, страдающий от прогрессирующего умственного расстройства, которое он тщательно скрывает — ему повсюду мерещатся русские, русские лезут из всех щелей... хотя нет, лучше сделать их террористами «Аль-Каиды», они сейчас в моде, а русские уже не годятся на роли злодеев, разве что наркоторговцев или сутенеров. Впрочем, не важно, кого назначить злодеями, важно, что руки у того малого давно чешутся, а красная кнопка так заманчиво близка, что...

Что он обмочится прямо сейчас, если не прекратит фантазировать! Сделай одолжение, засунь куда подальше свое неумное воображение. Вот и славно, вот и хорошо. К тому же Псу нет места в этой истории. Пес — воин большого города, как он недавно выразился в «Золотой кружке» (неплохо придумано, кстати). И все же что-то есть в идее о спятившем вояке. Красавец... подчиненные души не чают... со стороны и не скажешь...

В этот час кроме него на парковке торчал только «пяти-круизер» — игрушечная моделька, умилявшая сходством с гангстерскими авто тридцатых годов.

Он притормозил за четыре-пять пустых мест от «круизера», заглушил мотор и быстрым взглядом окинул парковку.

Ему уже случалось здесь останавливаться, и даже перетрусить при виде аллигатора, который вразвалку, словно тучный бизнесмен в летах, пересекал асфальт, направляясь в сторону сосен Ламберта. Сегодня никакого аллигатора не было — только мистер «круизер» и он. Вылезая из машины, он небрежным движением через плечо нажал на брелок сигнализации. «Ягуар» послушно чирикнул, тень мелькнула в свете вспыхнувших фар... вот только чья? Дикстры или Хардина?

Джонни Дикстры, решил он. Хардин остался позади, милах в тридцати—сорока отсюда, на благотворительном обеде, где мистер Хардин не оплошал, закончив свое краткое и весьма остроумное выступление перед остальными «Флоридскими злоумышленниками» обещанием натравить Пса на всякого, кто не сделает щедрое пожертвование «Читателям солнечного света» — некоммерческой организации, издающей аудиокниги для слепых школьников.

Он шел через парковку к серому зданию, каблуки цокали по асфальту. На публике Джон Дикстра никогда не носил потертых джинсов и ковбойских сапог (особенно если его приглашали в качестве почетного гостя), но Хардин вылеплен из другого теста. В отличие от мнительного Джонни Хардину было плевать, что думают люди о его внешности.

Здание делилось на три части. Женский туалет налево, мужской — направо, и широкий крытый проход посередине: буклеты с описаниями туристических объектов Центральной и Южной Флориды, автоматы по продаже сладостей и газированных напитков. Был даже автомат, который выплевывал дорожные карты, съедая уйму четвертаков.

По обеим сторонам двери были расклеены объявления о пропавших детях, от которых Дикстру всегда бросало в дрожь. Сколько их гниет сейчас в сыром песчанике или кормит аллигаторов в болотах Глейдса? Сколько выросло в уверенности, что бродяги, насилюющие их сами или продающие всем желающим, приходится им родителями? Дикстра не любил заглядывать в открытые невинные лица и старался не задумываться о той бездне отчаяния, что лежала за бессмыслен-

ными суммами вознаграждений: десять, двадцать, пятьдесят и даже сто тысяч. (Последнее за смешливую белобрысую девчонку из Форт-Майерса, пропавшую в восьмидесятом. Будь она жива, сейчас ей было бы слегка за тридцать — да только вряд ли.) Еще висело объявление, запрещавшее дырывать мусорные баки, другое не советовало задерживаться на стоянке больше часа: «ПОЛИЦИЯ ВЕДЕТ НАБЛЮДЕНИЕ».

«Интересно, кому придет в голову здесь задержаться?» — подумал Дикстра, слушая, как ночной ветер шелестит верхушками пальм. Спятившему вояке, вот кому. Месяцы и годы проносятся мимо с грохотом и завыванием шестнадцатиколесных грузовых махин, и постепенно ему начинает казаться, что спасение — в красной кнопке.

Он повернул направо и застыл на полушаге, услышав сзади женский голос, слегка искаженный эхом, но все равно пугающе близкий:

— Нет, Ли, нет, милый, не надо!

За звонкой пощечиной последовал тяжелый глухой удар. Избивали женщину. Дикстра почти видел алый след на щеке от ладони, видел, как коротко стриженная голова (блондинка? брюнетка?) ударилась о серый кафель. Женщина заплакала. В ярком свете неоновых ламп кожа на руках Дикстры покрылась мурашками. Он закусил губу.

— Ах ты, сука!

Тон напыщенный и вялый, артикуляция четкая, однако было очевидно, что говоривший пьян. Такие голоса слышишь на бейсбольных стадионах и карнавалах, а еще под утро сквозь бумажные стены и потолки moteлей, когда луна зашла, а бары закрылись. Судя по репликам, которые женщина вставляла в разговор — хотя можно ли назвать это разговором? — она тоже была навеселе, а вернее, сильно напугана.

Дикстра стоял в узкой расщелине между комнатами, лицом к мужскому туалету, спиной — к парочке в женском. В темноте, окруженный шелестящими от ночного ветра плакатами с детскими лицами, Дикстра ждал, что все обойдется. Как же, держи карман шире. В голове вертелись слова из кан-

три-песенки, зловещие и бессмысленные: «Как завязать, если ты богат, если ты богат, если ты богат...».

Смачный удар, женский вопль. И снова молчание прервал мужской голос. А ведь он не только алкоголик, но и неуч, решил про себя Дикстра. Он мог многое рассказать про этого типа: в школе на английском вечно сидел на задней парте, а дома жадно глотал молоко прямо из пакета; вылетел из колледжа на втором, а то и на первом курсе, на работе носил перчатки и ножик в заднем кармане. Впрочем, его догадки равносильны утверждению, что все афроамериканцы обладают врожденным чувством ритма, а итальянцы поголовно рыдают в опере. Пусть так, но сейчас, в темноте, окруженный портретами пропавших детей, напечатанными на розовой бумаге (их всегда печатают на розовом, словно розовый — цвет потери), Дикстра был уверен в своей правоте.

— Ах ты, сучка!

А еще он конопатый, подумал Дикстра. Быстро сгорает на солнце. От этого вид у него всегда немного чокнутый, да и ведет он себя соответственно. Когда при деньгах, хлещет мексиканский ликер «Калуа», когда на мели, сосет пиво...

— Ли, не надо, — захныкала она.

Так не пойдет, леди, возмутился Дикстра, неужто не ясно, что так только хуже? Что дорожка соплей под вашим носиком только заводит его?

— Не бей меня больше, я...

Хрясь!

Удар, вопль. Женщина по-собачьи взвизгнула. Видно, старина «круизер» снова врезал подружке по физиономии, и ее голова стукнулась о кафельную стену. Впрочем, неудивительно. Почему за год в Америке регистрируются триста случаев семейного насилия? Да потому что, сколько им ни говори, все без толку, вот почему!

— Чертова сука!

Сегодня вечером Ли бубнил это как молитву, Второе послание к Алкоголианам. Больше всего Дикстру ужасало полное равнодушие в его голосе. Уж лучше б орал — гнев вспых-

нет и выгорит дотла, но сегодня малый, кажется, решил довести дело до конца. Не просто избить ее, а потом слезно молить о прощении, как уже бывало не раз. Нет, сегодня он пойдет дальше. Господи, святые угодники, пронеси и помилуй!

Что делать? И вообще, при чем тут я? Я-то тут при чем?

Дикстра уже не мог просто войти в мужской туалет и с ленивым наслаждением опорожнить мочевой пузырь; яички набухли и затвердели, как галька, тяжесть в почках отдавала в спину и в ноги. Сердце неслось мелкой трусцой, еще одна оплеуха — и оно рванет как спринтер. Пройдет час или больше, прежде чем Дикстра сумеет помочиться. И даже тогда, несмотря на то, что ему давно невтерпех, дело ограничится жалкими кривыми струйками, которые не принесут облегчения. Господи, как же ему хотелось, чтобы этот час поскорее прошел, а он оказался отсюда на расстоянии в семьдесят миль!

Что ты будешь делать, если он еще раз ударит ее?

А если она выскочит из туалета, а мистер «круизер» рванет за ней? Другого пути нет, только через коридор, где стоит Джон Дикстра. В ковбойских сапогах, которые Рик Хардин обувает, когда едет в Джексонвилль, где каждые две недели авторы ужастиков — по большей части дородные дамы в брючных костюмах розового и персикового цветов — собираются, чтобы обсудить продажи, свое ремесло и своих агентов, а еще вволю посплетничать.

— Ли-Ли, не делай мне больно, пожалуйста, не трогай ребенка...

Ли-Ли! Боже милосердный!

А теперь еще и это, для ровного счета. *Ребенок. Пожалуйста, не трогай ребенка.* Настоящий сериал. Любящее семейство ждет не дождется твоего появления на свет, малыш.

Колотящееся сердце опустилось еще на дюйм. Дикстре казалось, что он зажат в крошечном ущелье между туалетами добрых двадцать минут, но, судя по часам, прошло всего секунд сорок. Субъективная природа времени — мозг, испытывая перегрузки, начинает работать с чудовищной быстротой. Он и сам не раз писал об этом, не говоря уже о кол-

легах-детективщиках. Издержки жанра. В следующий раз, когда придет его черед выступать перед «Флоридскими злоумышленниками», он расскажет им о сегодняшнем происшествии. «Как я нашел время, чтобы раскинуть мозгами, Второе послание к Алкоголианам». Впрочем, вряд ли они переварят такое, вряд ли оценят...

Его размышления прервал град ударов. Кажется, Ли вошел в раж. Теперь эти звуки будут вечно стоять у Дикстры в ушах — не киношные, а взаправдашные удары: неожиданно мягкие, почти нежные, словно били кулаком в подушку. Женщина вскрикнула: один раз удивленно, затем — от боли, а после лишь тихонько скулила. Стоя в темноте, Дикстра вспоминал о бесчисленных фондах помощи жертвам семейного насилия. Знают ли они, каково это, когда в одном ухе ветер шелестит пальмовыми листьями — и не забудьте про снимки пропавших детей! — а в другом женский голос подвывает от боли и ужаса.

Шарканье ног по кафелю. Ли был готов. Ли-Ли, умоляла она, словно ласковое прозвище могло умерить его ярость. Как и Рик Хардин, он носил грубые сапоги. Всем Ли-Ли этого мира нравится корчить из себя крутых самцов, горячих южных парней. А у женщины на ногах белые спортивные тапочки, Дикстра мог поспорить.

— Сука, чертова сука, думаешь, я не видел, как ты трясла перед ним своими сиськами, сука ты...

— Нет, Ли-Ли, что ты, я никогда...

Снова удар, кого-то рвало: мужчину, женщину? Завтра, когда Ли и его жена или подруга уберутся отсюда, пятна на полу и стене женского туалета будут для уборщика безличной блевотиной, которую хочешь не хочешь, а придется убрать, ладно, а что делать ему, ему-то что делать? Господи Иисусе, неужели придется драться? Если он не станет лезть не в свое дело, Ли просто отколошматит ее, но если вмешается посторонний...

Чего доброго, пришьет нас обоих.

Да, но как же...

Ребенок. Пожалуйста, не трогай ребенка.

Дикстра сжал кулаки. Чертова семейка, чертов сериал!

Женщину рвало.

— Угомонись, Эллен.

— *Не могу!*

— Не можешь? Ладно, я помогу тебе. Чертова... сука, — и снова глухой удар.

Сердце Дикстры упало еще ниже, скоро совсем уйдет в пятки. Если бы обратиться в Пса, пусть ненадолго! По крайней мере в книге прием срабатывал. Кажется, совсем недавно, прежде чем на свою беду свернуть к стоянке, будь она неладна, Дикстра как раз рассуждал о том, кто он на самом деле! Если это не было предзнаменованием, как выражаются составители руководств по писательскому мастерству, то чем тогда?

Ворваться бы в сортир, выбить дерьмо из этого подонка и убраться прочь, как Алан Лэдд в «Шейне». Женщину рвало — словно автомат перемалывал булыжники в гравий, — и Дикстра знал, что у него не хватит духу. Пес был выдумкой, а реальность груба и шершава, как язык алкоголика.

— Давай, сделай так еще раз и увидишь, чем тебе это отойдется, — не унимался Ли.

В его голосе появилось мертвящее спокойствие. Дикстра не сомневался — Ли готов идти до конца.

Когда в суде спросят, почему я не вмешался, мне будет нечего сказать. Слушал, анализировал, вспоминал. Был свидетелем. Придется объяснить им, что писатели, когда не сидят за письменным столом, ничем другим не занимаются.

А что, если на цыпочках прокрасться к «ягуару» и вызвать полицию? Не зря через каждые десять миль у обочины торчит плакат: «В случае аварии набрать на мобильном *99». Впрочем, пока копы доберутся сюда из Брейдентона или Ибор-сити, маленькое кровавое родео завершится.

Икота, судорожные попытки сдержать рвоту. Дверная створка дрогнула. Женщина не хуже Дикстры понимала, что на уме у Ли. Если ее вырвет еще раз, Ли сорвется с катушек.

А что ему грозит? Убийство второй степени, непредумышленное. Через пятнадцать месяцев выйдет из тюрьмы и начнет приставать к ее младшей сестренке.

Дуй к машине, Джон, жми на газ и вали отсюда, твое дело сторона. Постарайся представить, что ничего этого не было. Просто не включай пару дней телевизор и не читай газет. Давай проваливай, ты писатель, а не герой. В тебе и росту-то всего пять футов девять дюймов на сто шестьдесят два фунта весу, и кстати, не забудь про больное плечо. Если влезешь, будет только хуже. И не забудь упомянуть Эллен в своих молитвах, Господь присмотрит за ней.

Дикстра уже обернулся, чтобы драпать, когда его осенило.

Пусть Пес всего лишь вымысел, но Рик Хардин — настоящий.

Эллен Уитлоу из Нокомиса рухнула на сиденье, раскинув ноги и задрав юбку — сучка, она и есть сучка. Ли хотелось схватить ее за уши и разmozжить тупую башку о кафель. С него хватит. Он преподаст ей урок, который она нескоро забудет.

Нельзя сказать, что мысли Ли текли связно — мозг заволокло алым туманом, а из-под тумана, над туманом, сквозь туман просачивался монотонный голос, похожий на Стивена Тайлера из «Аэросмита»: «Не вздумай, детка, меня дурачить, не вздумай, чертова сука, меня дурачить...»

Он успел сделать три шага, но внезапно где-то совсем близко загудела автомобильная сирена, сбивая с ритма, разрушая концентрацию, заставляя оглянуться: бип, бип, бип, бип!

Сигнализация. Взгляд скользнул обратно: от двери — к женщине в кабинке. От дверной ручки — к сучке. Кулаки нерешительно сжимались и разжимались. Ли наставил на Эллен длинный грязный ноготь.

— Двинешься с места — прибью, — пригрозил он, направляясь к двери.

Если в сортире было светло, как на парковке, то в проходе между туалетами темно, хоть глаз выколи. На миг Ли ослеп, и тут же что-то врезалось в спину. Он споткнулся, шагнул вперед, запнулся — как оказалось, о чью-то заботливо подставленную ногу — и растянулся на бетоне.

Без сомнений и сожалений грубый сапог пнул его в ляжку, затем — в обтянутый синими джинсами зад. Ли барахтался на полу, пытаясь подняться.

— Не ерзай, Ли, — раздался голос прямо над ним, — у меня в руке монтировка. Лежи, где лежишь, иначе я раскрою тебе череп.

Ли затих, вытянув руки перед собой.

— Выходите, Эллен, — произнес незнакомец, сбивший его с ног. — Шутки кончились. Выходите сейчас же.

Пауза, дрожащий сучкин голос:

— Вы ударили его? Не смейте его бить!

— Ничего ему не сделается, но если не выйдете, мало вашему дружку не покажется.

Пауза.

— И виноваты во всем будете вы, Эллен.

Сигнализация продолжала монотонно гудеть в ночи: бип, бип, бип, бип.

Ли попытался повернуть голову. Черт, как больно! Чем ему врезал этот отморозок? Кажется, он что-то болтал про монтировку. Мысли путались.

Сапог снова прошелся по заднице. Ли взвизгнул и уткнулся физиономией в пол.

— Быстро, леди, не то я проломлю ему башку! Вы не оставляете мне выбора!

Ее дрожащий голос стал ближе, и теперь в нем звенел гнев:

— Зачем вы его бьете? Вы не имеете права!

— Я вызвал полицию с мобильного, — продолжил незнакомец. — Они на сто сороковой миле, значит, у нас минут десять, а может, и того меньше. Мистер Ли-Ли, у кого ключи от машины?

Ли пришлось напрячь мозги.

— У нее, — ответил он наконец. — Она сказала, я слишком набрался, чтобы сесть на руль.

— Ясно. Эллен, выходите, садитесь в «крузизер» и гоните до самого Лейк-сити. И если у вас есть хоть крупица мозгов, вы не остановитесь и не свернете.

— Как это я брошу его, — разъярилась Эллен, — когда у вас в руке эта штука!

— Так и бросите. А станете упрямитесь, ему же хуже.

— Бандит несчастный!

Мужчина рассмеялся, и его смех напугал Ли больше, чем голос.

— Считаю до тридцати. Если не послушаетесь, я снесу ему башку по самые плечи. Неплохой выйдет мяч для гольфа.

— Вы не станете...

— Сделай, как он сказал, Элли, прошу тебя, детка.

— Вы слышали? Ваш славный плюшевый медвежонок хочет, чтобы вы убирались к чертовой матери. Если завтра он решит прикончить вас вместе с ребенком — на здоровье, меня тут не будет. А сейчас лучше не нарывайся, дура! Уноси задницу, пока цела!

Эллен не пришлось просить дважды — этот язык женщина понимала с полуслова. В поле зрения Ли возникли ее сандалии на босу ногу. Незнакомец принялся считать вслух:

— Раз, два, три, четыре...

— А ну шевелись! — гаркнул Ли и ощутил, как грубый сапог пнул его в зад, не сильно, но болезненно. Сигнализация продолжала оглашать окрестности. — Ты слышала? Шевелись!

Сандалии перешли на бег, рядом с женщиной неслась ее тень. Незнакомец дошел до двадцати, когда завелся моторчик «крузизера». На тридцати Ли увидел, как блеснули габаритные огни. Он приготовился к удару, но бандит, напавший на него, медлил.

Когда автомобиль выехал на шоссе, и звук мотора стих, вдали, его мучитель несколько удивленно поинтересовался:

— Ну и что мне с тобой делать?

— Не бейте меня, мистер, — сказал Ли, — пожалуйста, не бейте.

Когда автомобиль скрылся из виду, Хардин перекинул монтировку в другую руку. Ладони вспотели, и он едва не выронил ее. Только этого не хватало! Стоит железке звякнуть о бетон, как Ли окажется на ногах. И пусть он оказался совсем не таким крепышом, какого вообразил себе Дикстра, он все еще опасен.

Как же, опасен, для беременных баб он опасен.

И что с того? Если он позволит Ли-Ли вскочить, придется драться. Хардин чувствовал, что Дикстра пытается вернуться, рвется обсудить этот вопрос, и еще парочку сопровождающих. Хардин задвинул Дикстру подальше. Не время и не место для нравоучений.

— Что мне с тобой делать? — В голосе незнакомца звучала настоящая растерянность.

— Не бейте меня, — сказал человек на полу. Он носил очки — такого от него не ждали ни Хардин, ни Дикстра.

— Не бейте меня, мистер.

— Дошло! — воскликнул Хардин. («Придумал!» — выразился бы Джон Дикстра.) — Сними очки и положи рядом с собой.

— Зачем...

— Заткнись и делай, как велено.

Ли в выцветших «ливайсах» и ковбойской рубашке (сейчас рубашка выбилась из джинсов и топорщилась на заднице) правой рукой начал снимать очки в проволочной оправе.

— Левой.

— Но почему?

— Я сказал, левой!

Ли снял хрупкие очки в изящной оправе и положил перед собой на бетон. Хардин тут же наступил на них каблуком. Раздался треск и хруст стекла.

- Что вы делаете? — взвизгнул Ли.
- А ты как думаешь? Пушка с тобой?
- Нет, господи, откуда!

Хардин поверил сразу. Если у Ли и было оружие, он хранил его в багажнике укатившего «круизера», да и то вряд ли. Стоя за дверью женского туалета, Дикстра воображал здоровяка-работягу, а этот тип больше походил на бухгалтера, три раза в неделю посещающего тренажерный зал.

— Сейчас я вернусь в машину, выключу сигнализацию и уеду, — сказал Хардин.

— Да-да, разумеется, вам давно пора...

Хардин предупреждающе пнул его, и посильнее, чем раньше.

— Это тебе давно пора заткнуться. Лучше скажи, чем ты тут занимался?

— Хотел преподать чертовой суке хоро...

Хардин изо всей силы заехал Ли в бедро, в последнюю секунду — но только в последнюю — смягчив удар. Ли жалобно заверещал. Хардин испытал мгновенный стыд от того, как спокойно и грубо ему врезал. Еще ужаснее было то, что ему хотелось повторить и уже не смягчать удара. Пронзительный визг Ли ласкал слух, и ничто не мешало Хардину снова заставить жертву завопить от боли.

Ну и чем он сейчас отличался от Ли — Грозы Сортиров, который лежал, уткнувшись мордой в пол, а четкая тень от двери перерезала его спину по диагонали? Да ничем. Ну и пусть, гораздо больше его занимало другое. Что, если со всей силы заехать Ли в левое ухо, но так, чтоб не насмерть? Хрясь! Приятный, должно быть, звук. А если старина Ли ненароком откинется, невелика потеря. Кому он нужен? Этой дуре Эллен? Нашел кого жалеть.

— На твоём месте, дружище, я бы заткнул глотку, — сказал Хардин. — Выговоришься, когда копы приедут.

— Почему вы не уходите? Оставьте меня в покое! Сломали очки, этого мало?

— Мало, — честно сознался Хардин, подумал и спросил: — А знаешь что?

Ли не рвался узнать.

— Я медленно пойду к машине, захочешь, догоняй. Выясним отношения лицом к лицу.

— Как же, догоняй! — заныл Ли. — Да я без очков ни хрена не вижу!

Хардин поправил свои на переносице. Странно, ему совершенно расхотелось в туалет.

— Ты только посмотри на себя.

Должно быть, Ли почудилось в его голосе что-то нехорошее — в неверном свете луны Хардин заметил, как он задрожал. Однако Ли благоразумно хранил молчание. Мужчина, стоявший над ним и не дравшийся ни разу в жизни: ни в старших классах, ни даже в младших, понимал, что все кончено. Если у Ли есть пушка, он может выстрелить ему в спину, но он не станет стрелять, потому что его сломали.

О старину Ли вытерли ноги.

И тут Хардина осенило.

— Имей в виду, я записал номер твоего водительского удостоверения, запомнил ваши имена и буду следить за вами по газетам.

В ответ ни звука. Ли лежал на животе, раздавленные стеклышки очков блестели в лунном свете.

— Счастливо оставаться, говнюк, — сказал Хардин, спокойно вернулся на парковку и укатил восвояси. Сияющий, как «ягуар».

Чтобы прийти в себя, ему потребовалось минут десять или пятнадцать. Более чем достаточно, чтобы пошарить по радиоволнам и, плюнув, включить диск Люсинды Уильямс. Затем желудок, наполненный цыпленком с картошкой из «Золотой кружки», внезапно подкатил к горлу.

Он съехал на аварийную полосу, переключил передачу, попытался встать и понял, что не успеет. Тогда он просто по-

вис на ремне безопасности и сблевал на тротуар. Его трясло, зубы выбивали дробь.

Впереди сверкнули фары, автомобиль сбросил скорость. Неужели копы? Ничего не скажешь, вовремя, могли бы не спешить. Внезапно пришла холодная уверенность: это старый знакомец «круизер»: Эллен за рулем, Ли сжимает в руках монтировку.

Но это оказался древний «додж», набитый ребятней. Рыжий малолетка с угревой сыпью на туповатой физиономии высунулся в окошко и проорал:

— Эй, на ботинки-то попа-а-ал?

Грянул дружный хохот, и автомобиль промчался мимо.

Дикстра прикрыл дверцу, запрокинул голову, опустил веки и дождался, пока дрожь ушла. Наконец трясоти перестало, желудок опустился на место. Внезапно он понял, что снова хочет отлить. Хороший знак.

Еще недавно он рассуждал, с какой силой и звуком задвинет Ли в ухо. Теперь от одних воспоминаний к горлу подкатывал ком.

Лучше направить мысли, его послушные (как правило) мысли к дежурному офицеру, прозябающему в ракетном бункере где-нибудь в Вороньей пустоши, Северная Дакота, или Медвеьем углу, Монтана, и тихо сходящему с ума. Безумцу, который видит террористов за каждым кустом, тщательно запирает свои косноязычные воззвания и проводит ночи перед монитором, шаря по темным углам Интернета.

А тем временем Пес на пути в Калифорнию... у него там дельце... не захотел лететь самолетом, потому что в багажнике «роуд-раннера» пара навороченных стволов... неожиданно автомобиль попадает в аварию...

Неплохо, совсем неплохо. Еще немного доработать, и будет совсем хорошо. Неужели когда-то он думал, что Псу не найдется места на этих бескрайних просторах? Какая недалекость! Когда хорошенько прижмет, каждый способен показать, чего он стоит.

Дрожь ушла. Дикстра набрал скорость. В Лейк-сити нашлась круглосуточная заправка с туалетом, и он наконец-то опорожнил мочевой пузырь и наполнил бензобак, не забыв тщательно изучить все четыре колонки, высматривая «крузер». На пути домой он думал, как Рик Хардин, но в свой дом у канала вошел Джоном Дикстрой. Уходя, Дикстра всегда ставил дом на сигнализацию — с такими вещами не шутят. Перед тем как войти, он вырубил ее, затем снова включил на ночь.

Велотренажер

I. Работники метаболизма

Через неделю после профилактического обследования, с которым он тянул год (три, поправила бы жена, будь она жива), Ричарду Зифкицу позвонил доктор Брейди и сказал, что надо обсудить результаты. Пациент не услышал в голосе врача ничего явно зловещего, поэтому в клинику поехал без особого внутреннего сопротивления.

Все анализы на листе с шапкой: «КЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕН, НЬЮ-ЙОРК» были напечатаны черным, за исключением одной строчки, красной, и Зифкиц не очень удивился, увидев в ней слово «Холестерин». Строчка сразу притягивала взгляд (явно намеренно). Она заканчивалась числом 226*.

Зифкиц почти открыл рот, чтобы спросить, плохой ли это показатель, потом задумался, хочет ли в самом начале разговора сморозить глупость. Хороший результат, рассудил он,

Stationary Bike

© Перевод. Е. Доброхотова, 2010

* 5,8 ммоль/л.

красным не выделяют. Остальные показатели явно хорошие или по крайней мере приемлемые, поэтому напечатаны черным. Его пригласили сюда обсуждать не их. Доктора — люди занятые и не тратят время на то, чтобы гладить пациентов по головке. Поэтому он не стал задавать глупых вопросов, а спросил, очень ли плохое число двести двадцать шесть.

Доктор Брейди откинулся в кресле и сцепил пальцы на худосочной груди.

— Сказать по правде, — произнес он, — показатель совсем не плохой. — Затем поднял палец. — Учитывая, что вы едите, я имею в виду.

— Я знаю, что слишком много вешу, — смиренно проговорил Зифкиц. — Я давно планирую заняться этим вопросом.

Вообще-то ничем таким он заниматься не планировал.

— Если совсем по правде, — продолжал доктор Брейди, — ваш вес тоже не так уж плох. Опять-таки учитывая, что вы едите. А теперь я попрошу вас слушать очень внимательно, потому что такую беседу я провожу с пациентами один раз. Я имею в виду, с пациентами-мужчинами. Пациентки, дай им волю, своим весом все бы уши мне прожужжали. Вы готовы?

— Да. — Зифкиц тоже хотел сплести пальцы на груди и понял, что не может. Он обнаружил — вернее, вспомнил, — что у него довольно отчетливо выраженный бюст. Не то, что принято считать стандартным атрибутом сорокалетнего мужчины. Почти сорокалетнего. Поэтому он бросил попытки сцепить пальцы, а просто сложил руки. На коленях. Чем быстрее лекция начнется, тем быстрее она кончится.

— Вам тридцать восемь лет. Ваш рост — шесть футов*, — сказал доктор Брейди. — Вы должны весить около ста девяноста**, и примерно таким же*** должен быть ваш холестерин. Когда-то, в семидесятых, нормой считался холестерин до двухсот сорока****, но то семидесятые, когда в приемных

* 180—185 см.

** Примерно 85 кг.

*** Примерно 5 ммоль/л.

**** Примерно 6 ммоль/л.

больниц еще разрешали курить. — Он покачал головой. — Нет, связь между уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказалась слишком явной. Число двести сорок вычеркнули.

Вам повезло. У вас хороший метаболизм. Не превосходный, но хороший, понимаете? Да. Как часто вы едите в «Макдоналдсе» или «Вендиз», Ричард? Два раза в неделю?

— Скорее один, — сказал Зифкиц.

Он подумал, что за неделю обедает в фастфудах от четырех до шести раз, не считая воскресных походов в пиццерию.

Доктор Брейди поднял руку, словно говоря: «Вам решать», и Зифкицу подумалось, что это похоже на девиз «Бургер-Кинг».

— Где-то вы точно едите, как говорят нам весы. В день обследования вы весили двести двадцать три*... и опять-таки не случайно почти такой же у вас холестерин.

Он чуть заметно улыбнулся, увидев, как поморщился Зифкиц, но по крайней мере улыбка была не лишена сочувствия.

— Вот что пока происходило в вашей взрослой жизни, — сказал Брейди. — Вы продолжали есть, как подросток, и ваше тело — благодаря хорошему, пусть и не превосходному метаболизму — более или менее с этим справлялось. Будет проще, если представить метаболический процесс как команду рабочих — дядек в хэбэшных штанах и докмартенсах.

Вам, может, и проще, с тоской подумал Зифкиц, невольно косясь на красное число двести двадцать шесть, а мне — нет.

— Их дело — разбирать то, что вы бросаете в себя. Часть они отправляют в разные производственные цеха. Остальное сжигают. Если вы задаете им больше работы, чем они в силах сделать, вы полнеете. Что и происходит, но относительно медленно. Пока. Однако очень скоро, если вы не измените привычки, вес будет расти быстрее. Причин две. Первая: вашим производственным мощностям уже не надо столько горючего. Вторая: ваша метаболическая команда — работяги с та-

* Примерно 100 кг.

туировками на плечах — не молодеет. Они теперь не такие шустрые, не так быстро сортируют, что пустить в дело, а что сжечь. А иногда они на все забивают.

— Забивают? — переспросил Зифкиц.

Доктор Брейди, не расцепляя пальцев перед узкой грудью (как у чахоточного, подумал Зифкиц — и уж точно без намека на бюст), кивнул такой же узкой головой. Зифкиц подумал, что она у него, как у ласки, такая же прилизанная, с острыми глазами.

— Да. Они говорят: «Сколько можно?» и «Он что думает, мы — Фантастическая Четверка?» и «Даст он нам когда-нибудь отдохнуть или нет?» А потом один, любитель посачковать — в любой команде такой есть, — говорит: «Да плевал он на нас с высокой колокольни. Начальничек хренов».

Рано или поздно, как всякие работяги, которым придется слишком долго вкалывать без выходных, не говоря уж об отпуске, они начинают филонить или тянуть резину. Как-нибудь один из них не выйдет совсем. А потом — если вы проживете достаточно долго — один из них не выйдет, потому что ночью его хватил инсульт или инфаркт.

— Очень мило. Вам надо с лекциями выступать. Может, даже завести свое телешоу, как у Опри Уинфри.

Доктор Брейди расцепил пальцы, подался вперед и без улыбки посмотрел на Ричарда Зифкица.

— У вас есть выбор, и моя обязанность — вам об этом сказать. Вот и все. Либо вы измените свои привычки, либо через десять лет вы будете сидеть у меня в кабинете с куда более серьезными проблемами: вес под триста фунтов, возможно, диабет второго типа, варикоз, язва желудка и холестерин под стать весу. Сейчас, чтобы остановиться, вам еще не нужны краш-диеты, абдоминальная хирургия или сердечный приступ. Позже будет труднее. После сорока — труднее с каждым годом. После сорока, Ричард, жир уже с вами навсегда, как детская неожиданность на обоях спальни.

— Изящно. — Ричард Зифкиц невольно хохотнул.

Брейди не рассмеялся, но хотя бы изобразил улыбку и откинулся в кресле.

— Нет ничего изящного в том, к чему вы идете. Врачи говорят об этом не чаще, чем спасатели — об оторванной голове в канаве после автомобильной аварии или о почерневшем детском трупе в доме, где загорелась новогодняя елка, но мы много что могли бы рассказать про дивный мир ожирения. Про женщин, у которых в складках жира заводится плесень, потому что они годами не промывают их на всю глубину. Про мужчин, от которых разит за милю, потому что они десять с лишним лет не могут как следует подтереться.

Зифкиц поморщился и замахал рукой.

— Я не говорю, что такое произойдет с вами, Ричард, — с большинством людей не происходит. У них, похоже, есть встроенный ограничитель. Однако есть правда в старой сказке, что такой-то роет себе могилу ножом и вилкой. Учитите.

— Учту.

— Хорошо. Вот речь. Или проповедь. Или что хотите. Я не буду говорить: «Иди и больше не греши». Я скажу: «Дело ваше».

Хотя Ричард Зифкиц последние двенадцать лет в графе «Род занятий» налоговой декларации писал «Свободный художник», он не считал себя человеком с особенно богатым воображением и не рисовал для души с тех пор, как окончил университет. Он делал книжные обложки, иногда киноплакаты, много журнальных иллюстраций, изредка — выставочные проспекты. Один раз оформил компакт-диск (для «Слоббербон», группы, которую особенно любил), но зарекся брать такие заказы впредь, потому что детали отпечатанного варианта можно было разглядеть только в лупу. Это был единственный случай, когда он проявил хоть что-то похожее на артистический темперамент.

На вопрос, какую из своих работ он любит больше всего, Зифкиц бы только заморгал. Прояви собеседник настойчивость, он мог бы назвать белокурую девушку, бегущую по тра-

ве, которая теперь украшала кондиционер для белья «Нежность». Но не искренне, а просто чтоб отвязались. Зифкиц был не из тех художников, которые что-то выделяют в своем творчестве. Уже давно он брался за кисть, только получив заказ, и работал либо по письму из рекламного агентства, где все расписано в подробностях, либо по фотографии (как с той девушкой, которая бежала по траве, счастливая, что юбка больше не липнет к ногам).

Однако как вдохновение посещает лучших из нас — Пикассо, Ван Гогов, Сальвадор Дали, — так же оно иногда посещает и остальных, пусть раз или два за жизнь. Зифкиц поехал из клиники на автобусе (машины у него не было с колледжа) и, глядя в окно (медицинский отчет с одной красной строкой лежал, сложенный, в заднем кармане брюк), то и дело останавливался взглядом на рабочих: строителях с досками на плече, коммунальщиках в люках за желтой лентой с надписью «Ремонтные работы», трех парнях, возводивших леса перед витриной универмага, пока четвертый говорил по сотовому.

Постепенно стало ясно, что в голове складывается картина, требующая себе места в мире. Вернувшись на свой манхэттенский чердак, превращенный в квартиру-мастерскую, Зифкиц прошел в неприбранный закуток под мансардным окном мимо лежащей на полу почты. И не только не нагнулся, но даже бросил на нее плащ.

Он задержался перед готовыми подрамниками в углу, потом взял вместо холста кусок белого картона и принялся работать угольным карандашом. В следующий час дважды звонил телефон. Оба раза Зифкиц не брал трубку — пусть, если надо, говорят на автоответчик.

Он работал над картиной следующие десять дней — не все время, но большую его часть, особенно после того, как понял, что получается и впрямь здорово. Сперва на картоне, потом, когда почувствовал, что пора перенести ее в масло — на холсте четыре на три фута. Он не писал таких больших полотен последние десять лет.

На картине четверо рабочих в джинсах, ветровках и старых ботинках стояли на обочине дороги, только что вынырнувшей из леса (его Зифкиц изобразил размашистыми темно-зелеными и серыми мазками). Двое были с лопатами, один держал в руке ведро. Четвертый отодвигал со лба кепку жестом, в котором явственно читались усталость и растущее осознание, что работа никогда не закончится: в конце дня ее больше, чем было в начале. Этот четвертый, в старой кепке с надписью «ЛИПИД» над козырьком, был бригадир. Он говорил по сотовому с женой. Скоро буду, зайка, нет, сегодня не пойдем, слишком устал, хочу завтра начать пораньше. Ребята возбуждены, но я их приструнил. Зифкиц не представлял, откуда он это знает. Просто знает, и все. Как и то, что рабочего с ведром зовут Фредди, и ему принадлежит пикап, в котором они приехали. Машины на картине не было — она стояла правее, виден был только кусок ее тени. Один из парней с лопатами, Карлос, мучился болями в спине и посещал мануальщика.

Фронта работ на картине не было — он располагался чуть левее, но видно было, как ребята умаялись. Зифкиц всегда тщательно прописывал детали (серо-зеленое пятно леса выбивалось из его обычной манеры). Усталость была в каждой черточке их лиц. Даже в пропотевших воротниках.

Небо над ними было странным органически-красным.

Конечно, он знал, что означает картина и почему небо такого цвета. Это были работяги, о которых говорил доктор. В конце трудового дня. В настоящем мире за органически-красным небом, их хозяин, Ричард Зифкиц, только что последний раз перекусил (завалившимся в холодильнике куском торта или заранее припасенным пончиком «Криспи-Крим») и лег головой на подушку. Значит, они могут, наконец, расходиться по домам. Будут ли они есть? Да, но меньше, чем он. Они слишком устали для плотного ужина, это видно по их лицам. Ребята из «Липидной компании» завалятся на диван и будут смотреть телик. Может быть, заснут перед экраном и проснутся часа через два, когда все нормальные шоу закончатся, и

Рон Попейл будет демонстрировать восхищенной студийной аудитории свои чудо-овощерезки и универсальные крышки для банок. Тогда они пультом выключат телевизор и побредут в спальню, на ходу сбрасывая одежду куда попало.

Все это было на картине, хотя ничего этого не было на картине. Нельзя сказать, что Зифкиц только о ней и думал с утра до вечера, но он понимал — в его жизни появилось что-то новое, хорошее. Он представления не имел, что делать с картиной, когда допишет, да и не особо задумывался. Пока ему просто нравилось вставать по утрам и щуриться на нее одним глазом, вытаскивая из задницы застрявшие боксерские трусы «Биг-Дог». Потом надо будет придумать название. Он перебрал и отбросил несколько вариантов: «По домам», «Ребята сказали: «Кончай работу» и «Берковиц сказал: «Шабаш». Берковиц был главный, бригадир, тот, что с «Моторолой», в кепке с надписью «ЛИПИД».

Ни одно из названий не казалось вполне правильным, но Зифкиц не огорчился. Он знал, что не пропустит правильное — когда оно придумается, в голове раздастся щелчок. А пока Зифкиц никуда не спешил. Он даже не был уверен, что картина — главное. Работая над ней, он сбросил пятнадцать фунтов. Может, это и есть главное.

А может, и нет.

II. Велотренажер

Где-то (может быть, на ярлычке от чайных пакетиков «Салада») Зифкиц прочел, что лучший способ похудеть — отжиматься от стола. Он не сомневался, что это правда, но чем дальше, тем больше приходил к выводу, что похудание — не цель. Как и занятия спортом — не цель, хотя и от того, и от другого могут быть побочные эффекты. Он постоянно думал о метаболических работах доктора Брейди — простых ребятах, которые вкалывают изо всех сил и не получают от него

никакой помощи. Да и как было не думать, если он каждый день по часу, а то и по два писал самих рабочих и обстановку, в которой они трудятся.

Зифкиц много чего про них придумал. Вот Берковиц, бригадир, он мечтает когда-нибудь организовать собственную строительную компанию. Фредди, владелец грузовичка (пикапа «додж-рам»), воображающий себя столяром-умельцем. Карлос, который с больной спиной. И Уэлан, любитель посадковать. Их дело — следить, чтобы Зифкица не хватил инфаркт или инсульт. Разгрести то дерьмо, что сыплется с красного неба, чтобы дорога в лес не сделалась непроезжей.

Через неделю после начала работы над картиной (и за неделю до того, как он наконец признал ее законченной), Зифкиц отправился в «Фитнес бойз» на Тридцать девятой улице. Посмотрев беговую дорожку и степпер (симпатичный, но слишком дорогой), он купил велотренажер, заплатив лишние сорок фунтов за доставку и сборку.

— Занимайтесь каждый день в течение шести месяцев, и ваш холестерин упадет на тридцать единиц, — сказал продавец, мускулистый парень в футболке с надписью «Фитнес бойз». — Я практически гарантирую.

Подвал дома, в котором жил Зифкиц, был темный, мрачный, с множеством дверей и постоянно гудел от отопительного котла. В кладовках с номерами квартир хранились вещи жильцов, однако тупичок в самом конце, как по волшебству, оставался пустым. Словно нарочно его ждал. Зифкиц велел грузчикам поставить тренажер на цементный пол перед гладкой бежевой стеной.

— Перетащите сюда телевизор? — спросил один.

— Пока не знаю, — соврал Зифкиц.

Он крутил педали перед голой бежевой стеной по пятнадцать минут каждый день, пока не закончил картину наверху, понимая, что пятнадцать минут — мало (хоть и лучше, чем ничего), но понимая и другое: сейчас ему больше не выдержать. Не потому, что устал — пятнадцать минут не могли его вымотать. Просто в подвале было невыносимо

скучно. Визг колес и гул отопительного котла действовали на нервы. К тому же Зифкиц отлично понимал, что делает: едет на месте в подвале под двумя голыми лампочками, отбрасывающими две его тени на стену впереди. Понимал он и другое: положение выправится, как только он закончит картину наверху и возьмется за другую внизу.

Картина была та же, но написал он ее куда быстрее. Главным образом потому, что на ней не нужны были Берковиц, Карлос, Фредди и раздолбай Уэлан. Они разошлись по домам, и Зифкиц просто написал на бежевой стене проселочную дорогу в усиленной перспективе, чтобы, когда он садился на тренажер, она как будто убегала от него в зелено-серое пятно леса.

Крутить педали сразу стало не так тоскливо, но через два или три сеанса Зифкиц понял: этого мало. То, чем он занят, по-прежнему всего лишь упражнение. Во-первых, следовало дорисовать красное небо, но тут большого труда не требовалось. Во-вторых, он хотел детальней проработать обочины и добавить мусора, что тоже было легко (и приятно). Главная загвоздка не имела отношения к картине. Его всегда угнетали упражнения ради упражнений. Да, они улучшают самочувствие, но по сути бессмысленны. Экзистенциально бессмысленны. Нужна близкая цель: например, чтобы симпатичная сотрудница художественной редакции подошла на вечеринке и спросила: «Вы что, похудели?» Однако на серьезную мотивацию это не тянуло. Зифкицу не хватало тщеславия (или тяги к женщинам), чтобы долго продержаться на таких мыслях. Со временем ему надоеет и он снова начнет жрать пончики. Нет, надо решить, где дорога и куда ведет. Тогда можно будет играть, будто он туда едет. Идея Зифкицу понравилась. Да, она отдавала чудачеством, может быть, даже придурью, но азарт был настоящий. И вообще, он ведь не обязан никому про нее рассказывать? Конечно, не обязан. Он даже может купить дорожный атлас «Рэнда-Макнелли» и отмечать проделанный путь.

Зифкиц не был склонен к самокопанию, но, возвращаясь из книжного с новым дорожным атласом под мышкой, задумался, что же его так завело. Немного повышенный холестерин? Вряд ли. Мрачные предсказания доктора Брейди, что после сорока бороться будет труднее? Возможно, отчасти да, но главная причина явно в другом. Может быть, он просто готов к переменам? Это уже больше походило на правду.

Труди умерла четыре года назад от особо жестокого рака крови, и Зифкиц был с нею в палате, когда это произошло. Он помнил, каким глубоким был ее последний вздох, как высоко поднялась измученная, истощенная грудь. Как будто Труди знала, что следующего не будет. Он помнил, как она выдохнула, помнил самый звук: ша-а-а-а-а! И как потом ее грудь больше не поднималась. Последние четыре года он примерно так и жил — в неподвижном воздухе. И только теперь ветер задул снова, наполняя его парус.

Однако было и что-то другое, даже более важное: рабочие, которых доктор Брейди вызвал к жизни, а сам Зифкиц наделил именами. Берковиц, Уэлан, Карлос и Фредди. Доктор Брейди о них не думал. Для Брейди метаболическая команда была всего лишь метафорой, способом заставить Зифкица всерьез отнестись к тому, что происходит в его организме. Так мать говорит малышу, что «маленькие человечки» лечат его разбитую коленку.

Зифкиц же заиклился...

Нет, не на себе, думал он, доставая ключ, чтобы отпереть парадное. Я просто думаю об этих ребятах, разгребающих мусор без отдыха и срока. И о дороге. Почему они должны столько работать, чтобы она оставалась проезжей? Куда она ведет?

Зифкиц решил, что она ведет в Херкимер, городишко на канадской границе. Он нашел в атласе тоненькую голубую линию, которая тянулась туда через всю северную часть штата Нью-Йорк, от Покипси, городка, расположенного к югу от Олбани. Две, может быть, три сотни миль. Зифкиц развернул более подробную карту штата и нашел квадрат, где эта

дорога начиналась рядом с его торопливой... торопливой... как бы ее назвать? Слово «фреска» не годилось, и Зифкиц остановился на «проекции».

В тот день, забравшись на тренажер, Зикфиц вообразил, что за спиной у него не старый телевизор из квартиры 2-Г, чемоданы из 3-Ф или замотанный велосипед из 4-А, а Покипси. Впереди вился проселок — голубая ниточка для Рэнда-Макнелли, но Старая Райнбекская дорога на более крупномасштабной карте. Зифкиц обнулil одометр, уперся взглядом в землю, начинавшуюся там, где сходились стена и бетонный пол, и подумал: на самом деле это дорога к здоровью. Хорошая идея. Если держать ее в голове, туда не полезут мысли, что, быть может, у тебя после смерти Труды слегка поехала крыша.

Однако сердце стучало чуть быстрее (как будто он уже начал крутить педали), и Зифкиц чувствовал себя так, как, по его представлению, должен чувствовать себя человек в начале долгого путешествия, обещающего новые знакомства и даже новые приключения. Над рудиментарной панелью управления имелась подставка для банок, и Зифкиц поставил в нее «Ред-Булл» — энергетический напиток, если верить производителям. Кроме спортивных шортов он надел старую оксфордскую рубашку, потому что в ней был карман, и положил туда два овсяных печенья. Считается, что изюм и овсяные хлопья способствуют выведению холестерина.

И кстати, ребята из «Липидной компании» ушли сегодня пораньше. Да, они по-прежнему вкалывают на картине наверху — дурацкой, непродажной, так на него не похожей, — но здесь они залезли к Фредди в «додж» и укатили назад в... в...

— В Покипси, — сказал он. — Слушают по радиоприемнику рок и пьют пиво из бумажных пакетов. Сегодня они... Что вы сегодня делали, ребята?

Прорыли пару канав, шепнул голос. Паводок чуть не размыл дорогу у Прайсвилла. Закончили сегодня рано.

Вот и отлично. Не придется слезать с велика и обходить промоины.

Ричард Зифкиц устремил взгляд в стену и начал крутить педали.

III. На дороге в Херкимер

Стояла осень 2002-го, с того дня как упали башни-близнецы, прошел год, и жизнь Нью-Йорка возвращалась к слегка сумасшедшей версии нормальности... только для Нью-Йорка легкое сумасшествие и есть норма.

Ричард Зифкиц никогда не чувствовал себя таким счастливым и здоровым. Его жизнь превратилась в четырехчастную гармонию. По утрам он работал над заказами, которые его кормили. Их в последнее время стало больше обычного. Газеты говорили, что экономика в упадке, но для Ричарда Зифкица, свободного коммерческого художника, экономика была превосходная.

Он по-прежнему ел у Дугана в соседнем квартале, но теперь обычно брал салат вместо жирного двойного чизбургера, а после ленча работал над новой картиной для себя: сперва над более подробной версией изображения на подвальной стене. Холст с Берковицем и командой стоял в сторонке, прикрытый старой простыней. Он остался в прошлом. Теперь Зифкиц хотел более детально написать дорогу в Херкимер после того, как ушли рабочие. А чего бы им не уйти? Разве он не поддерживает ее сам? Поддерживает, да еще как. В конце октября он снова посетил Брейди и сдал кровь на холестерин. На сей раз число было не красным, а черным: 179*. Брейди поглядел на Зифкица с большим уважением. Даже с завистью.

— Лучше, чем у меня, — сказал он. — Вижу, вы прислушались к моим словам.

* 4,6 ммоль/л

Зифкиц кивнул.

— И живот ваш почти втянулся. Спортом занимаетесь?

— Стараюсь, — отвечал Зифкиц, но в подробности входить не стал.

К тому времени его занятия на велотренажере приобрели довольно странный характер. Во всяком случае, многие бы сочли их странными.

— Что ж, — сказал Брейди. — Мой вам совет: есть чем похвастать — хвастайтесь!

Зифкиц улыбнулся, но совету не внял.

Вечерами, составлявшими третью часть Обычного Дня Зифкица, он смотрел телевизор или читал, обычно прихлебывая томатный сок или «V8» вместо пива и чувствуя приятную усталость. Ложился он теперь на час раньше, и дополнительный сон явно шел ему на пользу.

Главной частью дня была третья, с четырех до шести. В эти два часа он ехал по голубой ниточке из Покипси в Херкимер. На подробных картах названия менялись: Старая Райнбекская дорога стала Каскадной, затем Лесной, а на каком-то отрезке к северу от Пеннистона даже Мусорной. Зифкиц помнил, как вначале каждые пятнадцать минут на велотренажере казались вечностью. Теперь ему иногда требовалось усилие, чтобы остановиться через два часа. Он стал ставить будильник на шесть. Агрессивный трезвон был как раз достаточно силен, чтобы...

...чтобы его разбудить.

Зифкиц с трудом верил, что засыпает в подвальном тупичке, крутя педали с постоянной скоростью пятнадцать миль в час, но не хотел принимать другое объяснение: что слегка чокнулся на дороге в Херкимер. Или в манхэттенском подвале, если вам так больше нравится. Что у него галлюцинации.

Как-то вечером, щелкая пультом, он наткнулся на передачу про гипноз. Гость в студии, гипнотизер, представившийся Джо Сатурном, говорил, что все постоянно занимаются само-

гипнозом. С его помощью мы входим в рабочее настроение по утрам, переживаем происходящее в книге или в кино, засыпаем. Последний пример особенно нравился Джо Сатурну: тот долго говорил о ритуалах, к которым прибегают «успешные засыпальщики»: кто-то проверяет запоры на окнах и дверях, кто-то выпивает стакан воды, кто-то читает короткую молитву или погружается в медитацию. Сатурн сравнивал эти приемы с пассами и «заклинаниями» гипнотизера: счетом от десяти до нуля или словами про то, что ваши глаза закрываются. Зифкиц с благодарностью уцепился за рассказ Сатурна и тут же решил, что проводит свои два часа на велотренажере в состоянии легкого или среднего гипноза.

Поскольку к третьей неделе перед стенной проекцией он проводил эти часы уже не в подвале. Он проводил их на дороге в Херкимер.

Зифкиц весело мчал по грунтовой дороге через пахнущий хвоей лес, слышал крики ворон и хруст палых листьев под колесом. Велотренажер превратился в трехскоростной «Релей», на котором двенадцатилетний Ричард гонял по пригороду Манчестера в Нью-Гемпшире. Далеко не единственный его велосипед (Зифкиц сменил их штуки три, пока в семнадцать не получил права), но безусловно лучший. Пластиковая подставка стала самодельным (не слишком аккуратным, зато удобным) металлическим кольцом на корзине перед рулем, и вместо «Ред-Булл» в нем стояла банка «Липтон-Айс-Ти». Без сахара.

На дороге в Херкимер всегда был конец октября и всегда примерно час до заката. Хотя Зифкиц ехал два часа (что всякий раз подтверждали будильник и одометр велотренажера), солнце никогда не меняло положения; оно всегда отбрасывало на грунтовую дорогу такие же длинные тени и проглядывало из-за деревьев под одним и тем же углом, пока Зифкиц катил вперед, а встречный поток воздуха отдувал волосы с его лба.

Иногда, если его дорога пересекала другие, на деревьях попадались указатели. «Каскейд-роуд», стояло на одном.

«Херкимер, 120» на другой. Вторая табличка была со старыми дырками от пуль. Указатели всегда соответствовали тому, что утверждала подробная карта, прибитая к подвальной стене. Зифкиц уже решил, что, доехав до Херкимера, рванет в Канаду, даже не остановившись купить сувениры. В Херкимере дорога кончалась, но он купил книгу под названием «Дорожные карты Восточной Канады». Можно просто нарисовать свою дорогу тонким синим карандашом, сделав ее извивистой. Извивы добавляют миль.

Можно будет до Полярного круга доехать, если захочется.

Как-то вечером, после того как будильник вывел его из транса, Зифкиц подошел к проекции и долго, оценивающе разглядывал ее, склонив голову набок. Любой другой на его месте мало бы что увидел: так близко усиленная перспектива переставала работать, и для нетренированного глаза лесная сцена превращалась в цветные пятна: светло-бурые на дороге, темно-бурые там, где на нее намело палой листвы, сине- и серо-зеленые мазки елей, желтовато-белесый кружок солнца далеко слева, в опасной близости от двери котельной. Однако Зифкиц по-прежнему видел картину правильно. Она твердо отпечаталась в памяти и никогда не менялась. Если он не сидел на велотренажере, конечно, но и тогда он подспудно чувствовал ее фундаментальное постоянство. И это успокаивало. Постоянство было своего рода гарантией, что все происходящее — не более чем сложная игра ума, нечто, подключенное к его подсознанию, и он может отключить это, как только захочет.

Зифкиц еще раньше принес вниз краски, чтобы иногда дописывать мелкие штрихи, и сейчас, не особо задумываясь, добавил к дороге несколько бурых пятен, подмешав черного, чтобы получилось темнее палой листвы. Он отступил от стены, посмотрел на проекцию и кивнул. Дополнение было маленькое, но по-своему совершенное.

На следующий день он катил на трехскоростном «Релее» через лес (до Херкимера оставалось всего шестьдесят миль, до канадской границы — восемьдесят) и за очередным пово-

ртом увидел оленя. Олень стоял и смотрел на него черными бархатистыми глазами, потом взмахнул белым хвостиком, вывалил на дорогу кучку помета и убежал в лес. Зифкиц заметил еще один взмах белого хвостика, затем олень исчез. Зифкиц поехал дальше, обогнув помет, чтобы не набился в протекторы.

В шесть он отключил будильник, подошел к картине, на ходу утирая пот вытащенной из заднего кармана джинсов банданой, и, уперев руки в боки, долго критически разглядывал проекцию. Затем, с обычной уверенной сноровкой — как-никак, почти двадцать лет за мольбертом — записал помет, превратив его в кучку ржавых пивных банок, брошенных каким-нибудь охотником на индеек или фазанов.

— А ты их пропустил, Берковиц, — сказал Зифкиц в тот вечер, прихлебывая пиво вместо овощного сока «V8». — Я завтра уберу, но чтоб такое было в последний раз.

Однако когда он на следующий вечер спустился в подвал, банки записывать не пришлось: они уже исчезли. В первый миг от страха засосало под ложечкой — он что, сам спустился сюда во сне, как лунатик, с верной баночкой растворителя и кистью? Но через минуту Зифкиц стряхнул неприятное чувство, влез на велотренажер и скоро уже катил на «Релее», вдыхая свежие запахи леса и радуясь тому, как ветер отдувает со лба волосы. Однако не тогда ли все начало меняться? В тот день, когда Зифкиц понял, что на дороге в Херкимер есть кто-то еще. Одно было несомненно: в ночь после исчезновения пивных банок он увидел по-настоящему страшный сон, а на следующее утро нарисовал гараж Карлоса.

IV. Человек с обрезом

Это был самый яркий его сон с четырнадцати лет, когда три или четыре ночные поллюции ознаменовали переход во взрослость. И самый страшный — то есть абсолютно вне кон-

курении. Сильнее всего пугало ощущение неотвратимости, красной нитью проходящее через сон. Зифкиц все время понимал, что спит, но поделать ничего не мог, как будто его спеленали какой-то жуткой кисеей. Он знал, что кровать рядом и что он на ней, но не мог пробиться к Ричарду Зифкицу, мечущемуся на простыне в пропотевших спальных трусах «Биг-Дог».

Перед ним возникли подушка и бежевый телефон с треснутым корпусом. Потом коридор с фотографиями — он знал, что это его жена и три дочери. Потом кухня. На микроволновке мигало 4:16. Миска с бананами (они внушили ему ужас и скорбь) на кухонном столе. Крытый переход. Пес Пепе лежал, уткнув морду в лапы, и не поднял голову, а только закатил глаза, чтобы посмотреть на него, показав страшное, налитое кровью веко и полумесяц белка. И тогда Зифкиц заплакал во сне, понимая, что все кончено.

Теперь он был в гараже. Пахло смазочным маслом и сеном. Газонокосилка стояла в углу будто пригородный божок. Зифкиц видел тиски, прикрученные к старому, потемневшему верстаку с прилипшей к нему стружкой. Рядом стеллаж. На полу — ролики его дочерей, шнурки — белоснежные, как ванильное мороженое. По стенам аккуратно развешан инвентарь, все больше для работы в палисаднике. Палисадником занимается...

(Карлос. Я Карлос.)

На верхней полке, куда девочкам не дотянуться, хранился дробовик калибра .410, который он не доставал сто лет, и коробка патронов, такая темная, что слово «Винчестер» едва читалось, но все же оно читалось, и Зифкиц понял, что попал в мозг самоубийцы. Он изо всех сил старался остановить Карлоса или хотя бы проснуться, и не мог ни того ни другого, хотя чувствовал: кровать совсем близко, сразу за кисеей, опутавшей его с ног до головы.

Теперь ружье было зажато в тиски, рядом стояли патроны. Он ножовкой отпиливал ствол, потому что так легче осуществить задуманное, а когда открыл коробку с патронами,

их оказалось две дюжины — две дюжины толстых зеленых гильз с медными капсюлями, — и когда Карлос переломил ружье, оно шелкнуло не «клик»! а КЛАЦ! и во рту стало масляно и пыльно, масляно на языке, пыльно — на зубах и за щеками, а спина болела, она болела, как сука, это слово они писали на стенах брошенных, и не только брошенных, зданий, когда мальчишками бегали по улицам Покипси, СУКА, и вот так болела его спина, но теперь все, что он откладывал из премиальных, потрачено, Джимми Берковиц не может больше платить премиальных, и у Карлоса Мартинеса нет денег на лекарства, которые немного снимают боль, и на мануальщика, и на выплаты по ипотеке — каррамба, как говорили они в шутку, но сейчас он не шутит, плакал их дом, хотя до финиша осталось меньше пяти лет, си, сеньор, а все из-за этого козла Зифкица, из-за его поганого хобби, и крючок под пальцем был как полумесяц, как жуткий полумесяц внимательного собачьего глаза.

Вот тут-то Зифкиц и проснулся, дрожа и плача, ноги по-прежнему на кровати, голова свесилась, волосы почти касаются пола. Он на четвереньках выполз из спальни и так же двинулся через главную комнату к мольберту под мансардным окном. Где-то на середине Зифкиц обнаружил, что может идти.

На мольберте по-прежнему стояла картина с пустой дорогой, лучшая и более полная версия проекции на подвальной стене. Зифкиц не глядя отбросил ее в сторону и поставил на мольберт кусок картона два на два фута. Потом схватил первый попавшийся инструмент (это оказался роллер «Юниболл-Вижн-Элит») и принялся рисовать. Шли часы. В какой-то момент (он помнил это смутно) ему понадобилось отлить, и горячая струйка побежала по ноге. Слезы катились градом, пока он не закончил рисунок. Только тогда Зифкиц перестал плакать и отступил посмотреть, что получилось.

Это был гараж Карлоса ранним октябрьским вечером. Пес, Пепе, стоял, наострив уши. Его привлек звук выстрела. Карлоса на картине не было, но Зифкиц точно знал, где

теле: левее, рядом с верстаком, к которому привинчены тиски. Если жена дома, она услышала выстрел. Если она ушла в магазин, или скорее на работу, тело найдут не раньше, чем через час-два.

Под рисунком стояли слова: «ЧЕЛОВЕК С ОБРЕЗОМ». Зифкиц не помнил, когда это сделал, но узнал свой почерк и одобрил название. Правильное название, хотя на картине не было ни человека, ни обреза.

Он вернулся в спальню, сел на кровать и обхватил голову. Правая рука сильно болела от того, что слишком долго сжимала непривычный, тонкий инструмент. Зифкиц убеждал себя, что просто видел кошмарный сон, из которого родилась картина. Что ни Карлоса, ни «Липидной компании» нет. Они возникли в его воображении из неосторожной метафоры доктора Брейди.

Однако сон рассеялся, а образы — телефон с трещиной на бежевом корпусе, микроволновка, миска с бананами, глаз собаки — были все такими же яркими. И даже ярче.

«Одно ясно, — сказал он себе. — Пора завязывать с чертовым тренажером. Если так будет продолжаться, скоро он отрежет себе ухо и пошлет по почте не девушке (ее у него не было), а доктору Брейди, из-за которого все и началось.

— С велотренажером покончено, — сказал он, не отрывая лица от рук. — Запишусь в «Фитнес бойз» или что-нибудь такое. А тренажер — к черту.

Только он не записался в «Фитнес бойз» и через две недели без упражнений (Зифкиц ходил пешком, но это было не то — слишком много народа на тротуарах, никакого сравнения с покоем дороги в Херкимер) сорвался. Он задерживал последний заказ, картинку в духе Норманна Рокуэлла для кукурузных чипсов «Фритос». И его агент, и человек, занимавшийся «Фритос» в рекламной конторе, уже звонили. Такое с ним было впервые.

Хуже того, он не спал.

Воспоминания о кошмаре поблекли, и Зифкиц решил, что все дело в рисунке с гаражом Карлоса. Рисунок смотрел на

него из угла, оживляя сон, как пшик из пульверизатора оживляет увядшее растение. Уничтожить его Зифкиц не мог (слишком хорошо получилось), но повернул картон лицом к стене.

В тот вечер он спустился на лифте в подвал и сел на велотренажер, который превратился в трехскоростной «Релей» почти сразу, как Зифкиц устремил взгляд на стену и начал крутить педали. Он пытался убедить себя, что чувство, будто его преследуют — мнительность, следствие кошмара и лихорадочных ночных часов за мольбертом. Некоторое время убеждение работало, хотя Зифкиц и знал, что обманывает себя. У него были на то серьезные причины. Главная — что он проспал всю ночь и с утра принялся работать над заказом.

Он закончил картинку с четырьмя мальчишками в бейсбольной форме, уплетающими «Фритос» на идиллическом загородном поле, отправил ее с курьером и на следующий день получил чек на десять тысяч двести долларов с запиской от Барри Кессельмана, своего агента. Ты меня напугал, старина, стояло в записке, и Зифкиц подумал: «Не только тебя. Старина».

В следующую неделю Зифкиц периодически думал, что надо бы кому-нибудь поведать о своих приключениях под красным небом, и всякий раз отгонял эту мысль. Он мог бы сказать Трудю, но будь она рядом, ничего такого бы не произошло. Сказать Барри — смешно. Обратиться к доктору Брейди — страшновато. Доктор Брейди посоветует хорошего психиатра быстрее, чем ты успеешь выговорить слово «психодиагностика».

В тот день, когда пришел чек от «Фритос», Зифкиц заметил перемену в подвальной росписи. Начав заводить будильник, он вдруг остановился и подошел к стене (в левой руке банка диетической колы, в правой — надежный брукстоновский будильник, в кармане старой рубашки — овсяное печенье с изюмом). Что-то и впрямь изменилось, совершенно точно, но Зифкиц не мог понять что. Он закрыл глаза, сосчитал до пяти (проверенный способ очистить сознание), а потом резко распахнул их широко-широко, как комик, изображаю-

щий преувеличенный испуг. И сразу стало ясно, в чем дело. Ярко-желтый овал рядом с дверью в котельную исчез, как раньше банки из-под пива. А красное небо над деревьями стало темнее. Солнце либо село, либо садилось. На дороге в Херкимер наступала ночь.

Все, пора завязывать, подумал Зифкиц, и потом: завтра. Может быть, завтра.

С этой мыслью он сел на велотренажер и поехал. Было слышно, как в лесу за его спиной птицы устраиваются на ночлег.

V. Для начала хватит отвертки

В следующие пять-шесть дней время, которое Зифкиц проводил на тренажере (и на своем детском «Релее»), было разом прекрасным и пугающим. Прекрасным, потому что он никогда не чувствовал себя лучше. Он был на абсолютном пике формы для мужчины своего возраста и сам это понимал. Конечно, есть еще профессиональные спортсмены, но они в тридцать восемь приближаются к концу карьеры, и это отравляет им радость от превосходной физической формы. А Зифкиц, если захочет, может рисовать еще лет сорок. Да что там сорок. Пятьдесят. Пять поколений футболистов и четыре — бейсболистов придут и уйдут, пока он будет спокойно стоять у мольберта, рисуя книжные обложки, автомобильные аксессуары и пять новых логотипов для «Пепси-Колы».

Вот только...

Вот только это не тот финал, которого ждут люди, знакомые с такими историями. Да и сам Зифкиц его не ждал.

Чувство, что его преследуют, усиливалось с каждой поездкой, особенно после того, как закончилась последняя карта штата Нью-Йорк и пришлось взять первую канадскую. Синим роллером, тем самым, которым рисовал «Человека с обрезом», Зифкиц продолжил Херкимерскую дорогу на листе,

где раньше дорог не было, добавив множество поворотов. Однако теперь он ехал быстрее, часто оглядывался через плечо и заканчивал поездку весь в поту, такой запыхавшийся, что не сразу мог слезть с тренажера и выключить будильник.

С оглядыванием через плечо тоже было занято. Первый раз Зифкиц мельком увидел подвальный тупичок и проем, ведущий в помещение с кладовками. Увидел ящик из-под апельсинов «Помона» со стоящим на нем будильником и даже заметил время. Потом все заволокло красной дымкой, а когда она рассеялась, сзади была дорога, деревья в ярко-желтой листве по обеим ее сторонам (впрочем, не такой уж и яркой, потому что сумерки сгущались) и темнеющее красное небо. В следующие разы, оглядываясь, он уже не видел подвала, даже в первый миг. Только дорогу, ведущую назад в Херкимер и дальше в Покипси.

Он отлично знал, что высматривает у себя за спиной: фары.

Фары «доджа-рам», если быть совсем точным. Потому что если раньше Берковиц и его команда тихо злились, то сейчас они в ярости. Самоубийство Карлоса стало последней каплей. Они во всем винят Зифкица и хотят с ним по квитаться. И уж если догонят, то...

То что?

Убьют меня, подумал он, угрюмо крутя педали. Нечего себя обманывать. Если они меня догонят, то убьют. Я влип по-крупному. На всей карте — ни одного городка. Даже ни одной деревеньки. Можно хоть обораться, и никто не услышит, кроме олененка Бемби, мишек Гамми и енотика Руди. Так что если я увижу фары (или услышу мотор, потому что Фредди может ехать с выключенными фарами), надо, на хрен, возвращаться, не дожидаясь будильника. Я кретин, что вообще сел на тренажер.

Однако возвращаться было все труднее. Когда звонил будильник, «Релей» еще секунд тридцать оставался «Релеем», дорога впереди оставалась дорогой, а не пятнами краски на цементе, да и сам будильник звучал издали и как будто лас-

ково. Зифкиц подозревал, что когда-нибудь звонок покажется ему гулом самолета, например, «Боинга-767», держащего курс из Кентукки через Северный полюс на другую сторону земного шара.

Он зажмурился, потом широко открывал глаза. Пока получалось, но Зифкиц не знал, сработает ли в следующий раз. И что тогда? Ночь в лесу, без еды, под полной луной, похожей на налитый кровью глаз?

Нет, они раньше его догонят. Вопрос, намерен ли он это допустить. Как ни трудно поверить, Зифкиц отчасти желал встречи. Он злился. Ему хотелось крикнуть Берковицу и двум оставшимся рабочим в лицо: «Чего вам надо? Чтобы я снова принялся жрать пончики и не обращал внимания на промоины, когда канавы засорятся и выйдут из берегов? Вы этого добиваетесь?»

Однако другая часть сознания убеждала не дурить. Да, он в отличной форме, но все равно выходит трое на одного, а кто сказал, что миссис Карлос не вручила ребятам мужнин карабин со словами: «Да, прикончите гада и обязательно передайте, что первая пуля — от меня и от девочек».

У Зифкица был приятель, который в восьмидесятых поборол тяжелую кокаиновую зависимость. Он рассказывал, что первым делом надо убрать эту дрянь из дома. Конечно, ты всегда можешь купить еще, крэк сейчас продается везде, на каждом углу, но это не повод держать его под рукой, где всегда можешь взять, если дашь слабинку. Поэтому он собрал все, что было, и спустил в унитаз. А трубку выкинул. Проблемы на этом не кончились, говорил приятель, но это было начало их конца.

Как-то вечером Зифкиц вошел в подвальный тупичок с отверткой в руке. Он твердо намеревался разобрать велотренажер, а будильник поставил на шесть просто по привычке. Будильник (и овсяное печенье с изюмом) были, как догадывался Зифкиц, его трубкой для крэка: гипнотическими пассажами, которые он проделывал, механизмом засыпания. Первым делом надо разобрать тренажер, а там и будильник

отправится на помойку, как трубка приятеля. Жалко, конечно: надежный маленький «Брукстон» не виноват в той идиотской ситуации, в которую Зифкиц себя загнал. Но он себя заставит. Ты же ковбой, говорили он друг другу в детстве. Подбери нюни, и вперед.

Тренажер состоял из четырех основных секций, и Зифкиц понял, что потребуются разводной ключ. Ладно. Для начала хватит отвертки. Можно отвинтить педали, а потом одолжить у коменданта разводной ключ.

Зифкиц встал на одно колено, вставил чужую отвертку в прорезь первого винта и замер. Интересно, выкурил ли приятель последнюю дозу крэка перед тем, как спустить остальное в унитаз? Просто по старой памяти? Наверняка выкурил. Кайф успокоил тягу и облегчил задачу. Что, если прокатиться в последний раз и отвинтить педали, пока тело накачено эндорфинами? Может, будет не так тяжело? Может, он не станет воображать, как Берковиц, Уэлан и Фредди заходят в ближайший бар, берут кувшин светлого «роллинг-рок», потом второй, поминают Карлоса и пьют за то, что все-таки одолели гада?

«Ты сошел с ума, — сказал себе Зифкиц и снова вставил отвертку в прорезь винта. — Покончи с этим и забудь».

Он даже повернул отвертку один раз (без усилия: тот, кто собирал тренажер на складе «Фитнес бойз», явно не утруждался), но тут овсяное печенье в кармане хрустнуло, и Зифкиц подумал, как же вкусно есть его во время езды. Просто отрываешь правую руку от руля, достаешь печенье, откусываешь раза два и запиваешь глотком чая. Идеальное сочетание. Так хорошо — тут тебе разом и поездка, и пикник — а эти сволочи хотят отнять его маленькую радость.

Десять поворотов отвертки, наверное, даже меньше, и педаль упадет на цементный пол — дзынь! Тогда можно будет взяться за вторую. И за свою жизнь.

Это нечестно, подумал он.

Еще разок, просто по старой памяти, подумал он.

Перекидывая ногу через раму и опуская зад (куда более крепкий и подтянутый, чем в день красного холестеринавого показателя), он думал: «Так всегда кончаются такие истории, верно? Чувак говорит себе: все, последний раз и больше никогда».

Истинная правда, думал он, но, готов поспорить, в реальной жизни такое сходит с рук. Сплошь и рядом.

Какая-то часть сознания нашептывала, что это не реальная жизнь, а то, что он делает (и переживает), не имеет к реальной жизни решительно никакого отношения, но Зифкиц не желал слушать.

Вечер был — будто специально для велосипедной прогулки.

VI. Не совсем тот финал, которого все ждали

И все-таки он получил еще один шанс.

В ту ночь за спиной впервые отчетливо послышался гул мотора, и перед самым звонком будильника на дороге внезапно выросла тень «Релея» — такая, какая бывает только от фар.

И тут зазвенел будильник — не пронзительно, а тихо, ласково, почти мелодично.

Пикап приближался. Зифкицу не надо было оборачиваться (да и кто бы обернулся, зная, что позади ужасный дух ночной*, думал он ночью, лежа без сна, все еще во власти жаркого и в то же время леденящего чувства, что до катастрофы оставались секунды или дюймы). Тень велосипеда стремительно вытягивалась и темнела.

Все, господа, до свидания, мы закрываемся, подумал он и зажмурил глаза. Будильник по-прежнему звенел, но почти

* Немного измененная цитата из «Поэмы о старом моряке» С.Т. Кольриджа (пер. Н. Гумилева).

убаюкивающе, и уж точно не громче, чем секунду назад. Громче всего был звук мотора. Пикап нагонял его. Что, если они не захотят тратить время на разговоры? Что, если тот, кто за рулем, зацепит передним крылом педаль и переедет Зифкица насмерть?

Он не стал открывать глаза, не стал тратить время на то, чтобы убедиться: он по-прежнему на пустой дороге, а не в подвале. Только зажмурился еще сильнее, сосредоточив все внимание на звонке, и вежливый голос бармена наконец превратился в нетерпеливое:

ВСЕ, ГОСПОДА, ДО СВИДАНИЯ, МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ!

И вдруг, о счастье, мотор начал затихать, а звонок будильника стал привычно-бесцеремонным «вставай-вставай-вставай». Открыв глаза, Зифкиц вместо дороги увидел ее проекцию.

Однако теперь небо было черно, органическую красноту скрыла ночная тьма. На усыпанной листьями грунтовке лежала отчетливая черная тень «Релея». Зифкиц мог сказать себе, что встал с тренажера и нарисовал это все в сомнамбулическом трансе, но не стал. И не только потому, что на руках у него не было краски.

Сил разбирать тренажер сейчас не было. Руки тряслись. Зифкиц решил, что займется этим завтра. Завтра утром, как встанет. Первым делом. Сейчас ему хотелось одного: вырваться из чертова подвала, где реальность стала такой неустойчивой. На ватных ногах, в пленке липкого пота (того самого, пахучего, который бывает не от напряжения, а от страха), Зифкиц подошел к ящику из-под апельсинов и отключил будильник. Затем поднялся к себе, лег и долго не мог уснуть.

На следующее утро он спустился в подвал (по лестнице, не на лифте) твердой поступью, подбородок задран, губы плотно сжаты — воплощение решимости. Не ставя будильник, напрямик направился к тренажеру, опустился на одно колено, взял отвертку. Вставил ее в прорезь винта, одного из четырех, державших правую педаль...

...и очнулся уже на дороге, в свете фар, который становился все ярче и ярче, так что наконец Зифкиц почувствовал себя как на сцене, где все темно, кроме единственного софита. Мотор ревел слишком громко (неисправный глушитель или система выпуска), да и постукивал, разумеется. Вряд ли старина Фредди удосужился пройти очередное ТО. Где ему: надо платить за дом, покупать продукты, ставить детям пластинки на зубы, а зарплаты все нет.

Зифкиц думал: «У меня был шанс. Вчера у меня был шанс, и я им не воспользовался».

Он думал: «Зачем я это сделал? Зачем, я же все понимал?»

И еще: «Потому что они меня заставили. Не знаю как, но заставили».

И: «Они меня собьют, и я погибну в лесу».

Однако пикап не сбил его, а обогнул справа, заехав левыми колесами в забитый листьями кювет, и тут же развернулся на дороге, преградив ему путь.

В панике Зифкиц позабыл первый урок, который дал ему отец, когда принес из магазина «Релей»: если останавливаешься, Риччи, обязательно крутани педали назад. Застопори заднее колесо тогда же, когда стопоришь переднее ручным тормозом. Иначе...

Вот это сейчас и произошло. В панике он стиснул обе руки, прижав левой ручной тормоз и застопорив переднее колесо. Велосипед кувыркнулся, и Зифкиц отлетел к пикапу с надписью «ЛИПИДНАЯ КОМПАНИЯ» на водительской дверце. Он успел выставить руки и ударился ими о корпус так, что они сразу онемели. Потом грохнулся на землю, гадая, сколько костей сломал.

Дверца над ним открылась. Зифкиц услышал, как хрустит под ботинками сухая листва, но головы не поднял. Он ждал, что его схватят за шиворот и заставят встать, однако этого не произошло. От листьев пахло старой корицей. Шаги прошуршали с обеих сторон от него и затихли.

Зифкиц сел и поглядел на руки. Правая ладонь кровоточила, левое запястье уже начало опухать, но перелома вроде

не было. Он огляделся и первое, что увидел — красный в свете габаритных огней «доджа» — свой «Релей». Велосипед был прекрасен, когда отец принес его из магазина. Теперь переднее колесо погнулось, задняя шина частично соскочила с обода. Впервые Зифкиц почувствовал что-то кроме страха. Этим новым чувством была злость.

Он с трудом поднялся на ноги. За «Релеем», там, откуда он приехал, зияла дыра в реальность. Она была странно органической, как если бы он смотрел через отверстие своего пищевода. Края подрагивали, морщились и раздувались. По другую сторону три человека стояли вокруг велотренажера в подвальном тупичке, в позах, знакомых Зифкицу по всем командам рабочих, какие он видел в жизни. Они собирались приступить к работе и решали, как лучше за нее взяться.

И вдруг он понял, почему их так назвал. Все было до идиотизма просто. Бригадир в кепке, Берковиц — Дэвид Берковиц, серийный убийца по прозвищу Сын Сэма, не сходивший со страниц нью-йоркской «Пост» в год, когда Зифкиц переехал в Манхэттен. Фредди — Фредди Альбемарль, с которым он учился в старших классах и вместе играл в ансамбле. Они сошлись по одной простой причине — оба ненавидели школу. Уэлан? Художник, с которым он познакомился на какой-то конференции. Майкл Уэлан? Митчелл Уэлан? Зифкиц точно не помнил, только знал, что тот специализируется на фантастическом реализме, драконах и всем таком. Они просидели полночи в баре отеля, рассказывая друг другу жуткие байки из жизни индустрии киноплакатов.

Оставался Карлос, покончивший с собой в гараже. Минуточку... его прототип — Карлос Дельгадо по прозвищу Большой Кот. Целый год Зифкиц следил за успехами «Торонто-Блю-Джейз», потому что не хотел, как все остальные фанаты Американской бейсбольной лиги в Нью-Йорке, болеть за янки. Кот был одной из немногих звезд «Торонто».

— Я вас выдумал, — прохрипел он. — Я собрал вас из воспоминаний и запчастей.

Ну конечно. Причем не в первый раз. Норманрокуэлловские мальчишки для кукурузных чипсов, например — рекламное агентство по просьбе Зифкица прислало ему фотографии четырех мальчиков подходящего возраста, и он их просто срисовал. Матери подписали отказ от претензий — обычное дело.

Если Берковиц, Уэлан и Фредди его слышали, то не подали виду. Они разговаривали между собой: Зифкиц не разбирал слов; голоса доносились как будто издалека. Через минуту Уэлан вышел из тупичка, а Берковиц встал перед тренажером на колени, как перед тем Зифкиц. Берковиц взял отвертку и через секунду левая педаль упала на цементный пол — дзын! Зифкиц, все еще на пустой дороге, видел через странное органическое отверстие, как Берковиц протянул отвертку Фредди Альбермалю — который вместе с Ричардом Зифкицем паршивенько играл на трубе в паршивеньком школьном ансамбле. Рок у них получался куда лучше. Где-то в канадских лесах закричала сова — звук, исполненный невыразимого одиночества. Фредди принялся откручивать вторую педаль. Уэлан тем временем вернулся с разводным ключом. У Зифкица сжалось сердце.

Глядя на них, он невольно думал: «Хочешь сделать что-нибудь хорошо — найми профессионала». Берковиц и его команда явно не теряли времени даром. Меньше чем за четыре минуты от велотренажера остались два колеса и три секции рамы, разложенные на полу так аккуратно, что походили на перспективное изображение с пространственным разделением деталей, как это называют специалисты.

Берковиц положил болты и гайки в карман, сразу оттопырившийся, как от груды мелочи. При этом бригадир выразительно глянул на Зифкица, и тот опять разозлился. К тому времени как рабочие прошли через странное отверстие-кишку (пригибаясь, как в низком дверном проеме), кулаки у Зифкица снова сжались, хотя в левом запястье и отдалась адская боль.

— Знаешь что? — сказал он Берковицу. — Ты мне ничего не сделаешь. Ты не можешь мне ничего сделать, потому что тогда тебе самому крышка. Ты... ты просто субподрядчик!

Берковиц спокойно смотрел на него из-под гнутого козырька кепки «ЛИПИД».

— Я вас выдумал! — Зифкиц поочередно навел на каждого указательный палец, словно пистолетное дуло. — Ты — Сын Сэма! Ты — повзрослевшая версия парня, с которым я играл на трубе! Ты не мог бы сыграть ми-бемоль под угрозой расстрела! А ты — художник, рисующий драконов и заколдованных дев!

Остальные члены липидной команды хранили то же непрошибаемое спокойствие.

— А тебе-то что с того? — спросил Берковиц. — Ты когда-нибудь об этом думал? Скажешь, другого мира снаружи точно нет? А что, если ты сам — случайная мысль в голове безработного аудитора, сидящего на толчке с утренней газетой?

Зифкиц открыл было рот, собираясь сказать, что это смешно, однако что-то во взгляде Берковица его остановило. Валяй, говорил бригадир взглядом, спрашивай. Я столько расскажу, что не обрадуешься.

Поэтому Зифкиц сказал:

— Кто вы, чтобы запрещать мне заниматься? Вы хотите, чтобы я сдох в пятьдесят лет? Да что с вами, бога ради?

Фредди сказал:

— Слышь, чувак, я не философ. Я одно знаю: мне надо чинить «додж», а денег на ремонт нет.

— А у меня двое детей. Старшему нужна ортопедическая обувь, младшему — занятия у логопеда, — добавил Уэлан.

— У ребят, которые прокладывали Большой туннель в Бостоне, была поговорка, — сказал Берковиц. — «Не души работу, пусть умрет своей смертью». Вот все, о чем я прошу, Зифкиц. Дай нам смочить клювы. Дай заработать на жизнь.

— Безумие, — пробормотал Зифкиц. — Полный бред.

— Мне насрать, что ты об этом думаешь! — заорал Фредди, чуть не плача, и Зифкиц понял, что для них разговор так

же тягостен, как для него. Почему-то это осознание потрясло его сильнее, чем все остальное. — Мне насрать на тебя, ты пустое место, ты не работаешь, только небо коптишь и малюешь свои картинки! Просто не смей вырывать хлеб изо рта у моих детей, понял?

Он двинулся вперед, сжав кулаки и держа их на уровне лица, словно пародировал боксерскую стойку Джона Лоуренса Салливана. Берковиц взял Фредди за локоть и потянул назад.

— Не будь скотиной, — сказал Уэлан. — Живи и давай жить другим, лады?

— Дай нам смочить клювы, — повторил Берковиц, и, конечно, Зифкиц узнал фразу: он читал «Крестного отца» и видел все экранизации. Да есть ли у них хоть одна фраза, хоть одно жаргонное словцо не из его лексикона? Вряд ли.

Берковиц продолжал:

— Дай нам возможность жить достойно. Думаешь, мы можем зарабатывать рисованием, как ты? — Он хохотнул. — Да если я нарисую кошку, мне придется снизу написать: «Кошка», чтобы люди поняли, кто это.

— Ты убил Карлоса, — сказал Уэлан. Если бы его слова звучали обвинением, Зифкиц, наверное, мог бы снова разозлиться. Однако в них слышалась только грусть. — Мы ему говорили: «Держись, старина, все еще выправится». А он не выдержал. Ему никогда не хватало умения смотреть вперед. Он отчаялся. — Уэлан сделал паузу и посмотрел на темное небо. Совсем близко заурчал мотор «доджа». — Ему не на что было толком опереться. Бывают такие люди.

Зифкиц повернулся к Берковицу.

— Давай говорить начистоту. Чего вы хотите?

— Не души работу, — сказал тот. — Вот все, о чем мы просим. Пусть умрет своей смертью.

Зифкиц подумал, что, наверное, может выполнить эту просьбу. Даже без особого труда. Есть люди, которые, съев один «Криспи-Крем», не останавливаются, пока не прикон-

чат всю коробку. Будь он из таких, ребятам пришлось бы туго... но он не из таких.

— Ладно, — сказал он. — Попробую. — Тут в голову ему пришла одна мысль. — Можно мне такую? — Он указал на кепку Берковица.

Берковиц улыбнулся. Улыбка была мимолетная, но куда более искренняя, чем смех, когда он сказал, что не может нарисовать кошку, не подписав внизу «Кошка».

— Сделаем.

Зифкиц думал, что сейчас Берковиц протянет ему руку, но тот лишь смерил Зифкица взглядом из-под козырька и двинулся к кабине грузовичка. Уэлан и Фредди последовали за ним.

— Как скоро я решу, что ничего этого не было? — спросил Зифкиц. — Что я сам разобрал велотренажер потому что... ну, не знаю... потому что он мне надоел?

Берковиц помедлил, держась за ручку дверцы, и обернулся.

— А как долго ты хочешь помнить? — спросил он.

— Не знаю, — ответил Зифкиц и добавил: — Красиво здесь, правда?

— Здесь всегда было красиво, — сказал Берковиц. — Мы всегда работали на славу.

В его словах слышался вызов, который Зифкиц решил оставить без внимания. Он подумал, что даже у вымышленного персонажа может быть гордость.

Несколько мгновений они стояли на дороге, которую Зифкиц последнее время называл про себя Великой трансканадской затерянной магистралю — чересчур громко для безымянного проселка в лесу, но все равно хорошо. Все четверо молчали. Где-то снова ухнула сова.

— Дома, в лесу — нам без разницы, — сказал Берковиц.

Потом открыл дверцу и плюхнулся на водительское сиденье.

— Береги себя, — сказал Фредди.

— Но не слишком, — добавил Уэлан.

Зифкиц стоял и смотрел, как пикап в три приема разворачивается на узкой дороге, туда, откуда приехал. Отверстие-туннель исчезло, но Зифкиц не испугался. Он знал, что без труда вернется назад. Берковиц не стал объезжать «Релей», а проехал прямо по нему, довершив и без того законченную работу. Дзынькнули, ломаясь, спицы. Габаритные огни уменьшились и пропали за поворотом. Некоторое время Зифкиц слышал рычание мотора, потом и оно затихло.

Он сел на дорогу, затем лег, прижимая к груди пульсирующее левое запястье. Небо было беззвездное. Зифкиц очень устал. Лучше не засыпать, сказал он себе, кто-нибудь выйдет из леса — медведь, например, и съест тебя. И все равно заснул.

Проснулся он на цементном полу в нише. Вокруг лежали разобранные части велотренажера без гаек и болтов. Будильник на ящике показывал 8.43. Очевидно, кто-то из них отключил звонок.

Я сам его разобрал, сказал себе Зифкиц. Я буду так считать и со временем поверю.

Он поднялся по лестнице в вестибюль и решил, что голоден. Наверное, стоит заскочить к Дугану и взять кусок яблочного пирога. Яблочный пирог — не самая вредная еда в мире, ведь так? А дойдя до кафе, Зифкиц решил, что закажет пирог с мороженым.

— Да чего там, — сказал он официантке. — Один раз живем, верно?

— Ну, — отвечала она, — индусы думают иначе, а вообще — как скажете.

Через два месяца ему пришла бандероль.

Он возвращался домой после обеда со своим агентом (Зифкиц взял рыбу и паровые овощи, но на десерт позволил себе крем-брюле). Бандероль лежала в вестибюле. На ней не было ни штемпеля, ни логотипа «Федэкса» или другой курьерской службы, ни марок. Только его имя и фамилия корявыми печатными буквами: «РИЧАРД ЗИФКИЦ». Зифкиц почему-то подумал, что человеку, который вывел эти каракули,

нарисуй он кошку, пришлось бы подписать внизу: «Кошка». Он отнес коробку наверх и вскрыл ее макетным ножом с рабочего стола. Под большим комком оберточной бумаги лежала новехонькая кепка с пластмассовым ремешком сзади. Внутри на ярлычке значилось: «Сделано в Бангладеш». Над козырьком красными буквами, напомнившими ему цвет артериальной крови, было написано одно слово: «ЛИПИД».

— Что это? — спросил Зифкиц у пустой мастерской, держа кепку в руках. — Какой-то компонент крови?

Он примерил ее. Сперва кепка была мала, но Зифкиц ослабил ремешок на затылке, и она села, как влитая. Он посмотрел на себя в зеркало и остался не вполне доволен. Снял кепку, согнул козырек, надел снова. Вышло почти хорошо. Зифкиц подумал, что будет еще лучше, когда он сменит уличную одежду на заляпанные краской джинсы. Так он станет похож на настоящего трудягу... да он такой и есть, что бы ни воображали некоторые.

Работать перед мольбертом в кепке «ЛИПИД» со временем вошло у него в привычку, как добавка к ленчу по выходным и яблочный пирог с мороженым у Дугана в четверг вечером. Что бы там ни утверждала индийская философия, Зифкиц считал, что живем мы один раз. А коли так, можно позволить себе всего понемножку.

Вещи, которые остались после них

Если речь заходит о Стивене Кинге, обычно упоминается, сколько книг он продал, что делает сегодня в литературе и для нее. Но практически не говорят (возможно, от непонимания) о его заслугах в развитии массовой литературы. И хотя до него было уже много авторов бестселлеров, Кинг, как никто другой со времен Джона Д. Макдональда, привнес в жанровые романы реальность — с присущим его творчеству подробнейшим описанием жизни и людей в вымышленных городках Новой Англии, которые благодаря его таланту стали неотличимы от настоящих. И естественно, сочетание реальности с элементами сверхъестественного в таких романах, как «Оно», «Противостояние», «Бессонница» и «Мешок с костями», постоянно выводит его на вершину списка бестселлеров. Кинг часто говорил, что Салемс-Лот — это «Пейтон-Плейс, где поселился Дракула». И так оно и есть. Сочность описаний, точно подмеченные детали, неожиданные повороты сюжета и яркие персонажи наглядно показывают, как писатель может вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, отработанную тему, такую, как вампиры или призраки. До Кинга

редакторы основательно правили многих популярных авторов, говоря, что сверхъестественное только мешает. Что ж, Кинг стал знаменитым именно благодаря сверхъестественному, и теперь уже все понимают, что он шагнул далеко за рамки одного жанра. Кинг — мастер из мастеров. Недавно он закончил самое значительное произведение своей жизни — цикл романов «Темная башня»: только что вышли шестая книга серии «Песня Сюзанны» и седьмая, последняя, — «Темная башня».

Вещи, о которых я хочу вам рассказать, те самые, что остались после них, появились в моей квартире в августе 2002 года. Большинство я нашел вскоре после того, как помог Поле Робсон разобраться с воздушным кондиционером. Памяти всегда требуется какой-то ориентир, и мой — починка того самого кондиционера. Пола, миловидная женщина (чего там, просто красавица), иллюстрировала детские книги, муж занимался экспортно-импортными операциями. Мужчина всегда помнит случаи, когда ему действительно удалось помочь попавшей в беду красивой женщине (даже если она уверяет, что счастлива в семейной жизни), потому что такие случаи крайне редки. В наши дни попытка подражать настоящим рыцарям обычно только все портит.

Я столкнулся с ней в вестибюле, возвращаясь с послеобеденной прогулки, и сразу почувствовал, что она крайне сердита. Поздоровался: «Добрый день», — как здороваются с соседями по дому, когда она вдруг спросила, едва не срываясь на крик, почему именно сейчас техник-смотритель должен быть в отпуске. Я заметил, что даже у ковбойш бывает плохое настроение и даже техники-смотрители имеют право взять отпуск. И что август, кстати, согласно законам логики, самый подходящий для этого месяц. Именно в августе в Нью-Йорке (да и в Париже тоже), моя дорогая, становится гораздо меньше психоаналитиков, модных художников и техников-смотрителей.

Она не улыбнулась. Возможно, даже не поняла, что это цитата из Тома Роббинса* (использование цитат — проклятие человека читающего). Лишь сказала, что август, возможно, действительно хороший месяц для отпускной поездки на Кейп-Код или Файер-Айленд, но ее чертова квартира превратилась в духовку, потому что чертов кондиционер только урчит, но не более того. Я спросил, хочет ли она, чтобы я посмотрел, что с кондиционером, и до сих пор помню взгляд ее холодных оценивающих глаз. Помнится, подумал, что эти глаза наверняка увидели многое. И я помню улыбку, когда она спросила меня: «А с вами безопасно?» Мне это напомнило фильм, не «Лолиту» (мысли о «Лолите», иногда в два часа ночи, начали приходить позднее), а тот, где Лоренс Оливье обследует зубы Дастина Хоффмана, спрашивая снова и снова: «Здесь не болит?»**

— Со мной безопасно, — ответил я. — Я уже больше года не набрасывался на женщин. Раньше такое случалось два или три раза в неделю, но групповая терапия принесла свои результаты.

Легкомысленная, конечно, реплика, но я пребывал в довольно игривом настроении. Летнем настроении. Она еще раз посмотрела на меня, а потом улыбнулась. Протянула руку.

— Пола Робсон, — представилась она.

Протянула не правую руку, как принято, а левую, с узким золотым колечком на четвертом пальце. Думаю, сделала это сознательно, вы со мной согласны? Но о том, что ее муж занимается экспортно-импортными операциями, рассказала позже. В тот день, когда пришла моя очередь просить ее о помощи.

В кабине лифта я предупредил, что не стоит возлагать на меня особых надежд. Я мог их оправдать лишь в том случае, если бы ей хотелось узнать о подспудных причинах бунтов на призывных пунктах Нью-Йорка, выслушать несколько забав-

* Роббинс, Том (р. 1937) — современный американский писатель.

** Фильм «Марафонец» (1976).

ных анекдотов об изобретении вакцины против ветрянки или найти цитаты, касающиеся социологических последствий изобретения пульта дистанционного управления телевизором (по моему скромному мнению, самого важного изобретения последних пятидесяти лет).

— Так ваш конек — поиск информации, мистер Стейли? — спросила она, когда мы медленно поднимались наверх в гудящем и лязгающем лифте.

Я признал, что да, хотя не стал добавлять, что для меня это дело новое. Не попросил называть меня Скотт, ведь этим только вновь напугал бы ее. И уж конечно, не признался, что стараюсь забыть все накопленные знания о страховании в сельской местности. Что пытаюсь, если уж на то пошло, забыть многое, в том числе с пару десятков лиц.

Видите ли, я, возможно, стараюсь забыть, но все равно помню слишком многое. Думаю, мы можем вспомнить все, если сконцентрируемся на этом (а иногда, что гораздо хуже, вспоминаем, не концентрируясь). Я даже помню, что сказал один из южноамериканских новеллистов, вы знаете, из тех, кого называют магическими реалистами. Не фамилию писателя, она не важна, но саму цитату: «Младенцами мы одерживаем свою первую победу, когда хватаемся за что-то в этом мире, обычно за палец матери. Потом мы выясняем, что этот мир и вещи этого мира хватают нас, и всегда хватали. С самого начала». Борхес? Да, возможно, это сказал Борхес. А может, Ремаркес*. Этого я не помню. Знаю только, что наладил кондиционер, и, когда из конвектора пошел холодный воздух, она просияла. Я также знаю, что автор вышеупомянутой цитаты об изменении восприятия прав, и со временем мы начинаем осознавать, что вещи, которые, по-нашему разумению, мы держали в руках, на самом деле удержали нас на месте. Превращая в рабов (Торо** определенно так полагал),

* Ремаркес — в данном контексте кто-то еще, имярек.

** Торо, Генри Дейвид (1817—1862) — американский писатель, мыслитель.

но и служа якорем. Такой вот расклад. И что бы ни думал по этому поводу Торо, расклад сносный. Так я считал тогда. Сейчас же полной уверенности у меня нет.

И я знаю, что все это случилось в августе 2002 года, менее чем через год после того, как свалился кусочек неба и все для всех нас переменилось.

Во второй половине дня, где-то через неделю после того, как сэр Скотт Стейли надел латы доброго самаритянина и победно завершил схватку со вселяющим ужас кондиционером, я отправился в универмаг «Стэплс» на Восемьдесят третьей улице, чтобы купить коробку «болванок»* и пачку бумаги. Я задолжал одному парню сорок страниц подоплеки создания фотоаппарата «Полароид» (история эта более интересная, чем вы подумаете). Когда вернулся в квартиру, на маленьком столике в прихожей, где я держу счета, которые нужно оплатить, квитанции, уведомления и бумаги аналогичного содержания, лежали солнцезащитные очки в красной оправе, со стеклами необычной формы. Я узнал их сразу и тут же лишился сил. Нет, не упал, но выронил все покупки на пол и привалился к двери, стараясь набрать в грудь воздуха. А если бы привалиться было не к чему, я бы лишился чувств, как героиня в викторианском романе, одном из тех, где похотливые вампиры появляются в полночь с первым ударом часов.

Две связанные, но несхожие друг с другом эмоциональные волны нахлынули на меня. Первая — ощущение жуткого стыда, который испытываешь, осознав, что тебя вот-вот поймут за некое деяние, объяснить которое не сможешь никогда. Память услужливо подсказала, что такое уже случилось со мной, вернее, почти случилось, когда мне было шестнадцать.

Мои мать и сестра поехали за покупками в Портленд, и до вечера весь дом остался в полном моем распоряжении. Я голый уселся на кровати, с трусиками сестры, обмотанными

* «Болванка» — компакт-диск с возможностью одноразовой записи информации.

вокруг члена. Вокруг лежали картинки, которые я вырезал из журналов, найденных в гараже, — прежний хозяин дома хранил там подборки «Плейбоя» и «Галлери». И тут услышал шум автомобиля, свернувшего на нашу подъездную дорожку. Знакомый шум — работал мотор нашего автомобиля, то есть вернулись мать и сестра. Пег заболела гриппом, и по дороге ее начало рвать. Они доехали до Поланд-Спрингс и повернули обратно.

Я посмотрел на картинки, разбросанные по кровати, одежду, разбросанную по полу, изделие из розового искусственного шелка с кружевами в моей левой руке. Я и теперь помню, как силы покинули меня и на их место пришло ужасное чувство апатии. Мать звала меня: «Скотт. Скотт, спустись, помоги мне. Пегги заболела...»

А я, помнится, сидел и думал: «Какой смысл? Я попался. Должен с этим смириться. Отныне, увидев меня, им в голову прежде всего будет приходить одна мысль: «А вот и Скотт-онанист».

Но в такие минуты чаще всего срабатывает инстинкт выживания. Это случилось и со мной. Могу спуститься вниз, решил я, но лишь после того, как попытаюсь спасти свое достоинство. Розовые трусики и вырезки я засунул под кровать. Кое-как оделся и поспешил к матери с сестрой, насколько позволяли негнувшиеся ноги. И все время думал об идиотской телевизионной игре-викторине, которую раньше смотрел, «Обгони время».

Помню, как мать коснулась моей пунцовой щеки, когда я скатился по лестнице, и тревоги в ее глазах прибавилось.

— Неужели ты тоже заболел?

— Может, и заболел, — ответил я, и достаточно радостно.

А еще через полчаса обнаружил, что у меня расстегнута ширинка. К счастью, ни Пег, ни мать этого не заметили, хотя в любом другом случае одна из них или обе обязательно бы спросили, есть ли у меня лицензия на торговлю хот-догами (в доме, где я вырос, такое сходило за остроумие). Но в тот день одна слишком плохо себя чувствовала, а вторая трево-

жила. Так что обеим было не до остроумия. В общем, я вышел сухим из воды.

Счастливчик.

Вторая эмоциональная волна, накатившая на меня в моей квартире вслед за первой в тот августовский день, имела более простую подоплеку — я подумал, что схожу с ума. Потому что эти очки не могли появиться здесь. Никак не могли. Никоим образом. Абсолютно.

Потом я поднял голову и увидел кое-что еще, чего точно не было в моей квартире, когда я уходил в «Стэплс» получасом раньше (и запер за собой дверь, как делал всегда). В углу между кухонькой и гостиной стояла бейсбольная бита. Судя по ярлыку, изготовленная фирмой «Хиллрич-энд-Брэдсби». И хотя обратной стороны биты я не видел, знал, какие там будут слова: «Регулятор претензий». Выжженные в дереве раскаленным прутком, а потом выкрашенные в темно-синий цвет.

Новое чувство охватило меня: третья волна. Сюрреалистичный испуг. Я не верю в призраков, но, право слово, в ту минуту озирался по сторонам, словно ожидал увидеть одного-двух.

И ощущения были — словно пообщался с ним. Да-да, пообщался. Потому что эти солнцезащитные очки должны были остаться в прошлом, далеком, далеком прошлом, как поют «Дикси Чикс»*. Впрочем, как и «Регулятор претензий» Клива Фаррелла.

«Бесбол ошен-ошен хорош для меня, — иногда говорил Фаррелл, сидя за столом и размахивая битой над головой. — А вот стра-ХО-вание ошен-ошен плохо».

Я сделал единственное, что пришло в голову: схватил солнцезащитные очки Сони д'Амиго и побежал к лифту, держа их перед собой как что-то мерзкое, испортившееся, пролежавшее в квартире с неделю, пока хозяева отсутствовали.

* «Дикси Чикс» — американская музыкальная группа (три девушки), созданная в начале 1990-х гг. и добившаяся наибольшего успеха в 2002 г. (несколько премий «Эмми»).

Скажем, гниль и полуразложившуюся отравленную мышь. Мне вдруг вспомнился разговор о Соне с одним моим знакомым, Уорреном Андерсоном.

«Она, должно быть, выглядела так, будто собиралась вскочить и попросить кого-то принести ей кока-колу», — подумал я после того, как он рассказал мне, что видел.

Мы сидели в пабе «Бларни стоун» на Третьей авеню, выпивали, примерно через шесть недель после того, как рухнуло небо. И следующий тост произнесли за то, что оба остались живы.

Такие моменты имеют привычку застревать в памяти, хочешь ты этого или нет. Как музыкальная фраза или припев дурацкого попсового шлягера, который невозможно выбросить из головы. Ты поднимаешься с кровати в три утра от желания отлить, стоишь над унитазом, с концом в руке, мозг твой проснулся только на десять процентов, и вдруг в голове звучит: «Она думала, ей хочется вскочить. Вскочить, чтобы коку попросить». По ходу нашего разговора Уоррен спросил, помню ли я ее забавные очки, и я ответил, что помню. Конечно же, я помнил.

Четырьмя этажами ниже Педро, швейцар, стоял в тени под навесом и говорил с Рейфом, курьером «Федэкс»*. Педро очень серьезно относился к своим обязанностям, когда дело касалось различных курьеров. Ввел правило семи минут — ровно столько автомобиль курьера мог стоять перед подъездом, и срок этот жестко контролировался с помощью карманных часов. А на нарушителей он натравливал патрульных, с которыми поддерживал прекрасные отношения. Но вот с Рейфом сдружился. Иногда они стояли у подъезда минут по двадцать, болтали ни о чем. О политике? Бейсболе? Евангелии от Генри Дейвида Торо? Я не знал, и до того дня темы их болтовни меня не волновали. Они стояли у подъезда, когда я вошел с покупками, чтобы подняться к себе. Стояли и в тот момент, когда Скотт Стейли, уже далеко не такой

* «Федерал экспресс» — крупнейшая частная почтовая служба.

беззаботный, спустился вниз. Скотт Стейли, который только что обнаружил маленькую, но заметную дыру в колонне реальности. Одного их присутствия хватило, чтобы приободрить меня. Я подошел к ним и протянул правую руку, ту, в которой держал солнцезащитные очки, к Педро.

— Как вы это назовете? — спросил я, не подумав извиниться за то, что влезаю в разговор, или за что-либо еще, желая, чтобы они забыли о своих делах и тут же переключились на мои.

Педро окинул меня задумчивым взглядом, словно упрекая, мол, я удивлен вашей бестактностью, мистер Стейли. Действительно удивлен. Потом посмотрел на мою руку. Долго молчал. Мелькнула ужасная мысль: он ничего не видит, потому что видеть нечего. Только мою протянутую руку. Словно сегодня — вторник-перевертыш и я жду от него чаявых. В моей руке ничего нет. Естественно, нет, потому что очки Сони д'Амико более не существовали. Забавные очки Сони давным-давно канули в Лету.

— Я называю их солнцезащитными очками, мистер Стейли, — наконец ответил Педро. — А как еще я могу их называть? Или это вопрос с подковыркой?

Рейф из «Федэкс», определенно в большей степени заинтересовавшийся очками, взял их. Я испытал огромное чувство облегчения, увидев, что он держит очки, рассматривает, даже изучает. Такое же облегчение испытываешь, когда кто-то в нужном месте почешет тебе между лопатками. Он выступил из-под навеса, поднял очки, чтобы разглядеть их на просвет. Солнечные лучи отразились от стекол в виде сердечек.

— Они похожи на те, что носила маленькая девочка в том порнофильме с Джереми Айронсом, — вынес он вердикт.

Я не мог не улыбнуться, хотя тревога не отпускала. В Нью-Йорке даже курьеры — кинокритики. Вот вам и еще одна причина, по которой этот город достоин любви.

— Совершенно верно, в «Лолите». — Я забрал у него очки. — Только очки-сердечки были в фильме, который снял

Стэнли Кубрик*. Тогда Джереми Айронс еще ничего собой не представлял...

Я сам не понял, что сказал, но мне было наплевать. Вновь на меня напало легкомыслие... но не в хорошем смысле этого слова. В тот раз — не в хорошем.

— А кто играл извращенца в том фильме? — спросил Рейф.

Я покачал головой:

— Боюсь, сейчас не вспомню.

— Надеюсь, вы меня извините, мистер Стейли, но вы такой бледный, — подал голос Педро. — Не заболели? Может, грипп?

«Нет, гриппом заболела моя сестра, — такой ответ крутился у меня на языке. — В тот день, когда меня едва не застали гоняющим шкурку ее трусиками и любующимся девушкой апреля».

Но я не попался. Ни тогда, ни одиннадцатого сентября. Выкрутился, опять обогнал время. Я не могу говорить за Уоррена Андерсона (он признался мне в «Бларни стоун», что в то утро остановился на третьем этаже поболтать с приятелем об успехах и неудачах «Янки»), но для меня не попадаться стало настоящей специализацией.

— Я в порядке, — заверил я Педро, пусть и грешил против истины.

Однако теперь, когда я точно знал, что очки Сони видят и другие, что они реально существуют, мне полегчало. Если солнцезащитные очки имели место быть в этом мире, возможно, бейсбольная бита «Хиллрич-энд-Брэдсби» Клива Фаррелла тоже не была фантомом.

— Это те самые очки? — с придыханием спросил Рейф. — Из первой «Лолиты»?

— Нет. — Я сложил дужки за стеклами-сердечками и вдруг вспомнил имя и фамилию девочки, которая сыграла в фильме Кубрика, — Сью Лайон. Но никак не мог припомнить исполнителя мужской роли. — Они лишь похожи на те очки.

* Фильм «Лолита» (реж. Стэнли Кубрик) вышел на экраны в 1962 г.

— А в них есть что-то особенное? — не унимался Рейф. — Потому-то вы так быстро спустились вниз?

— Не знаю. — Я пожал плечами. — Кто-то оставил их в моей квартире.

Я поднялся наверх, прежде чем они задали мне новые вопросы, и огляделся в надежде, что больше ничего не найду. Но нашел. Кроме солнцезащитных очков и бейсбольной биты с выжженной надписью «Регулятор претензий» на боковой поверхности, в мою квартиру неведомым образом попали Пердучая подушка, морская раковина, стальной цент, замурованный в кубике из прозрачной пластмассы, и керамический гриб с красной, в белых точках, шляпкой, на которой сидела керамическая Алиса. Пердучая подушка когда-то принадлежала Джимми Иглтону и каждый год играла особую роль на рождественской вечеринке. Керамическая Алиса стояла на столе Морин Ханнон, подарок внучки, как она мне сказала. Седые волосы Морин поражали своим великолепием, она носила их распущенными, до талии. На работе такое обычно не увидишь, но Морин проработала в компании почти сорок лет и могла позволить себе любую прическу. Я помнил и морскую раковину, и стальной цент, но не мог вспомнить, в каких клетушках (или кабинетах) их видел. Со временем мог вспомнить, а мог и не вспомнить. Клетушек (или кабинетов) в компании «Лайт и Белл, страховщики» хватало.

Раковину, гриб и кубик из прозрачной пластмассы я нашел на кофейном столике в гостиной, аккуратно придвинутыми друг к другу. Пердучая подушка обнаружилась на сливном бачке в туалете, рядом с последним номером «Спенкс рурэл иншуренс ньюслеттер». Страхование в сельской местности раньше было моей специальностью. Думаю, я уже об этом упоминал. О вероятности наступления тех или иных страховых случаев я знал все.

Но чему равнялась вероятность появления всех этих вещей в моей квартире?

Когда в жизни что-то идет не так и у тебя возникает необходимость поговорить об этом, первым делом появляется желание позвонить кому-то из родственников. Для меня это не вариант. Мой отец бросил нас, когда мне было два года, а сестре — четыре. Мать не пала духом и воспитывала нас, параллельно организовав дома стол заказов по почте. Насколько я понимаю, бизнес этот она создавала с нуля и он приносил приличный доход (только первый год был действительно жутким, потом призналась она). Мать дымила как паровоз и в сорок восемь умерла от рака легких, за шесть или восемь лет до того, как Всемирная паутина сделала бы ее миллионершей.

Моя сестра Пег в настоящее время живет в Кливленде. Там она распространяла косметику «Мэри Кей», помогала индейцам, примыкала к христианам-фундаменталистам. В хронологической последовательности я мог напутать. Если бы я позвонил Пег и рассказал о вещах, которые обнаружил в своей квартире, она предложила бы мне опуститься на колени и попросить помощи у Иисуса. Возможно, я ошибался, но почему-то мне казалось, что с этой проблемой Иисус помочь не сможет.

У меня, как и у всех, хватало тетушек, дядюшек, кузин и кузенов, но жили они по большей части к западу от Миссисипи, и я уже долгие годы никого из них не видел. Киллияны (родня по материнской линии) никогда не держались вместе. Их семейные обязательства обычно ограничивались открытками на день рождения и Рождество. Открытка на День святого Валентина или Пасху рассматривалась как премия. Я звонил сестре на Рождество, или она звонила мне. Мы, само собой, упоминали о том, что надо бы «встретиться в самое ближайшее время», и, насколько я понимаю, с облегчением заканчивали разговор.

Если у тебя беда, а родственников нет, напрашивается второй вариант — пригласить близкого друга на стаканчик-другой, объяснить ситуацию и попросить совета. Но я был зас-

тенчивым мальчиком, который вырос в застенчивого мужчину, вот и теперь по роду своей деятельности работал один (и мне это нравилось), а потому не было у меня коллег, которые со временем могли бы стать друзьями. Нет, на моей прежней работе несколько друзей у меня было, могу назвать двоих, Соню и Клива Фаррелла, но они, разумеется, умерли.

В отсутствие настоящего друга я рассудил, что его может заменить друг наемный. Я мог позволить себе оплатить услуги психоаналитика и пришел к выводу, что нескольких сеансов на его кушетке (скажем, четырех) вполне хватило бы для того, чтобы объяснить, что случилось, и определиться с тем, как произошедшее подействовало на меня. В какую сумму могли обойтись мне четыре посещения? В шестьсот долларов? Может, в восемьсот? Не такая уж большая цена за облегчение души. И я мог рассчитывать на дополнительные дивиденды. Незаинтересованный посторонний человек мог предложить простое и логичное объяснение, которое ускользало от меня. Для моего разума запертая дверь между моей квартирой и остальным миром отсекала большинство объяснений, но это был, в конце концов, мой разум. Может, в том и заключалась основная проблема.

Я все распланировал. На первом сеансе намеревался рассказать, что произошло. На втором собирался принести вещественные улики — солнцезащитные очки, кубик из прозрачной пластмассы, морскую раковину, бейсбольную биту, керамический гриб, популярную в узких кругах Пердучую подушку. Устроить маленькое шоу для лучшего усвоения материала, как в начальной школе. А на двух оставшихся сеансах мне и моему наемному другу предстояло разобраться в причинах, вызвавших колебания оси моей жизни, и привнести в нее (я про жизнь) требуемое успокоение.

Второй половины дня, посвященной пролистыванию «Желтых страниц» и звонкам по телефону, хватило для того, чтобы понять — идея призвать на помощь психотерапию, по сути, мертворожденная, какой бы эффективной ни казалась

в теории. Только один раз мне удалось почти записаться на прием — регистратор доктора Джосса сообщила, что он сможет принять меня в январе следующего года. Намекнув, что ей пришлось его уламывать. Другие не оставили мне и такой надежды. Я позвонил шести психоаналитикам в Ньюарке и четверем в Уайт-Плейнс, даже гипнологу в Куинсе — с тем же результатом. Мохаммед Атта* и его отряд самоубийц оказали «ошен-ошен» сильное отрицательное воздействие на жителей Нью-Йорка (не говоря уже о стра-Хо-вом бизнесе), но половина дня, безрезультатно проведенная на телефоне, наглядно показала, что психотерапевтам они устроили райскую жизнь, завалив их работой. Поэтому если летом 2002 года кому-то хотелось оказаться на кушетке специалиста, ему (ей) не оставалось ничего другого, как записываться в очередь и терпеливо ждать чуть ли не полгода.

Я мог спать с этими вещами, находящимися в моей квартире, но не очень хорошо. Они мне словно что-то нашептывали. Я лежал в кровати без сна, иногда до двух часов утра, думая о Морин Ханнон, которая чувствовала, что достигла того возраста (не говоря уже о степени незаменимости), когда могла носить свои потрясающе красивые длинные волосы как вздумается. Или вспоминал различных людей, которые на рождественской вечеринке бегали по залу со знаменитой Пердучей подушкой Джимми Иглтона в руках. Я вспомнил, как Брюс Мейсон спросил, не напоминает ли мне эта подушка клизму для эльфов, и ассоциативный процесс позволил мне вспомнить, что морская раковина принадлежала ему. Конечно же. Брюс Мейсон, Повелитель мух. Этот же процесс перекинул мостик к Джеймсу Мейсону**, который сыграл Гумберта Гумберта в фильме, снятом в те далекие времена, когда

* Атта, Мохаммед — главарь террористов-самоубийц, захвативших четыре самолета 11 сентября 2001 г.

** Мейсон, Джеймс Невилл (1909—1984) — английский актер. Среди его лучших ролей — капитан Немо в фильме «20 тысяч лье под водой» и Гумберт Гумберт в «Лолите» Стэнли Кубрика.

Джереми Айронс ничего собой не представлял. Память — хитрая мартышка. Иногда делает все, о чем ты ее просишь, иногда — нет. Вот, собственно, почему я спустился с очками вниз, после того как их нашел. В тот момент о дедукции и индукции я не думал. Просто хотел подтверждения. У Джорджа Сефериса* есть стихотворение, в котором спрашивается: «Это голоса наших умерших друзей или всего лишь граммофон?» Иногда это хороший вопрос, который ты должен задать кому-то еще. Или... услышать его.

Однажды, в конце восьмидесятых, когда заканчивался мой печальный двухлетний роман с алкоголем, я глубокой ночью проснулся в своем кабинете, потому что заснул прямо за столом. Поплелся в спальню и, потянувшись к выключателю, увидел, что там кто-то ходит. Мелькнула мысль (и такая убедительная), что в дом забрался воришка-наркоман с дешевым пистолетом 32-го калибра в трясущейся руке, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Одной рукой я включил свет, а второй уже пытался схватить что-нибудь тяжелое с комода — подошла бы даже фотография матери в серебряной рамке, — когда увидел, что ночной воришка — я сам. Дикими глазами я смотрел на собственное отражение в зеркале у дальней стены, на рубашку, которая наполовину вылезла из брюк, на волосы, стоящие дыбом. Испытывал отвращение к самому себе, но при этом на душе стало спокойнее.

Я хотел, чтобы все так и произошло. И что-то привело бы меня в чувство — зеркало, граммофон, чья-нибудь злая шутка (даже если бы подшутил надо мной кто-то знавший, почему я не пришел на работу в тот сентябрьский день). Но я знал, что все эти вещи — другое дело. Пердучая подушка была здесь, физически находилась в моей квартире. Я мог дотронуться до застеечек керамических туфелек Алисы, погладить ее желтые керамические волосы. Разглядеть дату на центе, закатанном в пластмассовый кубик.

* Джордж Сеферис (Гиоргиос Сеферидис, 1900—1971) — греческий поэт, лауреат Нобелевской премии в области литературы.

Брюс Мейсон, он же Человек-раковина, он же Повелитель мух, прихватил с собой эту большую розовую раковину, когда в июле мы всей компанией отправились на пикник на Джонс-Бич. А когда поджарились гамбургеры, протрубил в нее, созывая всех на кормежку. Потом попытался показать Фредди Лаунсу, как это делается. Но звуки, которые извлекал из раковины Фредди... они более напоминали те, что издавала Пердучая подушка Джимми Иглтона. Круг замкнулся. В конце концов, любая ассоциативная цепочка становится ожерельем.

В конце сентября меня осенило. Я понять не мог, как не додумался до этого раньше. Почему я держусь за этот совершенно ненужный мне хлам? Почему не избавляюсь от него? Эти вещи не оставляли мне на хранение. Люди, которым они принадлежали, не могли прийти через день, неделю, месяц, год и попросить их вернуть. Последний раз я видел лицо Клива Фаррелла на постере, и последний из них изорвался к ноябрю 2001 года. Все думали (пусть и не высказывали этого вслух), что почести, воздаваемые погибшим, отпугнут туристов, которые потихоньку начали вновь появляться в Городе развлечений*. Случилось ужасное, в этом разногласий у ньюйоркцев не было, но жизнь продолжалась, и Мэттью Бродерик** по-прежнему радовал зрителей.

В тот вечер я взял обед в китайском ресторане, расположенном в двух кварталах от моего дома. Собирался, как обычно, поесть в домашней обстановке, слушая Чака Скарборо***, который объяснил бы мне и всем желающим, как обстоят дела в мире. И включал телевизор, когда мне открылась истина. Они не оставлены мне на хранение, эти нежеланные свидетельства давно ушедших дней, они не являются веществен-

* Город развлечений — рекламно-шуточное название Нью-Йорка.

** Бродерик, Мэттью (р. 1962) — американский актер, режиссер, продюсер.

*** Чак Скарборо — ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании Эн-би-си.

ными доказательствами. Преступление было, да, все с этим согласны, но преступники давно мертвы, а те, кто направлял их, пустились в бег. В будущем может состояться суд, но Скотта Стейли не пригласят дать свидетельские показания, а Пердучая подушка Джимми Иглтона не станет вещественной уликой номер один.

Я оставил курицу «Генерал Цзо» в алюминиевом судке под крышкой, взял мешок для белья с полки над стиральной машиной, которая по большей части простаивает, сложил в него все вещи (приподняв мешок, удивился, какие же они легкие; а может, тому, что так долго держал их у себя) и поехал на лифте вниз. Мешок с затянутой веревкой горловиной стоял у меня между ног. Обогнул угол Парк-авеню и Семьдесят пятой улицы, огляделся, дабы убедиться, что за мной никто не наблюдает (одному Богу известно, почему я стремился к скрытности, но стремился), а потом бросил мешок в мусорный контейнер. Отправил все эти вещи в положенное им место. Уходя, один раз обернулся. Бейсбольная бита приглашающе торчала над краем контейнера. И я не сомневался, что кто-нибудь придет и возьмет ее. Возможно, еще до того, как Чак Скарборо уступит место Джону Сайгенталеру* или кому-то еще, кто будет в этот вечер заменять Тома Броко**.

По пути домой я вновь заглянул в «Фаг чой» за еще одной порцией «Генерала Цзо».

— Последняя вам не понравилась? — озабоченно спросила Роза Минь, сидевшая за кассой. — Скажите почему?

— Нет. Последняя была хороша, — ответил я. — Просто я решил, что этим вечером хочу съесть две порции.

Она рассмеялась, словно не слышала более забавной шутки. Рассмеялся и я. Громко. Так смеются, пребывая в легко-

* Джон Сайгенталер — ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании Эн-би-си по уик-эндам.

** Том Броко (р. 1940) — киноактер и до недавнего времени харизматический ведущий вечерних выпусков новостей телекомпании Эн-би-си.

мысленном настроении. Я не помнил, когда в последний раз хохотал так громко и так естественно. Уж точно не смеялся с тех пор, как компания «Лайт и Белл, страховщики» рухнула на Западную улицу.

Я поднялся в лифте на свой этаж, прошел двенадцать шагов до квартиры 4в. Чувствовал себя точь-в-точь как тяжело больные люди, когда просыпаются однажды утром, чтобы обнаружить — болезнь отступила, температура спала. Пакет с курицей я сунул под левую руку (не очень удобно, но пару-тройку секунд потерпеть можно) и открыл дверь. Включил свет. На столике, куда я кладу счета, которые нужно оплатить, квитанции, уведомления и бумаги аналогичного содержания, лежали шутовские солнцезащитные очки Сони д'Амико в красной оправе и со стеклами в форме сердечек а-ля Лолита. Сони д'Амико, которая, по словам Уоррена Андерсона (единственного, насколько мне известно, оставшегося в живых сотрудника головного отделения «Лайт и Белл»), выпрыгнула со сто десятого этажа попавшего под удар здания.

Он утверждал, что видел фотографию, запечатлевшую ее полет. Соня держала руками юбку, чтобы та не оголила бедра, волосы поднялись вверх на фоне дыма и синего неба, мыски туфель смотрели вниз. Описание это заставило меня подумать о стихотворении «Падение», которое Джеймс Дики* написал о стюардессе, пытавшейся направить свое падающее камнем тело в воду, словно могла потом вынырнуть, улыбаясь, стряхнуть с волос капельки воды и попросить бутылочку кока-колы.

— Меня вырвало, — признался Уоррен в тот день, когда мы сидели в «Бларни стоун». — И у меня больше нет желания вновь увидеть эту фотографию, но я знаю, что мне не забыть ее до конца своих дней. На снимке можно было разглядеть ее лицо, Скотт. Я думаю, она верила, что каким-то образом... да, каким-то образом все закончится для нее благополучно.

* Дики Джеймс Лафайетт (1923—1997) — американский поэт и писатель.

Взрослым я никогда не кричал от ужаса, но почти заорал, когда перевел взгляд с очков Сони на «Регулятор претензий» Клива Фаррелла, который вновь привалился к углу у входа в гостиную. Какая-то часть моего разума, должно быть, помнила, что входная дверь открыта и оба моих соседа по четвертому этажу услышат меня, если я закричу. И тогда мне придется объяснять, что, как и почему.

Я зажал рот рукой, чтобы сдержать крик. Пакет с курицей «Генерал Цзо» упал на пол прихожей и порвался. Я едва смог заставить себя взглянуть на результат. Эти темные куски приготовленного мяса могли быть чем угодно.

Я плюхнулся на единственный стул, который держу в прихожей, и закрыл лицо руками. Не кричал, не плакал и спустя какое-то время смог убрать с пола то, что совсем недавно было порцией аппетитного кушанья. Мой разум норовил вернуться к вещам, которые быстрее, чем я, добрались до моей квартиры от угла Парк-авеню и Семьдесят пятой улицы, но я не позволил. Всякий раз, когда он рвался в том направлении, я резко дергал за поводок и возвращал его на прежнее место.

В ту ночь, лежа в постели, я вслушивался в разговоры. Сначала говорили вещи (тихими голосами), а потом люди, которым эти вещи принадлежали, отвечали (чуть громче). Иногда они заводили разговор о пикнике на Джонс-Бич — крем от загара с запахом кокосового ореха и Лу Бега*, поющий «Мамбо номер пять» с компакт-диска в проигрывателе Миши Бризински. Или они рассуждали о фрисби, плывущих под небом, преследуемых собаками. Порой обсуждали детей, ковыляющих по мокрому песку в шортах или купальных костюмах. Матери в купальниках, заказанных по каталогу «Лэндс энд», шагали рядом с ними с белой нашлепкой на носу. Как много детей в тот день потеряли маму-хранительницу или бросающего фрисби отца? Это математическая задача, решать которую мне совершенно не хотелось. Но голоса, которые я

* Лу Бега — современный певец, родился в Германии, сын уроженки Сицилии и угандийца. Его песня «Мамбо номер пять» стала глобальным хитом в 1999 г.

слышал в моей квартире, хотели ее решить. Вновь и вновь возвращались к ней.

Я помнил, как Брюс Мейсон дул в свою раковину и провозглашал себя Повелителем мух. Как Морин Ханнон однажды сказала мне (не на Джонс-Бич, не во время того разговора), что «Алиса в стране чудес» — первый психоделический роман. Как Джимми Иглтон на работе, где-то во второй половине дня, доверительно сообщил, что у его сына проблемы с учебой, а вдобавок он еще и заикается, две проблемы по цене одной, и парню понадобятся репетиторы по математике и французскому, если он хочет в обозримом будущем закончить среднюю школу. «До того, как он сможет рассчитывать на скидки, полагающиеся членам ААПЛ* при покупке учебников» — вот как сказал Джимми. В ярком послеполуденном свете на его бледных щеках проступала щетина, словно утром он воспользовался тупой бритвой.

Я уже засыпал, но от слов Иглтона разом проснулся, потому что вспомнил: этот разговор произошел перед самым одиннадцатым сентября. Может, за несколько дней. Может, в пятницу накануне, то есть в последний день, когда я видел Джимми живым. И этот малый, с заиканием и проблемами с учебой... его зовут Джереми, как Айронса? Конечно же, нет. Конечно же, мой разум (иногда с ним такое случается) играет в свои маленькие игры, но имя похожее, это точно. Скажем, Джейсон. Или Джастин. Поздней ночью человек склонен к преувеличениям, и я, помнится, подумал, что сойду с ума, если окажется, что мальчика зовут Джереми. Соломинка, которая ломает спину верблюда.

Где-то в три ночи я вспомнил, кому принадлежал кубик из прозрачной пластмассы со стальным центом внутри — Роланду Абельсону, который работал в отделе задолженностей. Роланд называл этот кубик своим пенсионным фондом. Это у Роланда была привычка говорить: «Люси, тебе придется кое-что объяснить». В один из вечеров осени 2001 года я видел

* ААПЛ — Американская ассоциация пожилых людей — общественная организация, объединяющая тех, кому за пятьдесят.

Люси в шестичасовом выпуске новостей. Мы встречались на одном из пикников компании (наверняка на Джонс-Бич), и я еще подумал тогда, какая она симпатичная. Но вдовство облагородило эту симпатичность, превратив в строгую красоту. Во фрагменте выпуска новостей она говорила о муже как о пропавшем без вести. Не называла его мертвым. И если он жив, если он вернется, ему «придется кое-что объяснить». В этом сомнений быть не могло. Но разумеется, кое-что объяснить пришлось бы и ей. Женщина, которая в результате массового убийства превратилась из хорошенькой в красавицу, конечно же, должна объяснить, как такое могло случиться.

Я лежал в постели, и мысли обо всем этом плюс воспоминания о шуме прибора на Джонс-Бич и летающих под небом фрисби вогнули меня в жуткую тоску, которая закончилась слезами. Но, должен признать, та ночь стала для меня и уроком. Я начал понимать, что вещи, даже такие безделушки, как цент в пластмассовом кубике, с течением времени могут становиться значимее, тяжелее за счет прибавления веса разума. Математической формулы вроде тех, которыми пользуются в страховых компаниях, на этот счет, конечно, нет. Скажем, ежегодный взнос по полису страхования жизни увеличивается на коэффициент x , если вы курите, или страховка урожая стоит дороже на коэффициенту, если вы живете в зоне торнадо. Но вы понимаете, о чем я?

Это вес разума.

На следующее утро я собрал все вещи и нашел еще одну, седьмую, под диваном. Миша Бризински, который занимал соседнюю со мной клетушку, держал на столе кукольную пару Панча и Джуди*. Из-под дивана я вытащил Панча. Джуди найти не удалось, но мне хватило и ее супруга. Эти черные глазки повергли меня в страх. Я вытаскивал куклу из-под ди-

* Панч и Джуди — горбун Панч с крючковатым носом, воплощение оптимизма, и его жена Джуди, неряшливая и нескладная, — герои традиционного уличного представления, которое появилось в Англии во второй половине XVII в.

вана, с отвращением глядя на полоску пыли, которая тянулась за ней. Вещь, которая оставляет такой след — настоящая, вещь, обладающая весом. Никаких сомнений.

Я сунул Панча вместе с остальными вещами в маленький стеновой шкаф рядом с кухней. Там они и остались. Поначалу уверенности в этом у меня не было, но они остались в стеновом шкафу.

Моя мать как-то сказала мне: «Если мужчина вытирает зад и обнаруживает на туалетной бумаге кровь, то следующие тридцать дней он будет срать в темноте и надеяться на лучшее». Этим примером она иллюстрировала свою уверенность в том, что краеугольный камень мужской философии — «если что-то игнорировать, глядишь, и рассосется».

Я игнорировал вещи, которые нашел в своей квартире, надеялся на лучшее. И все действительно стало пусть немного, но лучше. Я редко слышал голоса, шепчущиеся в стеновом шкафу (только глубокой ночью), но при этом поисками нужной мне информации все чаще и чаще занимался вне дома. К середине ноября я целыми днями пропадал в Нью-Йоркской публичной библиотеке. И уверен, что вместе со своим верным ноутбуком намозолил глаза лвам у входа.

А потом, перед самым Днем благодарения*, выходя из дома, я вновь столкнулся с Полой Робсон, девой, попавшей в беду, которую я спас, нажав на кнопку сброса ее кондиционера. Она как раз шла домой.

И совершенно спонтанно — будь у меня время подумать, убежден, ни единого слова не слетело бы с моих губ — я спросил, не могу ли пригласить ее на ленч и за едой кое о чем поговорить.

— Дело в том, что у меня проблема. Может, вы сумеете нажать на мою кнопку сброса и вернуть меня в исходное положение, чтобы вновь запустить мой мыслительный процесс.

* День благодарения — национальный праздник США, отмечаемый в четвертый четверг ноября.

Мы стояли в вестибюле. Педро, швейцар, сидел в углу, читал «Пост» (и ловил каждое слово, я в этом не сомневаюсь, для Педро спектакль с участием жильцов дома, где он работал, был самым захватывающим дневным зрелищем). Она одарила меня улыбкой, приятной и нервной.

— Полагаю, я у вас в долгу, но... вы знаете, я замужем?

— Да, — ответил я, не добавив, что ранее она протягивала мне для рукопожатия левую, а не правую руку, так что не заметить обручального кольца я просто не мог.

Она кивнула.

— Вы наверняка пару раз видели нас вместе, но он был в Европе, когда у меня случилась беда с кондиционером. Сейчас он тоже в Европе. Его зовут Эдуард. За последние два года в Европе он провел больше времени, чем здесь, но хотя мне это не нравится, я хочу, чтобы у нас сохранялась крепкая семья. — Она помолчала, а потом, словно вспомнив, добавила: — Он занимается экспортно-импортными операциями.

«Я раньше занимался страхованием, но в один из дней компания взорвалась», — мог бы я сказать. Практически подошел к тому, чтобы сказать. Но потом остановился на более благоразумном:

— Я не хочу пригласить вас на свидание, миссис Робсон. — Еще больше мне не хотелось переходить на имена, но разве я не заметил мелькнувшего в ее глазах разочарования? Клянусь Богом, заметил. Однако по крайней мере подтвердил свою репутацию. Она еще раз убедилась, что со мной ее чести ничто не грозит.

Она уперла руки в бока, посмотрела на меня с насмешливым раздражением. А может, насчет насмешливого я преувеличил?

— Так чего же вы хотите?

— Мне нужно с кем-то поговорить. Я попытался обратиться к нескольким психоаналитикам, но они... заняты.

— Все?

— Похоже на то.

— Если у вас проблемы с сексом или вам хочется мотаться по городу и убивать мужчин в тюрбанах, об этом я слышать не хочу.

— Дело совсем в другом. Я не заставлю вас краснеть, обещаю. — А ведь мог бы сказать: «Я обещаю не шокировать вас» или «Вы не подумаете, что я псих». — Ленч и совет — вот все, о чем я прошу. Что скажете?

Я удивился. Более того, меня потрясла собственная настойчивость. Если бы я планировал этот разговор заранее, ничего бы из моей задумки не вышло. А тут она заинтересовалась и, я уверен, уловила искренность в моем голосе. Она также могла прийти к логичному выводу, что, будь я охотником на женщин, не упустил бы своего шанса в тот августовский день, когда остался с ней наедине в ее квартире, поскольку неуловимый Эдуард пребывал то ли во Франции, то ли в Германии. И мне оставалось только гадать, какую степень отчаяния увидела она на моем лице.

Так или иначе, она согласилась пойти со мной в пятницу на ленч в «Гриль Дональда», расположенный на этой же улице. «Гриль Дональда» — наименее романтичный ресторан на всем Манхэттене: хорошая еда, флуоресцентные лампы, официанты, ясно дававшие понять, что нечего засиживаться за столиком. Она согласилась с видом женщины, отдающей давно просроченный долг, о котором практически забыла. Мужскому самолюбию такое, само собой, не льстит, но меня вполне устроило. А полдень вполне устроил ее. Мол, кабы я встретил ее в вестибюле, то до «Гриля» мы бы прогулялись пешком. Я ответил, что это наилучший вариант.

И ночь прошла на диво спокойно. Заснул, едва голова коснулась подушки, и мне не снилась Соня д'Амико, летящая вниз на фоне горящего здания, прижимающая руками юбку к бедрам, как стюардесса, которой хотелось упасть в воду.

Когда на следующий день мы шли по Восемьдесят шестой улице, я спросил Полу, где она была, когда услышала об этом.

— В Сан-Франциско, — ответила она. — Крепко спала в люксе отеля «Рэдлинг» рядом с Эдуардом, который, как обычно, храпел. Я возвращалась в Нью-Йорк двенадцатого сентября, а Эдуард собирался в этот день в Лос-Анджелес на какое-то совещание. Администрация отеля включила пожарную тревогу.

— Должно быть, вы чертовски перепугались.

— Естественно, но я первым делом подумала не о пожаре, а о землетрясении. А потом из динамиков громкой связи раздался голос, сообщивший нам, что в отеле пожара нет, зато в Нью-Йорке пожар очень большой.

— Господи...

— Услышать все это, лежа в постели в незнакомой комнате... осознать, что он раздается с потолка, будто голос Бога... — Она покачала головой. Губы сжала так плотно, что две полоски помады практически исчезли. — Это было очень страшно. Конечно, я понимаю, администрация «Рэдлинга» хотела как можно быстрее сообщить постояльцам отеля о случившемся, но не могу полностью простить их за выбранный способ. Не думаю, что когда-нибудь вновь остановлюсь в этом отеле.

— Ваш муж улетел в Лос-Анджелес на совещание?

— Его отменили. Как я понимаю, в тот день отменили многие совещания. Мы оставались в постели и смотрели телевизор, пока не взошло солнце, стараясь хоть немного прийти в себя. Вы понимаете, о чем я?

— Да.

— Размышляли, кто из наших знакомых мог там оказаться. Полагаю, об этом говорили не мы одни.

— Кого вспомнили?

— Брокера из «Шиерсон, Леман» и помощника менеджера из книжного магазина «Бордерс» в торговом центре. С одним ничего не случилось. Второй... ну, вы понимаете, где оказался второй. А что вы можете сказать про себя?

Юлить мне не пришлось. Мы еще не подошли к ресторану, а я выложил главное.

— Я мог быть там, — ответил я. — Должен был. Я там работал. В страховой компании, которая располагалась на сто десятом этаже.

Она остановилась, посмотрела на меня широко раскрывшимися глазами. Должно быть, люди, которым приходилось нас обходить, принимали нас за влюбленных.

— Скотт, нет!

— Скотт, да, — ответил я.

И наконец-то рассказал, как проснулся утром одиннадцатого сентября, ожидая, что день пройдет как обычно, начиная с чашки кофе, которую я выпивал в ванной, пока брился, и заканчивая чашкой какао, которую я выпивал, смотря полуночный выпуск новостей по Тринадцатому каналу. День как день, вот о чем я думал. И, скажу вам, все американцы полагали, что имеют право на такую мысль. А что произошло потом? Этот самолет! Врезающийся в небоскреб! Ха-ха, говнюк, подшутили-то над тобой, и полмира смеется!

Я рассказал ей, как выглянул в окно в семь утра и увидел, что на небе ни облачка, а само оно синее и уходящее так высоко, что сквозь него чуть ли не видны звезды. А потом рассказал про голос. Думаю, все слышат различные голоса в голове, так что мы к ним привыкли. Когда мне было шестнадцать, один из моих голосов предположил, что я смогу получить более острое наслаждение, спустив в трусики моей сестры. «У нее тысяча трусиков, и она точно не хватится одной пары, будь спок», — уверенно заявил голос (конечно же, я не признался в этом Поле Робсон). Это был голос крайней безответственности, который я обычно называл «мистер Забей-на-все».

— Мистер Забей-на-все? — переспросила Пола.

— Как Джеймс Браун*, король соула.

— Поверю вам на слово.

* Джеймс Браун (р. 1928) — известный американский певец, которого в 1970-е называли «голосом черной Америки». В его песнях поднимались проблемы, которых большинство опасалось касаться. Так что иногда его называли «мистер Положи-на-всех».

Мистер Забей-на-все говорил со мной все реже и реже после того, как я бросил пить, а в тот день вдруг проснулся от спячки, чтобы произнести аж дюжину слов, но эти слова изменили мою жизнь. Спасли мою жизнь.

Первые шесть я услышал, сидя на краю кровати: «Ты можешь сказать больным, почему нет?» Следующие шесть, когда шел к душу, почесывая левую ягодицу: «А потом пройти по Центральному парку!» Ничего сверхъестественного не произошло. Это был голос мистера Забей-на-все — не Бога. Вариация моего собственного голоса (как и все остальные голоса), убеждающего меня прогулять работу. «Ради Бога, проведи этот день в свое удовольствие!» Последний раз я, насколько помнил, слышал этот мой голос, когда участвовал в конкурсе караоке в баре на Амстердам-авеню: «Ты же споешь с Нейлом Даймондом*, идиот. Быстро поднимайся на сцену и покажи, на что способен!»

— Кажется, я знаю, о чем вы. — Она чуть улыбнулась.

— Правда?

— Ну... я однажды сняла блузку в баре Ки-Уэста и выиграла десять долларов, станцевав под «Кабацких женщин» Тины Тернер. — Она помолчала. — Эдуард не знает. А если вы ему расскажете, мне придется ткнуть вам в глаз его заколкой для галстука.

— Ну, вы и даете, девушка, — ответил я, и вот тут она улыбнулась во весь рот. И сразу стала гораздо моложе. А я подумал, что, возможно, не зря все это затеял.

Мы вошли в «Гриль Дональда». Дверь украшала картонная индейка, зеленую кафельную стену — картонные пилигримы.

— Я прислушался к мистеру Забей-на-все, и теперь я здесь. Но кроме меня, здесь еще некоторые вещи, и я ничего не могу с этим поделать. Вещи, от которых я не могу избавиться. Об этом я и хочу с вами поговорить.

* Нейл Даймонд — известный американский музыкант, певец и композитор.

— Позвольте повторить, я не психоаналитик. — По голосу чувствовалось, что ей неловко. И улыбка исчезла бесследно. — Я защитила диплом по немецкому языку и изучала историю Европы.

«У вас с мужем всегда найдется тема для разговора», — подумал я. Но озвучил другое:

— У меня нет необходимости поговорить именно с вами. Мне просто нужно поговорить, все равно с кем.

— Понимаю, — кивнула она. — Но и вы должны представлять себе, на что можете рассчитывать.

Подошел официант, мы заказали напитки, она — кофе без кофеина, я — обычный.

— Вот одна из этих вещей. — Я достал прозрачный пластмассовый кубик со стальным центом внутри и поставил на стол. Потом рассказал о других вещах и об их владельцах. О Кливе «Бесбол ошен-ошен хорош для меня» Фаррелле. О Морин Ханнон, которая носила длинные распущенные волосы как символ своей незаменимости для компании. О Джимми Иглтоне, который нюхом чуял ложные страховые случаи, и Пердучей подушке, которую держал в столе до разгара очередной корпоративной рождественской вечеринки. О Соне д'Амико, лучшем бухгалтере компании «Лайт и Белл», которая получила Лолитины очки в подарок от первого мужа после бурного бракоразводного процесса. О Брюсе Повелителе мух Мейсоне, который так и стоит перед моим мысленным взором без рубашки, на Джонс-Бич, и дует в свою раковину, тогда как волны накатывают на его босые ноги. О последнем из нас, Мише Бризински, с которым я ходил как минимум на десяток бейсбольных матчей. Я рассказал ей о том, как бросил все вещи, за исключением куклы Панча, в мусорный контейнер на углу Парк-авеню и Семьдесят пятой улицы, как они раньше меня вернулись в мою квартиру, возможно, потому, что я заглянул в китайский ресторан за второй порцией «Генерала Цзо». И все это время кубик из прозрачной пластмассы стоял на столике

между нами. Но мы смогли что-то съесть из заказанного ленча, несмотря на его суровый вид.

Когда я закончил рассказ, мне заметно полегчало. Но на ее половине столика царило давящее на меня молчание.

— Вот так, — попытался я его разогнать. — И что вы на это скажете?

Она какие-то мгновения обдумывала мой вопрос.

— Думаю, теперь мы не незнакомцы, какими были раньше, — наконец ответила она, — и обрести нового друга не так уж плохо. Я рада, что узнала о мистере Забей-на-все, и тому, что рассказала вам о своих выходах.

— Я тоже рад.

— А теперь вы позволите задать два вопроса?

— Разумеется.

— Насколько сильно вы чувствуете вину выжившего?

— Если не ошибаюсь, вы не психоаналитик. Ваши слова.

— Не психоаналитик, но я читаю журналы и даже смотрю Опру. Мой муж знает, что смотрю, но я стараюсь этим не козырять. Так... насколько сильно?

Теперь уже я задумался. Она задала хороший вопрос... и, само собой, я пытался ответить на него не одну из бессонных ночей.

— Это сильное чувство. И, не буду скрывать, оно сочетается с безмерным облегчением. Если бы мистер Забей-на-все был реальным человеком, ему больше бы не пришлось платить в ресторане. По крайней мере в тех случаях, когда он приходил туда в моей компании. — Я помолчал. — Вас это шокирует?

Она наклонилась над столом, коснулась моей руки.

— Абсолютно нет.

И от этих слов настроение у меня улучшилось еще больше. Я быстро сжал ее руку, отпустил.

— А какой ваш второй вопрос?

— Насколько для вас важно, чтобы я поверила в историю об этих возвращающихся вещах?

Я подумал: блестящий вопрос — пусть даже кубик из прозрачной пластмассы все это время стоял рядом с сахарницей. Такие вещи, в конце концов, не редкость. И я подумал, что она скорее всего преуспела бы в жизни, защитив диплом по психологии, а не по немецкому.

— Не так важно, как мне казалось час назад. Мне стало легче только от того, что я вам все рассказал.

Она кивнула и улыбнулась:

— Хорошо. А вот моя лучшая версия: кто-то, вероятно, повел с вами какую-то игру. Не очень хорошую.

— Подшучивает надо мной... — Я старался не показать разочарования. Может, вуаль неверия окутывает людей при определенных обстоятельствах, защищает их. А может... даже вероятно... мне не удалось передать ощущение того, что это имело место быть. До сих пор имеет место. Накрыло меня как лавиной.

— Подшучивает над вами, — кивнула она. И тут же добавила: — Но вы в это не верите.

Что ж, я не мог отказать ей в проницательности.

— Я запер дверь, когда выходил из квартиры, и она была заперта, когда я вернулся из «Стэплс», — слышал, как щелкнул замок. Громко. Характерным звуком.

— И однако вина выжившего проявляется самым странным образом. И если верить журналам, оказывает мощное воздействие на человека.

— Это... — «Это не вина выжившего» — вот что хотел я сказать, но вовремя понял, что слова неправильные. У меня сохранялся шанс обрести нового друга, а новый друг — это хорошо, как бы ни сложилось все остальное. Поэтому я подкорректировал ответ: — Не думаю, что это вина выжившего, — указал на пластмассовый кубик. — Он здесь, не так ли? Как и очки Сони. Вы его видите. Я тоже. Полагаю, я мог бы купить его сам, но...

— Не думаю, что вы это сделали. Но не могу согласиться и с версией, будто между реальностью и Сумеречной зоной открылся лючок и из него вывалились вот эти вещи.

Да, проблема... Пола автоматически отсекала версию сверхъестественного появления вещей в моей квартире, не смотря на факты, эту версию подтверждающие. Так что предстояло решить, что мне нужно больше — переубеждать ее или обрести друга.

Я пришел к выводу, что переубеждение не главное.

— Ладно. — Я заметил ожидающий взгляд официанта и знаком показал, что нам нужен счет. — Я могу принять ваше неприятие.

— Можете? — Она пристально смотрела на меня.

— Да. — Я считал, что говорю правду. — Если время от времени мы будем вместе выпивать по чашечке кофе. Или просто здороваться в вестибюле.

— Естественно.

Она отвечала рассеянно, потому что мысленно в разговоре уже не участвовала. Смотрела на кубик из прозрачной пластмассы со стальным центом внутри. Потом глянула на меня. И я увидел, как осветилось ее лицо, совсем как в мультфильме. Она протянула руку, схватила кубик. Едва ли я смогу описать глубину ужаса, который почувствовал в тот момент, когда она это сделала, но что я мог сказать?.. Мы, два жителя Нью-Йорка, сидели в чистеньком, ярко освещенном месте. Со своей стороны она уже установила базовые правила, и они жестко исключили сверхъестественное. Его вынесли за пределы наших отношений. О нем не могло быть и речи.

Но в глазах Пола вспыхнул огонь. Огонь этот говорил о том, что мистер Забей-на-все находится в доме, а я знал по собственному опыту, как трудно противостоять его голосу.

— Отдайте это мне. — Пола улыбнулась. И я увидел, впервые, право слово, что она не только красивая, но и сексуальная.

— Зачем? — Как будто я не знал.

— Пусть это будет мой гонорар за то, что выслушала вашу историю.

— Не знаю, хорошая ли это...

— Да. — Ее действиями руководило наитие свыше, а в подобных ситуациях люди не принимают отрицательного ответа. — Блестящая идея. Я приму необходимые меры, и по крайней мере этот сувенир не убежит к вам, виляя хвостом. У нас в квартире есть сейф. — И она разыграла очаровательную пантомиму, показывая жестах, как закрывает дверцу сейфа, набирает комбинацию, поворачивает ключ, вынимает его из замочной скважины, а потом выбрасывает через плечо.

— Хорошо, — кивнул я. — Это мой подарок.

В эту минуту я испытывал злорадство. Считайте, то был голос мистера Что-ж-вы-сами-во-всем-убедитесь. Вероятно, одного лишь рассказа оказалось недостаточно, чтобы снять камень с души. Она мне не поверила, и как минимум какая-то часть меня хотела, чтобы мне поверили, и обижалась на Полу за то, что не получила желаемого. Эта часть знала: позволить ей взять кубик из прозрачной пластмассы — абсолютно кошмарная идея, но все равно радовалась, глядя, как Пола убирает кубик в сумочку.

— Вот, — подвела она итог. — Мама говорит: бай-бай, гулянье закончилось. Может, если он не появится через неделю или две — полагаю, все зависит от того, насколько упорным окажется ваше подсознание, — вы сможете раздать остальные вещи.

Эти слова стали настоящим подарком, который я получил от нее в тот день, хотя тогда этого не знал.

— Возможно, — ответил я и улыбнулся. Широкой улыбкой, предназначенной для моего нового друга. Широкой улыбкой, предназначенной для красивой женщины. И при этом думал: «Вы сами во всем убедитесь».

Такие вот дела.

Она убедилась.

Тремя вечерами позже, когда я слушал Чака Скарборо, объяснявшего в шестичасовом выпуске новостей причины пробок, которые в последнее время парализовали город, в дверь позвонили. Поскольку по домофону никто не просил-

ся войти, я предположил, что принесли какую-нибудь посылку — может, Рейф принес что-то доставленное «Федерал экспресс». Я открыл дверь. На пороге стояла Пола Робсон.

Совсем не та женщина, с которой я сидел за столиком в «Гриле Дональда». Нет, ко мне пришла другая Пола — скажем, миссис Ну-до-чего-ужасна-эта-химеотерапия. Косметикой она не воспользовалась, лишь чуть тронула помадой губы, так что кожа обрела болезненный желтовато-белый оттенок. Под глазами появились темные коричневато-лиловые мешки. Возможно, она попыталась причесаться, прежде чем спуститься с пятого этажа, но пользы это не принесло. Волосы напоминали солому и торчали во все стороны, как в комиксах, и при иных обстоятельствах могли даже вызвать улыбку. Кубик из прозрачной пластмассы она держала на уровне груди, и у меня появилась возможность лицезреть, что и от ухоженных ногтей остались одни воспоминания. Она их изгрызла, и изгрызла быстро. А первой, прости Господи, у меня мелькнула мысль: «Да, она во всем убедилась».

Кубик она протянула мне:

— Возьмите его.

Я молча взял.

— Его звали Роланд Абельсон. Не так ли?

— Да.

— У него были рыжие волосы.

— Да.

— Он не был женат, но выплачивал деньги на содержание ребенка женщине в Рауэе.

Я этого не знал. Уверен, что не знал никто в «Лайт и Белл». Но снова кивнул, и не только для того, чтобы она продолжала говорить. Я не сомневался в ее правоте.

— Как ее звали, Пола? — Я еще не представлял, почему спрашиваю, но чувствовал, что должен знать.

— Тоня Грегсон. — Она отвечала словно в трансе. И что-то стояло в ее глазах, такое ужасное... я с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд. Тем не менее я запомнил — Тоня Грегсон, Рауэй. А потом добавил про себя, словно человек,

проводящий инвентаризацию кладовой: «Один кубик из прозрачной пластмассы с центом внутри».

— Он пытался заползти под стол, вы это знаете? Вижу, что нет. Его волосы горели, и он плакал. Потому что в тот момент понял, что никогда не сможет купить катамаран и больше не выкосит лужайку перед домом. — Она коснулась моей щеки. Интимность этого жеста могла бы шокировать, не будь ее руки такими холодными. — И в конце своей жизни он отдал бы каждый цент, каждый принадлежащий ему опцион на акции только за то, чтобы еще раз выкосить лужайку перед домом. Вы в это верите?

— Да.

— Помещение наполняли крики, он чувствовал запах авиационного керосина и понимал, что пришел его смертный час. Вы понимаете? Осознаете чудовищность всего этого?

Я кивнул. Не мог говорить. Не заговорил бы даже под дулом пистолета.

— Политики тараторят о мемориалах, храбрости, войнах с терроризмом. — Печальная улыбка тронула ее губы. Лишь на секунду. — Он старался заползти под стол. С горящими волосами. Под столом лежала какая-то пластиковая подстилка, как там его называют...

— Мат.

— Да, пластиковый мат. Он ощущал ребра пластика и запах своих горящих волос. Вы это понимаете?

Я кивнул. Заплакал. Мы говорили о Роланде Абельсоне, человеке, с которым я работал. Он трудился в отделе задолженностей, поэтому я его практически не знал. Мы с ним просто здоровались при встрече. Так что я понятия не имел о женщине и ребенке в Рауэе. И если бы не прогулял в тот день работу, мои волосы наверняка тоже горели бы. И по-настоящему до меня это дошло только теперь.

— Я больше не хочу вас видеть. — Она вновь печально улыбнулась. По щекам, как и у меня, катились слезы. — Меня не волнуют ваши проблемы. Меня не волнует дерь-

мо, которое вы раскопали. Между нами все кончено. С этой минуты оставьте меня в покое. — Пола начала поворачиваться, но вновь посмотрела на меня. — Они сделали это во имя Бога. Но никакого Бога нет. Если бы был Бог, мистер Стейли, он бы поразил их всех в галерее вылета, где они сидели с посадочными талонами в руках, но Бог этого не сделал. И когда объявили посадку, эти сволочи поднялись на борт самолетов.

Я наблюдал, как она идет к лифту. С очень прямой напряженной спиной. Волосы торчат во все стороны, совсем как у девчонки в мультяшном сериале «Воскресные забавы». Она больше не хотела меня видеть, и я ее не винил. Я закрыл дверь и посмотрел на стального Эйба Линкольна в кубике из прозрачной пластмассы. Смотрел долго. Думал о том, как бы запахли волосы его бороды, если бы генерал Грант подпалил ее своей сигарой. Неприятный пошел бы запахок. По телевизору кто-то говорил о распродаже матрасов в «Слипсис». А потом появился Лен Берман и принялся рассказывать об очередном матче «Джетс»*.

В ту ночь я проснулся в два часа, слушая шепот голосов. Мне не снились люди, которым принадлежали эти вещи, я не видел кого-либо с горящими волосами или прыгающим из окон, чтобы не попасть под горящий авиационный керосин. Да и с чего мне их видеть? Я и так знал, кто они, и все эти вещи они оставили мне. Я допустил ошибку, позволив Поле Робсон взять кубик из прозрачной пластмассы, но ошибка заключалась в том, что кубик предназначался не ей.

А если уж речь зашла о Поле, то один из голосов принадлежал ей. «Вы можете начать раздавать остальные вещи», — сказал он мне. А еще сказал: «Полагаю, все зависит от того, насколько упрямым окажется ваше подсознание».

Какое-то время я полежал и снова смог заснуть. Мне снилось, что я в Центральном парке, кормлю уток, когда вдруг

* «Нью-Йорк джетс» — профессиональная футбольная команда, входящая в восточное отделение Американской конфедерации.

раздался громкий шум, словно надо мной пронеслась звуковая волна, а небо заполнил дым. И дым этот, в моем сне, пах горящими волосами.

Я подумал о Тони Грегсон в Рауэе, Тони и ребенке, у которого могли быть, а могли и не быть глаза Роланда Абельсона, и пришел к выводу, что с этим можно повременить. А начать решил с вдовы Брюса Мейсона.

На электричке доехал до Доббс-Ферри, там взял такси, которое быстренько доставило меня к коттеджу «Кейп-Код»* на тихой улочке. Я дал таксисту деньги, попросил подождать, долго задерживаться не собирался, и нажал на кнопку звонка. Одной рукой прижимал к боку коробку, в каких обычно приносят из булочной кекс.

Мне пришлось нажать на кнопку только один раз, потому что я предупредил о приезде телефонным звонком и Джейнис Мейсон меня ждала. Историю я сочинил заранее и рассказал довольно уверенно, понимая, что такси, ожидающее на подъездной дорожке с включенным счетчиком, не позволит хозяйке задавать очень уж много вопросов.

— Восьмого сентября, — сказал я, — в последнюю пятницу перед случившимся, я попытался исторгнуть из раковины, которую Брюс держал в столе, те самые звуки, что слышал в исполнении Брюса на пикнике на Джонс-Бич (Джейнис, супруга Повелителя мух, кивнула; она тоже была на том пикнике). Получилось у меня не очень, и я убедил Брюса дать мне раковину на уик-энд потренироваться. А в понедельник утром, когда я проснулся, из носа текло как из сломанного крана и ужасно болела голова. — Эту историю я уже рассказывал нескольким людям. — Я пил горячий чай, когда услышал: «Бум!» — и увидел поднимающийся дым. А о раковине и думать забыл. Но на этой неделе прибирался в маленьком чулане для хозяйственных принадлежностей и наткнулся на нее. И подумал... ну, это, конечно, не такой уж хороший су-

* Коттедж «Кейп-Код» — одноэтажное деревянное строение под двухскатной крышей, с массивной каминной трубой и полуподвалом.

венир, но я все-таки подумал, может, вам хочется... вы понимаете...

Ее глаза наполнились слезами, точно так же как мои, когда Пола принесла мне «пенсионный фонд» Роланда Абельсона. Только эти слезы не сопровождались испугом, который, несомненно, читался на моем лице, когда я увидел перед собой Полу с торчащими во все стороны волосами. Джейнис сказала мне, что любая память о Брюсе ей в радость.

— Я не могу простить себе наше расставание в то утро. — Коробка уже перекочевала в ее руки. — Он всегда уходил очень рано, чтобы успеть к поезду. Поцеловал меня в щеку, а я открыла один глаз и попросила его привезти pintу разбавленных сливок. Брюс пообещал. Это были его последние обращенные ко мне слова. Когда он просил меня выйти за него замуж, я чувствовала себя Еленой Троянской. Глупо, но это чистая правда. И я очень жалею, что на прощание сказала ему: «Привези pintу разбавленных сливок», — а не что-то другое. Но мы поженились очень давно, а тот рабочий день не отличался от остальных, и... мы не могли этого знать, не так ли?

— Да.

— Не могли. Каждое прощание может оказаться последним, а мы этого не знали. Спасибо вам, мистер Стейли. За то, что приехали и привезли раковину. Вы очень добры. — Она чуть улыбнулась. — Помните, как он стоял на берегу без рубашки и дул в нее?

— Да.

Я смотрел на коробку в ее руках. Знал, что позже она сядет, достанет раковину, положит на колени и заплачет. И насколько не сомневался в том, что по крайней мере раковина никогда в мою квартиру не вернется. Она добралась до дома.

Я вернулся на станцию, на электричке поехал в Нью-Йорк. Вагоны в это время дня, чуть позже полудня, практически пустовали. Я сидел у грязного окна, смотрел на реку и на силуэты небоскребов на фоне неба. В облачные и дождли-

вые дни человек всегда рисует эти силуэты в своем воображении, собирая их по кусочкам.

Завтра я собирался поехать в Рауэй, захватив с собой кубик из прозрачной пластмассы с залитым в него центом. Возможно, ребенок возьмет кубик в ручку и начнет с интересом рассматривать. В любом случае кубик уйдет из моей жизни. Я подумал, что сложнее всего будет избавиться от Пердучей подушки Джимми Иглтона. Я же не мог сказать миссис Иглтон, что взял подушку домой на уик-энд, чтобы потренироваться, не так ли? Но необходимость — мать изобретательности, и я знал, что в конце концов сочиню какую-нибудь более или менее удобоваримую историю.

Мне приходила в голову мысль о том, что со временем в моей квартире могут появиться и другие вещи. И я вам солгу, если скажу, что нахожу такой поворот событий совсем уж неприятным. Когда дело доходит до возвращения вещей, которые людям казались потерянными навсегда, вещей, которые можно подержать в руках, тот, кто их возвращает, внакладе не остается. Даже если это маленькие вещи вроде шутовских очков или стального centa в кубике из прозрачной пластмассы... Да, надо признать, в этом есть свои плюсы.

После выпускного

Дженис никак не удавалось подобрать верное определение месту, где жил Бадди. Для дома слишком роскошно, на поместье не тянет. Чего стоит одно название на въезде! «Огни гавани» — словно рыбный ресторанчик в Нью-Лондоне. Правда, до сих пор Дженис выкручивалась, обходясь нейтральным «к тебе»: «Поехали к тебе, в теннис поиграем», «Заскочим к тебе, искупаемся».

А имечко, размышляла Дженис, наблюдая, как он пересекает лужайку в направлении бассейна. Кому понравится, что твоего бойфренда зовут Бадди? Но только обнаружив, что его настоящее имя Брюс, начинаешь понимать, как ты влипла.

С чувствами та же история. Дженис видела, как хочется Бадди услышать ее признание в день выпускного — подарок поценнее серебряного медальона, за который Дженис, стиснув зубы, выложила кругленькую сумму — но не могла себя пересилить. Всего-то и нужно сказать: «Я люблю тебя, Брюс», но в лучшем случае (и то не без зубовного скрежета) Дженис отважилась бы на: «Ты мне страшно нравишься, Бадди». Фразочка из музыкальной комедии.

Graduation Afternoon

© Перевод. М. Клеветенко, 2010

— Ты правда не обиделась на нее? Не поэтому остаешься? — спросил он на прощание.

— Нет, просто хочу еще поиграть. И видом полюбоваться.

Полюбоваться и впрямь было на что. Дженис глядела и не могла наглядеться. С этой стороны дома был виден весь Нью-Йорк: игрушечные здания синели вдаль, солнце вспыхивало в верхних окнах небоскребов. Дженис подумала, что ощущение полнейшей безмятежности город производит только на расстоянии. Ей был по душе этот обман.

— Бабушка всегда такая, — сказал Бадди. — Что на уме, то и на языке.

— Можешь не объяснять, — ответила Дженис.

Ей нравилась Брюсова бабушка, не желавшая скрывать свое высокомерие. Они — Хоупы, прибывшие в Коннектикут с пуританским «Христовым воинством», ни больше ни меньше. У таких снобизм в крови. А кто она? Дженис Гандлевски, которой еще предстоит через две недели отметить свой выпускной в Фэрхейвене, когда Бадди с тремя друзьями отправятся штурмовать Аппалачи.

Дженис отвернулась к корзине с мячами — высокая и стройная, в джинсовых шортах, теннисных туфлях и эластичном топе. При каждом замахе она вытягивалась, привставая на цыпочки. Дженис была хорошенькой и знала себе цену, оценивая свою красоту со спокойной и уверенной деловитостью. Кроме того, она была умна и никогда об этом не забывала.

Девушкам из Фэрхейвена редко удавалось подцепить парня из Академии. Самое большее, на что они могли рассчитывать, — банальный перепихон на зимнем или весеннем карнавале, а Дженис удалось, пусть ее фамилия и оканчивалась на «левски» — довесок, неотвязно таскавшийся за ней точно гремющая пустая жестянка, привязанная к бамперу семейного седана. Ее трофей звался Брюсом Хоупом или просто Бадди.

Выходя с Бадди из игровой комнаты в цокольном этаже — остальные еще играли, так и не сняв квадратных академических шапочек, — они случайно услышали замечание бабушки, сидевшей с гостями. У взрослых был свой праздник, а выпускникам предстояло оттянуться по полной вечером. Сначала в «Зажигай» на двести девятнадцатом шоссе — родители Джимми Фредерика сняли бар целиком с условием, что после вечеринки никто и ни при каких обстоятельствах не сядет за руль, затем на пляже — под полной луной, шелестящей волной, танцуй со мной, детка, под полной июньской луной...

— Дженис-не-разбери-что! — пронзительно гаркнула бабушка безжизненным голосом глухой старухи. — Очень мила, не правда ли, хотя и не нашего круга. Последняя Брюсова пассия.

В тоне безошибочно угадывалось: «Пусть мальчик перебесится».

Дженис пожала плечами и послала еще несколько ударов — гибкие ноги, красивый замах. Мощные и точные броски неизменно достигали цели — корзины у дальнего края площадки.

Именно их непохожесть и то, что они все время учились друг у друга, сблизило Дженис и Бадди. Нельзя не признать, что Бадди оказался смышленным учеником. Он с самого начала относился к ней с уважением — на взгляд Дженис, чрезмерным, — но она быстро вправила ему мозги. А если учесть извечную нехватку места и времени — как всегда в молодости, когда юные тела внезапно и остро сознают свои потребности, — Бадди определенно делал успехи.

— Мы старались, как могли, — произнесла Дженис вслух, решив наконец искупаться вместе с остальными.

Пусть Бадди в последний раз увидит ее раздетой. Он считал, что впереди у них целое лето, после которого он отправится в Принстон, а она — в Стейт, но Дженис думала иначе. Она не сомневалась, что одна из целей его Аппалачских каникул — разлучить их безболезненно и бесповоротно. Наверняка замысел принадлежал не отцу Бадди — всегда бодрому

и радушному крепышу — и не бабушке, странным образом сумевшей внушить ей симпатию, несмотря на прямоту — *не нашего круга, последняя Брюсова пассия*, — а улыбчивой и расчетливой матери, до смерти боявшейся (это было написано на ее гладком красивом лбу), что какая-то девица с консервной банкой в фамилии залетит, а потом женит на себе ее ненаглядного сынка.

— А вот этого мы никак не можем допустить, — пробормотала Дженис, впихивая корзину с мячами в сарай и опуская щеколду.

Марси, ее подружка, морща нос, насмешливо вопрошала, что Дженис вообще нашла в этом Бадди? Чем вы там занимались все выходные? Пили чай в саду? В поло играли?

Они действительно посетили пару матчей. Том Хоуп до сих пор играл, хотя, как признался ей Бадди, если отец не скинет вес, этот сезон мог стать для него последним. Еще они занимались любовью, иногда жарко и страстно. А порой Бадди удавалось ее рассмешить. Не так уж часто — Дженис подозревала, что надолго его не хватит, — но до сих пор он справлялся.

Худошавый, с тонким профилем, Бадди решительно отказывался демонстрировать замашки богатого зануды. Кроме того, он готов был носить ее на руках, и это поднимало Дженис в собственных глазах.

Впрочем, Дженис не сомневалась, что со временем порода возьмет свое. Годам к тридцати пяти Бадди остепенится и вместо того, чтобы лизать ее киску, с головой уйдет в нумизматику или реставрацию колониальных кресел-качалок — занятие, которому предавался его отец в этом... гм... каретном сарае.

Она медленно брела по широкому газону, поглядывая на игрушечные здания, дремлющие в синеватой дымке. От бассейна неслись крики и плеск. Мать, отец и бабушка Брюса на свой лад — чаепитием — отмечали событие с избранными друзьями под крышей. Настоящую вечеринку их детки закаят вечером. Всем хватит выпивки и таблеток, из громадных

колонок будет пульсировать клубная музыка. Никакого старомодного кантри, на котором Дженис выросла. Не важно, она знает, где его искать.

На ее выпускной никто не станет устраивать грандиозных празднеств. Скорее всего друзья соберутся в ресторанчике тети Кей, а само торжество пройдет в куда менее славном своей историей и гораздо более скромно украшенном актовом зале. Однако Дженис верила, что ее ждет будущее, которое Бадди и не снилось. Она станет журналисткой. Начнет в университетской газете, а там посмотрим. Ступенька за ступенькой — лестница к успеху высока и крута. Впрочем, с ее внешностью и природной самоуверенностью рано или поздно она своего добьется. Нельзя сбрасывать со счетов удачу, и хотя Дженис хватало ума не слишком на нее полагаться, одно она знала твердо — удача любит дерзких и юных.

Дойдя до мощеного дворика, Дженис оглянулась. Обширная лужайка спускалась к двойному корту. Все вокруг выглядело дорого и внушительно — очень дорого и очень внушительно, но ведь Дженис было только восемнадцать. Когда-нибудь все это покажется ей мелким и заурядным, даже со скидкой на время. Эта вера заставляла ее мириться с *Дженис-не-разбери-что, не нашего круга, и последней пассивей Брюса*. Или Бадди. С его тонким профилем и недолговечным умением смешить ее в самое неподходящее время. Уж он-то никогда не позволял себе унижать Дженис. Наверняка догадывался, что она этого не потерпит.

Вместо того чтобы сразу пойти к бассейну и раздевалкам за домом, она еще раз оглянулась через левое плечо на далекий город, синеющий в предвечерней дымке. И даже успела подумать: «Когда-нибудь он станет моим домом», как над городом сверкнула чудовищных размеров молния, словно какое-то космическое божество испытало космических масштабов оргазм.

Джейн зажмурилась от яркости первой мощной вспышки. Небо на юге беззвучно полыхнуло алым. Бесформенное марево на миг поглотило здания, но они тут же проступили

вновь, уже мертвые, видимые словно через искажающее стекло. Секунду, десятую долю секунды спустя они исчезли навсегда, а на их месте, как на тысяче кинопленок, бурлило яростное кровавое месиво.

И тишина, мертвая тишина вокруг.

Мать Брюса вышла во дворик и, прикрыв глаза ладонью, встала рядом. На ней было новое голубенькое платье. Локоть касался локтя Дженис. Они стояли и смотрели, как пожирает синеву кровавый клубящийся гриб. Над краем гриба поднялся дымок — бордовый в лучах уходящего солнца — и тут же втянулся внутрь. Алое сияние слепило глаза, но Дженис не отводила взгляда. По щекам текли горячие ручьи, а она упрямо смотрела на юг.

— Что это? — спросила мать Брюса. — Если это шутка, то весьма безвкусная...

— Это бомба, — ответила Дженис и не узнала собственного голоса, пришедшего словно из другой жизни, с живых пастбищ у Хартфорда.

Алый гриб пузырился черными волдырями, постоянно менявшими его жуткие очертания: вот кот, вот собака, а вот Бобо — адский клоун гримасничает над тем, что когда-то было Нью-Йорком, а теперь стало плавильным горном.

— Ядерная бомба. И очень мощная, не какая-нибудь убогая карманная моделька...

Шлеп! Жар залил половину лица, слезы брызнули из глаз, голова дернулась. Мать Брюса залепила Дженис крепкую пощечину.

— Не смей так шутить! — приказала она. — Нашла над чем смеяться!

Во дворик высыпали смутные фигуры. То ли зрение Дженис повредила вспышка, то ли тучи закрыли солнце.

— Что за безвкусная ШУТКА! — На последнем слове голос сорвался на визг.

— Это спецэффекты, иначе мы услышали бы... — начал кто-то.

И тут их настиг звук: как будто громадный валун катился, набирая скорость, по склонам бездонного каменистого ущелья. В окнах на южной стороне дома задрожали стекла, стремительная птичья эскадрилья взмыла с веток. Гул, словно нескончаемый сверхзвуковой хлопок, заполнил все вокруг.

Дженис видела, как бабушка Брюса бредет к гаражу — зажав уши ладонями, опустив голову, согнув спину, выпятив зад — ни дать ни взять, дряхлая ведьма в изгнании. На спине у нее что-то болталось, и Дженис не удивилась, разглядев, насколько позволяли остатки зрения, слуховой аппарат.

— Я хочу проснуться, — требовательно и капризно протянул кто-то рядом. — Дайте мне проснуться! Хватит уже!

Там, где девяносто секунд назад был Нью-Йорк, торжественно клубясь, высился темно-багровый ядовитый гриб, прожегший дыру в этом закате, во всех закатах, которым никогда уже не случиться.

Задул горячий ветер. Он лохматил волосы, поднимал их над ушами — и неумолчный скрежещущий вой становился все громче. Дженис подумала о теннисных мячиках, приземлившихся так близко, что при желании можно сложить их в одну жаровню. Так она написала бы, у нее талант. Был.

Она думала о путешествии, в которое Брюс с друзьями никогда не отправятся. О несостоявшейся вечеринке в «Зажи-гай», о Джей-Зи, Бейонсе и «Зе Фрей», которых им больше не слушать. Невелика потеря. Затем Дженис вспомнила о песенках в стиле кантри, под которые отец катит с работы в своем пикапе. Так-то лучше. Она будет думать о Пэтси Клайн и Скитере Дэвисе — еще немного, и она заставит свои полуслепшие глаза не смотреть.

Н.

1. Письмо

28 мая 2008

Дорогой Чарли!

Называть тебя вот так, по имени, одновременно и странно, и правильно. Когда мы виделись в последний раз, мне было почти вполонину меньше лет... Жутко влюбленной в тебя тогда девчонке было шестнадцать. Знал ли ты о моих чувствах? Ну конечно, знал. Сейчас я замужем, у меня растет малыш, мальчик; я счастлива. Не пропускаю ни одной твоей передачи о здоровье на Си-эн-эн. Ты все такой же красавчик (ну, почти), что и в дни былой юности, когда мы втроем ходили на рыбалку или в кино, во фрипортский «Рейлроуд».

Ах, где они, те летние денечки? Ты да Джонни, неразлучные друзья, и я таскаюсь за вами хвостиком, если не гонят. Надоедала вам, наверное, жутко. Вот ты прислал соболезнования, и мне все это вспомнилось. Как же я рыдала! Не толь-

Н.

© Перевод. С. Лобанов, 2010

ко по Джонни; скорее по всем нам троим. И по тем дням, когда жизнь была легка и незамысловата. И перед нами лежал весь мир.

Ты, конечно, натолкнулся на его некролог. «Смерть в результате несчастного случая...» Какие темные грехи прячутся порой под этим канцеляризмом! В новостях сказали, что Джонни упал. Да, упал, причем в прекрасно известном нам месте; как раз под Рождество Джонни спрашивал о нем. Несчастный случай? Нет. У него в крови обнаружилось немало успокоительного. Доза далеко не смертельная, правда, как сказал коронер, вполне достаточная, чтобы нарушить координацию движений, особенно если человек перегнется через перила. А затем — «несчастный случай».

Но я-то знаю: это было самоубийство.

Записки не нашли ни дома, ни на трупе. Думаю, он просто не хотел нас травмировать. Ты ведь и сам врач, ты знаешь, что уровень самоубийств среди психиатров чрезвычайно высок. Не оставляет мысль, что горести и жалобы пациентов, словно кислота, разъедают какую-то душевную, психическую защиту врача. В большинстве случаев этой защиты вполне хватает, чтобы не свихнуться. Хватило ли ее Джонни? Полагаю, нет. И виной всему один необычный пациент.

Последние два или даже три месяца своей жизни брат почти не спал. Какие жуткие черные круги проступили под глазами! От практики он полностью отказался, куда-то надолго уезжал. Никогда не рассказывал куда, я только догадываюсь. Об этом ты узнаешь из документов в конверте. Взгляни на них, когда дочитаешь письмо. Знаю, ты очень занятой человек; просто (если только это поможет!) представь, что оно — от влюбленной девчонки, которой я когда-то была. Девчонки с туго затянутым на затылке и все-таки вечно растрепанным «хвостиком»; везде покорно плетущейся за тобой девчонки.

Джонни работал без партнеров, хотя и поддерживал отношения еще с двумя «мозгоправами» в последние четыре года своей жизни. Папки с карточками и историей болезни

текущих пациентов после его смерти достались одному из них. Я имею в виду папки из его приемной, на работе. Убирая в кабинете дома, я натолкнулась на небольшую рукопись, которую и прилагаю. Там запись истории болезни пациента, чье имя обозначено лишь буквой «Н». Я видела, как Джонни вел рабочие записи, причем видела неоднократно (нет, я не сую нос в чужие дела, просто папка лежала на столе), так что могу сказать уверенно — *эта* папка отличается от остальных. Во-первых, Джонни вел записи об Н. не на работе: на папке даже нет названия, а внизу обложки отсутствует красная наклейка «конфиденциально». К тому же на всех страницах едва заметная полоска тонера — такая остается только от его домашнего принтера. Есть еще кое-что; ты увидишь, развернув бандероль. Большие печатные буквы поставлены его размашистым почерком: «ЭТО СЖЕЧЬ». Я чуть было так и не поступила, подумала (прости, Господи!), что он припрятал там наркотики или какую-нибудь извращенную порнографию из Интернета. Но в конце концов во мне выиграла дочь Пандоры.

Будь она проклята.

Чарли, я уверена: мой брат собирался написать книгу. Что-нибудь интересное и не заумное, в духе Оливера Сакса. Судя по рукописи, он сначала интересовался навязчивым неврозом. Добавив в общую картину его самоубийство (если, конечно, это самоубийство), видишь, что интерес объясняется старым изречением: «Врачу, исцелися сам!»

Пишу тебе потому, что рассказ Н. и бессвязные записи брата беспокоят меня. Сильно ли беспокоят? Достаточно, чтобы переслать эту рукопись (кстати, экземпляр единственный, я ничего не копировала) тебе, другу, с которым Джонни не виделся десять лет, а я — целых четырнадцать. Поначалу хотелось опубликовать рукопись. Книга могла бы стать памятником брату.

Теперь я так не считаю. Понимаешь, сейчас я чувствую, что рукопись *оживла*, хотя такая «*жизнь*» страшнее смерти. Там, к слову, упоминаются известные мне места (да и ты их

тоже знаешь; поле, о котором говорит Н., по словам Джонни, находится где-то поблизости от нашей школы). Взявшись за чтение, я все больше и больше хочу найти это место. Не потому, что игнорирую предупреждения в рукописи, нет. Скорее я уже не могу ей сопротивляться. И если это не навязчивая идея, то что тогда навязчивая идея?!

Боюсь, ничего хорошего эти поиски не принесут.

Никак не могу отделаться от мыслей о смерти Джонни, и не только потому, что он был моим братом. Теперь и мысли о рукописи не оставляют. Знаешь, прочитай ее. Прочитай и скажи, что ты о ней думаешь. Спасибо, Чарли. Надеюсь, я не слишком сильно помешала. Если все же надумаешь исполнить просьбу Джонни и сжечь ее, я и слова не скажу против.

С любовью,
«Младшая сестренка» Джонни Бонсана,
Шейла Бонсан Леклер
Лисбон-стрит 964
Льюистаун, Мейн, 04240
P.S. Ах, как жутко я была в тебя влюблена!..

2. История болезни

1 июня 2007 года

Н. сорок восемь лет, он совладелец крупной бухгалтерской фирмы в Портленде, разведен, отец двух дочерей. Одна учится в аспирантуре в Калифорнии, другая — студентка-первокурсница здесь, в Мейне. Отношения с бывшей женой описывает как «отдаленно-дружелюбные».

О себе говорит так:

— Я знаю, что выгляжу старше сорока восьми. Это все оттого, что не могу заснуть. Я уже и амбиен пробовал, и эти, как их... с зеленым мотыльком на коробке. Меня от них лишь шатает как пьяного.

Спрашиваю, долго ли он мучается бессонницей. Отвечает, не раздумывая:

— Десять месяцев.

Интересуюсь, бессонница ли вообще привела его ко мне. Улыбается, глядя в потолок. Обычно пациенты садятся в кресло, по крайней мере на первом посещении. Одна женщина сказала, что, представляя себя на кушетке, видит смехотворный персонаж комиксов из «Нью-Йоркера». Н. идет прямо к кушетке. Ложится и сплетает руки на груди.

— Мы ведь оба знаем ответ, доктор Бонсан, — неожиданно выдает он.

Прошу уточнить.

— Было бы дело только в мешках под глазами, я бы обратился к пластическому хирургу или к своему терапевту, который, кстати, вас и порекомендовал; вы, говорит, один из лучших специалистов. Так вот, у него бы я попросил что-нибудь посильнее амбиена или таблеток с зеленым мотыльком. Ведь должны быть и посильнее, да, доктор?

Оставляю без комментария.

— Я так понимаю, что бессонница — всегда симптом чего-то другого.

Отвечаю, что не всегда, хотя в большинстве случаев это правда. И добавляю, что, если есть еще какая-то причина, бессонница редко бывает единственным симптомом.

— Ну конечно, у меня есть и другие, — отвечает. — Целая куча симптомов. Обратите внимание, например, на мою обувь.

Обращаю внимание на его обувь. Тяжелые шнурованные ботинки. Причем на левом — узел сверху, а на правом — снизу. Сообщаю, что все это крайне занимательно.

— Да, — соглашается, — в мои школьные годы девочка завязывала кеды снизу, если встречалась с мальчиком, ну или если какой-то мальчик ей нравился, и она хотела с ним встречаться. Так было принято.

Спрашиваю, не встречается ли он с кем-то. Думаю, может, это хоть чуть-чуть разрядит обстановку — по движениям

видно, он очень напряжен. Костяшки пальцев сплетенных рук побелели, словно Н. боится, что те улетят, если не приложить усилий и не удержать их. Пациент не смеется. Даже не улыбается.

— Я немного староват для девушек; это пройденный этап моей жизни. Правда, я тоже кое-чего хочу. — Молчит, раздумывая. — Я пробовал завязывать оба шнурка внизу. Не помогло. А вот когда один сверху, другой — снизу, помогает. — Он высвобождает правое запястье из мертвой хватки левого и поднимает правую руку. Большой палец почти касается указательного: — Вот настолечко.

Спрашиваю, чего же он хочет.

— Вернуть утраченный рассудок. Пытаться вернуть его при помощи завязывания шнурков согласно правилам тайных знаков средней школы... пусть даже и подогнав их под нынешнюю ситуацию... вряд ли это можно назвать признаком психического здоровья, вы не находите? Психи должны обращаться за помощью. Если у них, конечно, осталась хоть капля здравого смысла. А я тшусь надеждой, что у меня она осталась. Вот потому-то я и пришел.

Опять сплетает руки и смотрит на меня с вызовом и испугом. А еще, по-моему, с облегчением. Воображаю, как Н. не спал ночами, пытался представить, что произойдет, когда он признается психиатру в своих опасениях. И вот он все рассказал, а я не выбежал с визгом из комнаты и не вызвал людей в белых халатах. Некоторые пациенты всерьез считают, что тут за дверью затаилась целая дружина в белых халатах, вооруженная сачками и смирительными рубашками.

Прошу Н. объяснить, в чем, по его мнению, проявляется его психическое расстройство; тот лишь пожимает плечами.

— Да примеров-то полно. Как обычно ведут себя люди с навязчивым неврозом? Вы слышали такие истории сотни раз. Я пришел сюда, чтобы разобраться с причиной. С тем, что случилось в августе прошлого года. Я подумал, может, вы гипнозом выбьете эти воспоминания.

Он смотрит с надеждой, а я объясняю, что, хотя нет ничего невозможного, гипноз действует значительно лучше как помощь в воспоминаниях, нежели как способ их утратить.

— Ясно, — отвечает он. — Не знал об этом. Вот черт.

Он вновь смотрит на потолок. По лицу видно, силится что-то сказать. Или это уже мое воображение разыгралось?

— Это ведь, знаете ли, может здорово навредить. — Он замолкает на мгновение. Лицевые мышцы продолжают двигаться. — То, что со мной происходит, может здорово навредить. — Он вновь замолкает и продолжает: — Мне. — Снова пауза. — Может, даже другим.

Каждый сеанс терапии — это бесконечный выбор решений. словно развилки, разбегающиеся дороги, и никаких знаков. Здесь можно было бы спросить, что «с ним происходит». Я не задаю этого вопроса. Зато спрашиваю, о каких «примерах» идет речь — помимо по-разному завязанных шнурков, что, конечно, прекрасный пример (этого я вслух не говорю).

— Да вы и сами знаете, — говорит он и хитро так на меня смотрит, отчего становится неуютно.

Стараюсь не выдавать себя: он не первый пациент, который вызывает у меня дискомфорт. Психиатры — как спелеологи, а любой спелеолог вам скажет, что темные пещеры всегда полны летучих мышей и насекомых. Гадких, хотя в основном безвредных.

Настойчиво прошу просветить меня и не забывать, что мы только-только знакомимся.

— То есть пока еще не «встречаемся»?

Пока нет, соглашаюсь я.

— Ну, тогда нам лучше начать встречаться, — говорит он, — потому что я в желтой зоне, доктор Бонсан. И уже на границе с красной.

Спрашиваю, нет ли у него привычки все пересчитывать.

— Конечно, есть, — отвечает. — Пересчитываю слова в кроссвордах в «Нью-Йорк таймс»... а по воскресеньям пересчитываю дважды, потому что кроссворды больше, и перепроверка все *выравнивает*. И вообще, перепроверка необхо-

дима. Считаю свои собственные шаги. Количество гудков в телефонной рубке, когда кому-нибудь звоню. Обычно я хожу обедать в «Колониал дайнер», это в трех кварталах от офиса, а по дороге пересчитываю обувь черного цвета. На обратном пути — коричневую обувь. Я как-то раз попробовал считать красную. Пустое занятие, лишь время потратил. Только женщины носят красные туфли, да и то не все подряд. Во всяком случае, не днем. Я насчитал всего три пары, поэтому пришлось возвращаться к «Колониал дайнер» и начинать сначала; правда, на сей раз я считал коричневую обувь.

Спрашиваю, надо ли, чтоб успокоиться, насчитать какое-то определенное количество обуви.

— Тридцать — вполне достаточно. Пятнадцать пар. Как правило, удастся.

А зачем требуется определенное число?

Некоторое время он размышляет, потом храбро смотрит мне в глаза:

— Вот я сейчас отвечу: «Вы и так знаете», и опять требуется объяснять прописные истины. В смысле, вы с неврозом навязчивых состояний наверняка имели дело и раньше; я по нему тоже целое исследование провел — исчерпывающее! — и в голове, и в Интернете, поэтому не перейти ли нам к сути дела?

Я объясняю, что большинство невротиков стремятся к некой конкретной цифре, называемой «целевым числом». Без него нет порядка. Целевое число необходимо, чтобы мир, так сказать, продолжал вращаться на своей оси. Видно, что он согласен с таким объяснением, и его прорывает, словно обрушивается плотина:

— Однажды я считал обувь по дороге на работу и натолкнулся на человека с ногой, ампутированной до колена. Он стоял на костылях, а на культе торчал носок. Будь на нем черная обувь, я прошел бы мимо, потому что я *возвращался* в офис. На нем был коричневый ботинок, и это выбило меня из колеи на целый день. Той ночью я так и не заснул. Потому что нечетные числа *злы*, — он постукивает себя ладонью по

виску, — по крайней мере здесь. Остатки разума пытаются убедить меня, что все это чушь собачья. Зато есть и *другая* часть сознания, которая четко знает, что это не чушь. Эта часть и правит бал в моей голове. Логично предположить, что если в тот день не произошло ничего плохого (а кстати, произошло кое-что замечательное — без объяснений отменили налоговую проверку, которая нас так беспокоила), то примета не сбылась и злые чары рухнули. Нет, ничего не рухнуло. Я насчитал тридцать семь коричневых ботинок вместо тридцати восьми, и когда конец света не наступил, *другое* сознание подсказало: это все потому, что я не только переступил уровень тридцати, а еще и изрядно за него заступил.

Когда я загружаю посудомоечную машину, считаю тарелки. Если их больше десяти и четное количество, то все в порядке. Если нет, я добавляю сколько нужно чистых тарелок, чтобы достичь порядка. Так же обстоит с вилками и ложками. В пластиковом контейнере перед посудомоечной машиной должно лежать по меньшей мере двенадцать предметов. А поскольку я живу один, это значит, что приходится добавлять чистые.

Спрашиваю про ножи, он отрицательно качает головой.

— Нет-нет. Ножи в посудомоечную машину я не кладу.

Спрашиваю, почему нет, и он отвечает, что не знает. Молчит и смотрит искоса, виновато.

— Ножи я мою только руками. В раковине.

Высказываю предположение, что ножи в пластиковом контейнере нарушат порядок в мире.

— Да нет же! — взрывается он. — Вы понимаете меня, доктор Бонсан, правда, не все понимаете.

Прошу помочь мне понять.

— Порядок в мире уже нарушен. Я нарушил его прошлым летом, когда попал на поле Аккермана. Только я не понимал этого. Тогда не понимал.

— Ну а теперь? — спрашиваю я.

— Понимаю. Не все; но, думаю, достаточно.

Спрашиваю, пытается ли он вернуть порядок или только не дать ситуации ухудшиться.

Какое невыразимое облегчение появляется у него на лице, расслабляя мышцы. Словно что-то невысказанное раздирало изнутри, просилось наружу, и вот наконец-то произнесено! Я живу ради таких минут. Нет, болезнь от этого не отступит, зато на какое-то время Н. будет легче дышать. Вряд ли он ожидал такого поворота. Обычно пациенты не верят в то, что боль может отступить.

— Исправить я ничего не могу, — шепчет он. — Я могу немного сдержать их... Да, до сих пор получалось.

Вот мы и опять на развилке. Можно спросить его, что случилось прошлым летом — в августе прошлого года, как я понимаю — на поле Аккермана; хорошо подумав, говорю себе, что пока рано. Лучше не буду торопиться и расшатаю корни больного зуба посильнее. Скорее всего эта зараза мучает его дольше, чем кажется. То, что произошло прошлым летом, вероятно, лишь привело механизм в действие.

Спрашиваю о других симптомах. Он смеется в ответ:

— На это уйдет целый день, а у нас осталось... — смотрит на часы, — двадцать две минуты. Кстати, двадцать два — хорошее число.

— Не потому ли, что оно четное? — спрашиваю я.

Он кивает так, что становится ясно: я трачу время на очевидное.

— Мои... мои симптомы, как вы их называете, можно разбить на группы, — поднимает глаза к потолку, — на три группы. Они рвут меня, раздирают мне душу и пронзают ее... Боже мой, боже... пронзают и торчат, как эти сволочные камни на сволочном поле.

Слезы струятся по щекам. Поначалу он, похоже, и не замечает. Просто лежит на кушетке, сплетя пальцы, и смотрит в потолок. Затем протягивает руку к столику рядом, на котором высится Бесконечный Запас Салфеток в коробке. Н. берет две, вытирает щеки, комкает салфетку. Та исчезает в сплетении пальцев.

— Есть три группы, — продолжает он слегка дрожащим голосом. — Счет — это первая группа. Считать важно, хотя и не так важно, как трогать. Есть вещи, которых мне необходимо коснуться. Например, горелки на плите. Без этого я не выйду из дома утром и не лягу спать вечером. Я могу и на вид определить, что они выключены, рукоятки смотрят вертикально вверх, горелки холодно-черные. Нужно *потрогать* — ведь необходимо удостовериться. Ну и, конечно, нужно потрогать дверцу духового шкафа. Затем я должен потрогать выключатели света, прежде чем выйти с работы или из дома. Вроде мелочь, однако я не отойду от выключателя, не шлепнув его дважды. Прежде чем сесть в машину, я должен четыре раза шлепнуть по крыше. И шесть раз, когда добираюсь до места назначения. Четыре — хорошее число, шесть — просто здорово, а вот десять... десять — это как...

Он не вытер одну дорожку, оставленную слезой. Та пролегла зигзагом от уголка глаза до мочки уха.

— Как встречаться с девушкой своей мечты? — подсказываю я.

Он улыбается приятной усталой улыбкой; улыбкой, которая все реже и реже встает с ним из постели.

— Точно, — соглашается он, — и шнуры ее кед завязаны снизу, чтобы все об этом знали.

Трогает ли он что-нибудь еще? Я спрашиваю, уже зная ответ. Уж я-то повидал людей, подобных Н., за пять лет практики. В моем воображении эти несчастные — словно жертвы хищных птиц, которые неотрывно их клюют. Птицы эти невидимы для жертв — во всяком случае, пока психиатр (хороший или просто удачливый, а желательно и хороший, и удачливый) не брызнет на их крылья каким-то своим, специальным люминолом и не выставит их на свет. Птицы невидимы, зато такие же настоящие, как и их жертвы. Совсем уж чудом кажется то, что многие невротики умудряются жить нормальной жизнью, несмотря ни на что. Они работают, едят (правда, часто недостаточно или, напротив, слишком много), ходят в кино, занимаются любовью со своими жен-

щинами или мужчинами, женами и мужьями. И все время птицы сидят, вцепившись когтями, и клюют, выдирая кусочки плоти.

— Мне приходится много чего трогать. — И вновь взгляд с усталой приятной улыбкой обращен в потолок. — Проще назвать, чего я не трогаю.

Значит, говорю, хоть считать и важно, трогать важнее. Что же важнее прикосновения?

— Ставить на место, — отвечает он и внезапно начинает дрожать, прямо-таки трястись как пес, брошенный под холодным дождем. — Боже мой!..

Неожиданно он выпрямляется и садится на кушетке, спустив ноги на пол. На столике, рядом с Бесконечным Запасом Салфеток, стоит ваза с цветами. Быстрым движением Н. переставляет коробку и вазу так, что они образуют диагональ. Выхватив два тюльпана из вазы, укладывает их стеблем к стеблю — один цветок упирается в коробку с салфетками, а другой — в вазу.

— Так безопаснее. — Он выглядит неуверенным, потом кивает, словно в уме соглашается с тем, что так действительно безопаснее. — Для всего мира. — Н. вновь неуверен и заканчивает мысль: — Пока, на некоторое время.

Смотрю на часы. Время наше вышло, и, похоже, мы успели много для первого раза.

— Что ж, до встречи на следующей неделе, — говорю я. — Время и место для распугивания летучих мышей остается прежним.

Иногда я превращаю эту шутку в вопрос. В случае с Н. — нет. Он должен вернуться и прекрасно это знает.

— Значит, никаких волшебных пилюль? — спрашивает он.

На сей раз улыбка такая грустная, что нет сил смотреть ему в глаза.

Говорю, что вообще-то должно полегчать — немного позитива никогда не повредит, вам скажет так любой психиатр. Затем советую выбросить весь амбиен и «таблетки с зеленым

мотыльком» — я так понимаю, лунесту. Если от них нет толку ночью, то днем они могут лишь навредить. Заснуть за рулем на скоростном шоссе — вряд ли лучший способ решить проблему.

— Согласен, — говорит он. — Доктор, а ведь мы так и не касались причины всего этого. Я ведь знаю, в чем дело...

Убеждаю его, что на следующей неделе мы обязательно об этом поговорим. А пока прошу Н. завести таблицу, поделенную на три части, куда он будет заносить все, что считает, трогает и расставляет по местам. Согласен ли он вести такие записи?

— Да!

Спрашиваю, как бы между прочим, не появлялось ли у него мыслей о самоубийстве.

— Думал, конечно. Нет, у меня так много дел.

Ответ интересный, правда, нельзя сказать, что успокаивающий.

Протягиваю свою карточку и прошу звонить в любое время дня, если опять появятся мысли о самоубийстве. Обещает последовать совету. Честно говоря, они все обещают.

— Ну а пока, — говорю уже в дверях и кладу руку на плечо, — если вы ни с кем не встречаетесь, пусть вашей лучшей подружкой станет жизнь.

Бледный и не улыбающийся, Н. смотрит мне в глаза. А передо мной — невидимые птицы, рвущие его на куски.

— Вам не попадалась книга «Великий бог Пан» Артура Мейчена?

Отрицательно качаю головой.

— Это самое жуткое, что можно вообще написать, — поясняет он. — Один из героев там говорит: «Страсть всегда побеждает». На самом деле он говорит не о страсти. Он говорит об одержимости.

Гм... Прописать флуоксетин или пароксетин? Наверно, флуоксетин. Не стоит спешить, надо получше разобраться с проблемами этого интересного пациента.

7 июня 2007

14 июня 2007

28 июня 2007

На следующую встречу Н. приносит «домашнюю работу»; впрочем, ничего другого я и не ожидал. В этом мире полно преходящего; да и вообще, ничто не вечно под луной. Зато невротик с навязчивым состоянием — если только не помер! — почти всегда доводит дело до конца.

С одной стороны, на его таблицы не взглянешь без смеха; с другой — без слез. Я, откровенно говоря, пришел в ужас. Н. — бухгалтер, и я нисколько не сомневаюсь, что он воспользовался одной из программ бухучета, чтобы заполнить папку, которую я теперь держу в руках. В папке — огромные крупноформатные таблицы. Только вот вместо инвестиционных программ и потока дохода эти таблицы во всех подробностях расписывают невроз Н. во всей его сложности и многогранности. Первые две таблицы озаглавлены «СЧЕТ», две следующие — «КОНТАКТ», и, наконец, шесть последних «ВЫРАВНИВАНИЕ».

Перелистывая таблицы, я диву даюсь, как он находит время на что-либо еще. Хотя знаю, что для настоящего невротика нет ничего невозможного. Вновь приходят на ум невидимые птицы — так и вижу, как он уселся на голове Н., на его плечах и клюют, рвут окровавленную плоть.

Поднимаю взгляд. Н. уже устроился на кушетке, как и в первый раз сплел пальцы на груди. Он уже переставил вазу и коробку с салфетками на столе, соединив их в диагональ. Цветы сегодня — белые лилии. Глядя на этот «натюрморт», невольно видишь похоронную процессию.

— Можно они так полежат? — спрашивает. Вроде извиняясь, и в то же время настойчиво, с нажимом. — Иначе я не смогу говорить.

Отвечаю, что у меня и в мыслях не было мешать его «дизайну». Хвалю за то, как грамотно и профессионально он составил таблицы. Безразлично пожимает плечами в ответ. Затем спрашиваю, собраны ли в таблицах наблюдения только за прошедшую неделю, или это полный обзор.

— Это все только за последнюю неделю, — отвечает Н. безэмоционально, словно ему и дела никакого нет.

Да так оно и есть — человеку, которого насмерть заклеивают птицы, плевать на прошлогодние обиды и печали. Впрочем, как и на те, что стряслись на прошлой неделе — ему вполне хватает мыслей о дне насущном. И — если будет на то воля Господня — завтрашнем.

— Ого! Здесь две-три тысячи описанных событий.

— Я называю их «факты учета». Шестьсот четыре факта учета счета, восемьсот семьдесят восемь — контакта и две тысячи двести сорок шесть — размещения. Обратите внимание, только четные числа. В сумме — три тысячи семьсот двадцать восемь. А если сложить отдельные составляющие этого числа — 3-7-2-8, — получится двадцать. Тоже четное и хорошее число. — Кивнув, словно в подтверждение, продолжает: — Разделите три тысячи семьсот двадцать восемь на два, и получите тысячу восемьсот шестьдесят четыре. Если сложить 1-8-6-4 получается девятнадцать, очень *сильное* нечетное число. Сильное и *злое*.

Вижу, как он дрожит.

— Вы, наверное, очень устали, — говорю.

Он не говорит ни слова, даже не кивает, хотя ответ я все-таки получаю. Слезы текут по щекам к ушам. Мне печально добавлять груза на его плечи, однако не могу не признать: если мы сейчас же не начнем работу и не перестанем «придуриваться», как выражается «Сестра Шейла», моя сестренка, он вообще не сможет работать. Я уже вижу, насколько он сдал внешне — рубашка помята, побрит неаккуратно, стрижку надо бы освежить. Знаю, если спросить о нем коллег по работе, увидишь, как они воровато и многозначительно переглядываются. Его таблицы — по-своему произведения искус-

ства, только вот сил у их творца совсем не осталось. Ясное дело, у нас не осталось выбора, кроме как побыстрее добраться до сути дела, иначе ни флуоксетина, ни пароксетина, ничего другого ему не видать.

Спрашиваю, не расскажет ли он мне, что же такого случилось в августе прошлого года.

— Расскажу, я за этим сюда и пришел. — Он набирает салфеток из Бесконечного Запаса и вытирает щеки. Устало спрашивает: — А вот готовы ли вы выслушать, доктор?

В жизни не слышал такого вопроса от пациента. И такого вынужденного, снисходительного сочувствия в голосе никогда не слышал. Готов, говорю, начинайте. Помочь ему — моя работа. Чтобы я с ней справился, Н. должен захотеть помочь себе сам.

— Даже если вы заболаете, как и я? Помните, это не исключено. Мне уже не помочь, хотя надеюсь, что еще не докатился до состояния полной паники, чтобы захотеть утащить с собой того, кто меня спасает.

— Боюсь, я вас не полностью понимаю, — говорю я.

— Раз я здесь, вся эта гадость может обернуться лишь плодом моего воображения. — Н. стучит костяшками пальцев по виску, словно я могу не понять, где хранятся плоды его воображения. — А что, если нет? Я ведь точно не знаю. Тогда мне уже не помочь, вот что я имею в виду. Если я не псих, если то, что я видел и чувствовал на поле Аккермана, существует, тогда я подцепил что-то вроде заразы. А значит, и вы можете ее подхватить.

Поле Аккермана, отмечаю я мысленно. Хотя что тут отмечать — все записывается на пленку. Когда мы были детьми, мы с сестрой ходили в школу Аккермана в городке Харлоу, на берегу Андроскоггина. Это неподалеку отсюда, миль тридцать максимум.

Говорю, что готов рискнуть, что в конце концов (это я добавляю позитива) мы оба вылечимся.

Он отзывается одиноким безрадостным смешком.

— Вот бы здорово, — говорит.

— Расскажите мне о поле Аккермана.

Отвечает со вздохом:

— Это в Моттоне, на восточном берегу Андроскоггина.

Моттон. Следующий город от Честерз-Милл. Мама покупала молоко и яйца в «Бой-Хилл-Фарм» в Моттоне. Н. говорит о месте, что в каких-то семи милях от фермы, где я вырос. У меня почти сорвалось: «Я знаю, где это!»

В последний момент сдерживаюсь. Н. пристально вглядывается мне в глаза, словно услышал мысли. Может, и услышал. Не верю я в экстрасенсорику, хотя полностью не отрицаю.

— Ни в коем случае туда не ходите, доктор, — говорит Н., — не ищите этого места. Обещайте мне.

Обещаю. По правде говоря, я в этом богом забытом захолустье Мейна не был лет пятнадцать. Ехать-то недалеко, да зачем? В названии одной из своих программных книг Томас Вулф подарил нам важное жизненное правило: «Домой возврата нет». Правило не для всех — Сестра Шейла, к примеру, его регулярно нарушает. В моем случае оно срабатывает. Правда, свою книгу я бы назвал «Мне домой возврата нет». Мне из детства помнятся только косорылое хулиганье на площадке для игр, заброшенные дома с зияющими глазницами выбитых стекол, выпотрошенные груды автомобильного металлолома и белизна холодных небес, кричащих вороньем.

— Что ж, — произносит Н., и нервная судорога пробегает по лицу, обнажая зубы. Нет, на лице не появляется злости; я вижу: он как тяжелоатлет — готов взять вес, сознавая, что завтра все мышцы будут болеть. — Не знаю, получится ли у меня все объяснить; обещаю постараться. Только знайте, что, если до того августовского дня в прошлом году у меня и было что-то похожее на навязчивый невроз, выразалось это лишь в том, что перед выходом на работу я заскакивал в ванную — посмотреть, все ли волоски выдернул из носа.

Может, это и так; лично я сомневаюсь. Не давлению на него. Прошу рассказать мне, что же случилось в тот знаменательный день. Он начинает рассказ.

Рассказ его длится три сеанса. На второй сеанс — пятнадцатого июня — он приносит календарь. Это не просто календарь. Это улика номер один.

3. Рассказ Н.

По профессии я бухгалтер, по призванию — фотограф. После развода — а у нас к тому времени уже росли дети, и это, скажу я вам, куда как болезненно — я проводил выходные на природе, снимал пейзажи. У меня не цифровой, а пленочный «Никон». В конце каждого года я отбирал двенадцать лучших фотографий и делал календарь. Его печатали в небольшой мастерской «Виндховер пресс» во Фрипорте. Недешево, зато качественно. Календари я раздавал друзьям и коллегам на Рождество. Иногда и клиентам, правда, далеко не многим. Те, что размещают у нас заказы на десятки или сотни тысяч долларов, предпочитают подарки из драгметаллов. Для меня же нет ничего лучше хорошего пейзажа. Фотографий поля Аккермана у меня нет. Я снимал там, но ничего не вышло. Я даже брал цифровой фотоаппарат в займы. С ним не только не получилось фото; у него что-то сгорело внутри. Пришлось покупать новый человеку, который мне его одолжил. Нет, мне не жалко денег. К тому времени я наверняка сжег бы все фото с *поля*, если б оно мне, конечно, позволило.

[Спрашиваю, что значит «оно». Н. не отвечает, словно не слышит вопроса.]

Я фотографирую везде: в Мейне, в Нью-Гемпшире. В основном предпочитаю «обрабатывать» собственную делянку. Живу я в Касл-Роке, точнее, во Вью; вырос в Харлоу, как и вы. Не удивляйтесь, доктор. Мой терапевт порекомендовал вас, и я сразу «погуглил», с кем буду иметь дело. Нынче принято всех «гуглить», согласны?

С вашего позволения, продолжу. Мои самые удачные снимки приходятся на Центральный Мейн — Харлоу, Мот-

тон, Честерз-Милл, Сент-Айвз, Касл-Сент-Айвз, Кэнтон, Лисбон-Фоллз. В общем, там, где катит свои волны могучий Андроскоггин. Эти фото... какие-то настоящие, что ли. Удачный пример — мой календарь две тысячи пятого года. Я принесу вам экземпляр, сами посмотрите. С января по апрель и с сентября по декабрь я снимал неподалеку от дома. А вот с мая по август... сейчас вспомню... Олд-Орчад-Бич, Пемакид-Пойнт; конечно же, маяк; национальный Гаррисон-Стейт; Тандер-Хоул в Бар-Харбор. Я уж было решил, что у меня стало что-то получаться, когда делал снимки Тандер-Хоул. Правда, как только просмотрел первые отпечатки, понял, что все это ерунда. Так, туристическая возня с «мыльницей». Ну удалась композиция, и что? Хорошую композицию можно найти и в самом затрапезном самодельном календаре.

Хотите услышать мое непрофессиональное мнение? Я уверен, что фотография дает гораздо больше творческих возможностей, чем обычно считают. Говорят, что, если у вас «набит глаз» и есть чутье композиции, да еще если вы нахватались технических приемчиков на курсах фотографии, один милый уголок природы получается на фото ничуть не хуже другого. Тем более если вас интересует исключительно пейзажная съемка. И не важно, где снимать — в Харлоу, Мейне, Сарасоте или во Флориде. Не забывай лишь ставить нужный фильтр, наводи да щелкай кнопкой. Только все не так просто. Выбор места в фотографии так же важен, как в литературе или поэзии. Не знаю, почему это так, но...

[Долгая пауза.]

Нет, вообще-то я знаю почему. Потому что художник, даже такой непрофессионал, как я, вкладывает всего себя в то, что создает. Есть люди непоседливые, они таскают свою «цыганскую» душу, словно рюкзак за спиной. Мне же никогда не удавалось вывезти ее дальше Бар-Харбора. Фото, сделанные на берегах Андроскоггина... я их слышу. И другие тоже слышат и чувствуют. Парень из ателье «Виндховер» говорит, что я вполне мог бы получить контракт от какого-нибудь нью-йоркского издателя и зарабатывать на календарях

вместо того, чтобы платить за типографские услуги. Это как-то не по мне. Слишком уж... как бы выразиться... нескромно, что ли? Не могу объяснить; как-то так. Календари — это личное, для друзей. Кроме того, у меня есть работа. Я вполне счастлив со своей бухгалтерской цифирью. Хобби же приносит свет и радость. Так приятно знать, что друзья держат мои календари у себя на кухне и в гостиной. Да бог с ним, пусть даже в кладовке! Забавно, я ведь почти не снимал после того, как побывал на поле Аккермана. Похоже, с той частью моей жизни покончено; теперь она зияет дырой. По ночам оттуда слышатся завывания, словно где-то в глубине гуляет ветер. И ветер этот пытается заполнить пустоту. Я думаю порой, что жизнь — печальная и злая штука, док. Да-да, это так.

Во время одной из таких поездок прошлым августом я выбрался на грунтовку под Моттоном. Этой дороги я раньше не встречал. Я просто катил, куда глаза глядят, слушал радио и потерял реку из виду. Она была где-то поблизости, до меня доносился запах — сырости и в то же время свежести. Так всегда у реки пахнет, правда, доктор? Пахнет чем-то *древним*. Ну так вот, повернул я на ту дорогу.

Жуть, а не дорога — бугристая, смытая ливнями. Уже начало темнеть, было что-то около семи вечера, а я не успел поужинать. Проголодавшись, я уже было решил поворачивать, как вдруг дорога пошла ровнее и вверх, а не вниз. И запах усилился. Я выключил радио и даже услышал ее, а не только почувствовал — не то чтобы громко, просто поблизости.

Поперек дороги лежало дерево, и я чуть было не повернул назад. Не важно, что развернуться там было негде, я бы и так доехал. Дело было в миле от Сто семнадцатого шоссе, и я мог за пять минут добраться задним ходом. Думаю, что нечто, какая-то добрая сила, светлая сторона жизни, давала мне такую возможность. Эх, весь прошлый год был бы другим, дай я тогда задний ход! Да что теперь вспоминать... Меня удержал запах реки — вспомнилось детство. К тому же открылся вид на вершину холма. Вдоль дороги стояли деревья — сосны и в основном трухлявые березы; к вершине деревья рассту-

пались, и я подумал: «Там, наверное, опушка», и еще, что с опушки должен открываться вид на реку. В голове промелькнуло, что там наверняка есть где развернуться, хотя по сравнению с возможностью сделать снимок Андроскоггина на закате то была несущественная мысль. Не знаю, обратили ли вы в прошлом году внимание на августовские закаты; поверьте, они были живописны.

Я выбрался из машины и оттащил дерево. Береза была трухлявая, такая гнилая, что чуть не развалилась у меня в руках. Все же, сев в машину, я был готов ехать скорее назад, чем вперед. Верю, что есть в мире светлые силы, хранящие нас. Мне почудилось, что теперь, когда дерево больше не лежало поперек дороги, шум реки стал громче. Глупости, конечно, я понимаю, просто мне действительно так показалось. Поэтому, включив пониженную передачу, повел свою маленькую «тойоту» к вершине.

Проехал мимо приколоченной к дереву таблички: «Поле Аккермана. Охота запрещена. Проход закрыт», потом деревья расступились, сначала слева, а потом и справа. И передо мной открылся вид, от которого захватило дыхание. Уж и не помню, как я выключил двигатель и выбрался из машины, не помню, как схватил фотоаппарат; помню только, что он оказался у меня в руках, когда я вышел на край поля — ремешок и кофр с объективами стучали по ноге.

Я был пронзен до глубины души, пронзен в самую душу; мир вокруг меня полностью перевернулся.

Реальность — это таинство, доктор Бонсан; мы опускаем над ней завесу повседневных дел, чтобы скрыть игру ее света и тени. Я думаю, мы закрываем лица умерших по той же причине. Лица мертвецов — это врата. Пусть пока они закрыты для нас — мы знаем: им не вечно быть на замке. Однажды они распахнутся для каждого, и каждый пройдет в свои врата.

Есть места, где завеса рвется, а реальность истончается. И тогда из тени выглядывает лицо. Нет, не мертвец. Уж лучше бы то был мертвец. Поле Аккермана — одно из таких мест.

Немудрено, что хозяин, кем бы он ни был, повесил табличку «Проход закрыт».

День таял; на западном горизонте плавал в мареве багряный газовый шар, приплюснутый сверху и снизу. Длинной кроваво-красной змеей струился Андроскоггин, пламенея отражением солнца. Он поблескивал милях в восьми, а то и десяти от меня; вечерний воздух был так тих, что я слышал реку. Серо-голубые леса на том берегу вздымались грядами, уходя далеко за горизонт. Не было видно ни жилья, ни дорог. Не слышно пения птиц. Словно я провалился во времени на четыре сотни лет. Или на четыре миллиона. Белесые струйки тумана начинали подниматься от теплых налитых трав. И некому было скосить те травы с обширного поля, заготовить сено. Словно дыхание самой вдруг ожившей земли, поднималась мгlistая поволока с темнеющей зелени.

У меня все поплыло перед глазами. Нет, не от того, что зрелище было неопиcуемой красоты. Все вдруг истончилось, словно было лишь видением. А потом я увидел эти проклятые камни, торчащие из нескошеннoй травы.

Их было семь, как показалось мне сначала. Два самых высоких — метра по полтора, самый маленький — с полметра, остальные где-то между ними. Я не забуду, как подошел к ближайшему из них: сейчас все вспоминается как сон, тающий в утреннем свете — вы-то знаете, как тают сны. Уж кому, как не вам знать, доктор, ведь вам целыми днями приходится слушать рассказы о снах. Только это был не сон. Трава шуршала по коленям, брюки начали прилипать к коже на ногах, пропитываясь влажным туманным воздухом. Время от времени попадались кусты, целые заросли сумаха, беспорядочно раскиданные по полю. Они цеплялись за кофр, оттягивали его и отпускали; тогда объективы больно шлепали по ноге.

Я остановился у ближайшего камня, одного из полутора-метровых, и вдруг четко увидел лица, высеченные на нем. Нет, не человеческие лица; то были какие-то чудовища и жуткие звери. Повернувшись, я понял, что свет закатного солнца сыграл со мной злую шутку — когда тени сгущаются, они ста-

новятся похожи... на что только они не становятся похожи! Вглядываясь в камень под другим углом, я увидел новые лица. Некоторые походили на человечьи... как это было отвратительно. Я бы даже сказал, отвратительнее; чудовище с человеческими чертами *отвратительнее* просто зверя, вы не находите? Это потому, что мы *знаем*, что такое человек, *понимаем* человека. Или считаем, что понимаем. А эти... лица *этих* искажали либо вопли ужаса, либо хохот. Либо и то, и другое сразу.

Я было подумал, что у меня разыгралось воображение — от одиночества, от грандиозности открывшегося вида. Перед мной предстал целый мир! И время затаило дыхание. Слово все застыло и наступила вечность. До заката оставалось минут сорок, алое солнце присело на горизонте, а прозрачный воздух пропитывался мглой. Мне подумалось, что под воздействием этой красоты я и увидел лица в камне, что это лишь совпадение. Теперь я так не думаю. Хотя теперь слишком поздно.

Я схватился за фотоаппарат. Сделал, по-моему, пять снимков. Злое число, однако тогда я этого еще не знал. отошел немного назад, чтобы все семь камней вошли в объектив, сфокусировал снимок и вдруг заметил, что их на самом деле восемь. Восемь расставленных ломаным кругом камней. Если хорошо присмотреться, становилось заметно, что камни — навершие некой подземной геологической структуры, появившейся из-под земли в незапамятные времена. А может, и вымытой из почвы недавними дождями — поле протянулось по склону достаточно крутого холма, так что моя догадка была небезосновательна. Одно точно: камни не просто раскидали как попало, их расставили подобно камням в храме друидов. Никакой резьбы на них, правда, не было. Только естественная эрозия. Я знаю точно, потому как возвращался туда днем, специально, чтобы посмотреть. Естественные складки и складки камня, вот и все.

Еще четыре снимка, девять в сумме — снова плохое число. Хотя, конечно, лучше, чем пять. Опускаю камеру и не-

вооруженным глазом снова вижу злобные, ухмыляющиеся и хохочущие лица. Человечьи и звериные. Насчитываю семь камней.

Когда я смотрел в видоискатель, их было восемь.

Голова пошла кругом, стало страшно. Захотелось оказаться где-нибудь подальше от этого места до наступления темноты, подальше от поля, на Сто семнадцатом шоссе и чтоб по радио грохотал рок-н-ролл. Но не мог же я просто так уехать! Там, за гранью сознания, глубоко внутри, нечто, правящее вдохом и выдохом, потребовало, чтобы я остался. Я понял: уеду — случится жуткое, и, возможно, не только со мной. Вновь нахлынуло ощущение: я стою у тонкой завесы реальности, мир так хрупок здесь, в этом месте, что хватит одного необдуманного шага, и мироздание перевернется. Нужно быть предельно... нет, *беспредельно* осторожным.

Вот тут-то и начался невроз. Я шагал от камня к камню, трогая по одному и пересчитывая, отмечая, где они стоят. Хотелось сбежать — жутко хотелось припустить оттуда, однако от работы отлынивать нельзя, а я понял, что теперь здесь — моя работа. Я знал это так же, как знал, что надо дышать, чтобы жить. Обходя камни, я трясся, как лист; насквозь промок от пота, росы и тумана. Касаться камней всякий раз было... отвратительно. В голове проносились... разные мысли; перед глазами возникали картины. Мерзкие картины. На одной из них я кромсал топором свою бывшую жену и хохотал, а она визжала и закрывалась от ударов окровавленными руками.

Зато их стало восемь. Восемь камней на поле Аккермана. Хорошее число. Безопасное. Я *знал*, что хорошее. И уже не важно было, смотрю я на них сквозь видоискатель или невооруженным глазом. Касаясь руками, я *исправлял* их. Уже сильно стемнело, солнце наполовину опустилось за горизонт. Я, должно быть, пробежал между камнями минут двадцать или больше; пробегал по неровному кругу метров сорок в поперечнике. Видно было хорошо, воздух оставался жутковато-прозрачным. Ощущение жути не отпускало, что-то ледяющее душу витало вокруг. Все вопило о кошмаре,

даже тишина, в которой не слышалось и птиц. Зато как мне стало легко! Кошмар удалось приостановить, унять, когда я касался камней. И когда потом *посмотрел* на них снова. Очень важно, чтобы они правильно стояли на поле, вот что засело у меня в мозгу. Я понял, что это так же важно, как и касаться камней.

[Задумчивая пауза.]

Нет, пожалуй, важнее. Потому что порядок, баланс — вот на чем держится этот мир, вот что сдерживает *тот* мир и не дает ему прорваться сюда. Не дает ему поглотить нас. Думаю, все мы понимаем это где-то в душе, так или иначе.

Я повернулся и пошел... думаю, уже почти дошел до машины, может, даже взялся за дверную ручку, как что-то развернуло меня опять. Тогда-то я и увидел.

[Долго молчит. Вижу, что дрожит. Весь покрылся испариной. Пот росой блестит на лбу.]

Что-то появилось в центре каменного круга. В самой середине круга, появившегося в этом мире случайно либо по чьей-то прихоти. Оно было черным, как небо на востоке; зеленым, как трава вокруг. И оно поворачивалось, медленно поворачивалось, не отрывая от меня глаз. О да, у него были глаза. Жуткие розовые глаза. Я знал, то есть мой разум понимал, что это лишь отсветы вечернего неба; другая же половина меня понимала, что это нечто большее. Что-то питалось светом, видело наш мир с его помощью. И видело оно меня.

[Он снова рыдает. Я не предлагаю ему салфетки, не хочу разрушать чар колдовской сказки. Да и не думаю, что смог бы предложить ему салфетку — я сам околдован. Конечно, то, что он озвучивает — причудливый бред. Часть его сознания прекрасно это понимает — «тени, которые выглядят лицами» и все в таком роде. Уж очень этот бред живописен. А живописный бред передается как простуда при чихании.]

Я не помню, как пятился назад, не помню, когда начал двигаться. Помню только, что подумал: я смотрю на голову чудовища, пришедшего из тьмы, извне. И еще подумал: где появился один, там могут появиться и другие. Восемь кам-

ней удержат их, ну хоть как-то; а вот если камней останется семь, твари прорвутся, хлынут из тьмы, с той стороны реальности и заполонят наш мир. Я только знал, что смотрю на самого маленького и самого безобидного из них. Я только знал, что плоская змеиная голова с розовыми глазками и чем-то, похожим на здоровенные длинные перья, торчащие из его рыла, — это голова детеныша.

Мы встретились взглядом.

Оно ухмыльнулось, и вместо зубов я увидел головы. Живые человечьи головы. Я наступил на сухую ветку. Она треснула, как хлопущка, и оцепенение спало. Не исключая возможности, что та тварь, клубившаяся в каменном круге, гипнотизировала меня. Ведь гипнотизируют же змеи птичек. Я повернулся и бросился бежать. Кофр бил меня по ноге, и каждый удар, казалось, говорил: «Проснись! Проснись! Беги! Беги!»

Я рванул дверь «тойоты» и услышал колокольчики — те, что напоминают: «Вы оставили ключ в замке зажигания». Вспомнилось почему-то старое кино, где Уильям Пауэлл и Мирна Лой звонят в колокольчик у стойки регистрации некоего фантастического отеля, вызывая прислугу. Забавно, что только не проносится в голове в такие мгновения. Я думаю, у нас в сознании тоже стоят какие-то врата. Они не дают безумию прорваться и затопить наш мозг. В нужный момент они распахиваются, и тогда какое только дерьмо в них не пролетает!

Завел двигатель, врубил радио на всю катушку, из динамиков загрохотал рок. Как сейчас помню, то были «The Who». И еще помню, что случилось, когда включил фары. Камни словно прыгнули ко мне, приблизились; я чуть не завизжал! Зато их было восемь, я пересчитал, а восемь — хорошо, восемь — безопасно.

[Еще одна долгая пауза, почти на целую минуту.]

Дальше только помню, что ехал по Сто семнадцатому шоссе. Не знаю, как я туда попал: разворачивался или ехал задним ходом. Не знаю, долго ли я так ехал, помню, что песня

«The Who» закончилась, и играли «Doors». Боже сохрани, то была «Прорваться на ту сторону». Я выключил радио.

Пожалуй, все на сегодня, док; больше ни слова не скажу. Я вымотался.

[Он выглядит крайне изнуренным.]

[Следующая встреча]

Я надеялся, что вся эта чертовщина пройдет по дороге домой; надеялся, что в лесу на меня что-то просто нашло, и что, добравшись до дома, включив свет и телевизор в гостиной, я стану самим собой. Как бы не так. Даже наоборот, у меня лишь усилилось ощущение того, что я побывал в месте, где пространство «свихнулось». Прикосновение к чуждой вселенной, столь враждебной нашей, не прошло даром. Я точно знал, что видел лицо... нет, хуже того, туловище чего-то огромного и змееобразного в каменном круге. Я чувствовал себя... зараженным. Словно инфекция шла от моего собственного сознания, отравляя мозг. Я сам стал угрозой, ведь я мог привлечь эту тварь одними своими мыслями. И она придет не одна. Сюда прорвется целый космос, как блевотина прорывает промокший бумажный пакет.

Обойдя весь дом, я запер двери. Затем решил, что не все, и обошел дом еще раз. На сей раз я считал: передняя дверь, задняя, кладовая, подвал, гаражные ворота, дверь между домом и гаражом. Дверей оказалось шесть, и появилась мысль: шесть — хорошее число. Как и восемь, тоже хорошее. Эти числа — друзья. Они теплые. Не холодные, как пять или семь, а теплые. Я немного успокоился, а потом все-таки прошел и проверил двери еще раз. Снова оказалось шесть. «Шесть — бьет звериную шерсть», — сказал я себе и подумал, что теперь удастся поспать. Не удалось. Не помог даже амбиен. Перед глазами стоял Андроскоггин на закате, превращающийся в алую змею. Туман, встающий мглистыми языками над травой. И эта тварь среди камней. Самое страш-

ное. Я поднялся и сосчитал все книги на полках в спальне. Их оказалось девяносто три. Число плохое, и не только потому, что нечетное. Разделите девяносто три на три и получится тридцать один — это тринадцать задом наперед. Поэтому я принес небольшую книжку из шкафа в коридоре. Девяносто четыре — не многим лучше, потому что сумма его элементов дает тринадцать. Число «тринадцать» в нашем мире повсюду. На него просто не обращаешь внимания. Итак, я добавил шесть книг на полку в спальне. Пришлось потеснить те, которые были, зато кое-как втиснул. Сто — хорошее число. Просто прекрасное.

Я отправился было спать, как вдруг задумался о книжном шкафе в коридоре. А не утащил ли я, скажем так, добра от добра? Пересчитал книги, оказалось пятьдесят шесть. Цифры складываются в одиннадцать, нечетное; что ж, не самое плохое нечетное. К тому же пятьдесят шесть делится на двадцать восемь — прекрасное числительное! После этого я заснул. Кажется, у меня были кошмары, хоть я их не помню. Шли дни, и мысленно я все возвращался на поле Аккермана. Словно тень накрыла мою жизнь. Я принялся считать все подряд и трогать все подряд, дабы удостовериться, что я понимаю значение этих вещей в мире — реальном мире, моем мире. И еще я начал расставлять все по местам. Чтобы все группировалось четно, стояло по кругу или по диагонали. Круг и диагональ — это как удерживающий барьер. Как правило. Правда, барьер этот не вечен. Стоит появиться небольшой бреши, и четырнадцать превращается в тринадцать, а восемь — в семь.

В начале сентября младшая дочь приехала в гости и сказала, что я выгляжу очень усталым. Спросила, не слишком ли много я работаю. Она обратила внимание, что все безделушки, стоявшие в гостиной — вся та дребедень, которую ее мать не забрала после развода, — расставлены, как выразилась дочка, «как круги на полях». Она высказала свое отношение так: «У тебя, па, с возрастом появляются заморочки, не замечаешь?» Тогда я решил съездить на поле Аккермана днем. Подумал, что, если увижу поле при дневном свете, там не окажется ничего, кроме бессмысленно раскиданных кам-

ней, заросших травой. И тогда я пойму, как глупы все мои измышления, а навязчивые идеи лопнут и разлетятся словно пух одуванчика на сильном ветру.

Мне это было необходимо. Потому что считать, трогать и расставлять все по местам — очень большая ответственность.

По дороге я заскочил в ателье, где обычно печатал фотографии. Выяснилось, что ни один из снимков поля Аккермана не получился — вместо изображения на фото был серый квадрат, как будто пленку засветило какое-то излучение. Я удивился и задумался, однако не остановился. Прихватив взаймы цифровую камеру у одного парня в ателье — ту самую, которую я впоследствии сжег, — я отправился в Моттон. Нет, не «отправился» — полетел! Сейчас скажу откровенную глупость: я чувствовал себя как человек, по уши вляпавшийся в ядовитый плющ и бегущий в аптеку за средством против зуда. Да, поначалу все это было похоже на зуд. Считать, трогать и расставлять по местам было болеутоляющим средством против зуда — как чесаться. Зуд проходит, лишь когда чешешься. Только вот когда чешешься, распространяешь по ране яд, а от этого чешешься еще больше. Мне было нужно лекарство. Вернуться на поле Аккермана — полная глупость, а не лекарство; тогда я этого не знал. Да и откуда мне было знать? Мудрецы говорят, пока не сделаешь — не узнаешь. А сколько мы узнаем, пробуя делать и ошибаясь!..

День был чудесный, на небе ни облачка. Листва еще зеленела, воздух уже стал прозрачен и ясен; так бывает лишь при смене времен года. Моя бывшая жена говорила, что ранняя осень послана нам в награду за туристов и прочих отдыхающих, которые толкуются в очередях с кредитками, чтобы купить пива. Как сейчас помню, погода подействовала успокоительно. Я знал, что приеду, вытрясу все дерьмо из головы и похороню его на поле. Ехал, слушал сборник лучших хитов «Queen» и поражался тому, как чисто, как прекрасно звучит Фредди Меркьюри. Ехал и подпевал. Я пересек Андроскоггин в Харлоу — вода по обе стороны моста Бейл ослепительно искрилась, я даже увидел всплеск прыгнувшей рыбы и гром-

ко расхохотался. Я не смеялся с того самого вечера на поле Аккермана, и так мне понравился собственный хохот, что я не удержался и рассмеялся снова.

Перевалил Бой-Хилл — вы, конечно, знаете, где это, — затем мимо кладбища «Сиринити-Ридж». Я делал там удачные снимки, правда, в календарь они не попадали. До той самой лесной дорожки я добрался меньше чем за пять минут. Только повернул, и сразу по тормозам. Вовремя! Промедли я хоть секунду, порвал бы решетку радиатора «тойоты» надвое. Поперек дороги висела цепь, а на ней — новый знак: «ПРОХОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН».

Я, конечно, мог бы сказать себе: «Это всего лишь совпадение, владелец этих лесов и поля — не обязательно парень по имени Аккерман, хотя, может, и он — вешает такую цепь и знак каждую осень, чтобы отпугнуть охотников». Потом подумал: оленья охота начинается первого ноября. Да и птицу нельзя бить до октября. Уверен, за полем кто-то приглядывает. Может, с биноклем; может, каким-то другим, необычным способом. И этот кто-то увидел, что я там побывал, и понял, что я вернусь.

«Ну и черт с ним, поехали отсюда! — сказал я себе. — Или ты хочешь, чтоб тебя арестовали за проникновение на частную территорию? Хочешь, чтоб в местной газете появилась твоя фотография? Хорошенькая реклама для бухгалтерской конторы!»

Но меня было уже не остановить. Если я доеду до поля и ничего там не найду, мне полегчает. С одной стороны, я понимал: если кто-то хочет, чтоб я не лез на частную территорию, необходимо подчиниться. С другой стороны — вы только вдумайтесь! — я стоял и считал буквы на знаке; получилось двадцать три, а это ужасное, ужасное число, намного страшнее, чем тринадцать. Безумием было так рассуждать, хотя так я и рассуждал. И часть моего сознания понимала, что это не безумие.

Я оставил внедорожник на парковке у кладбища и вернулся на проселок, перекинув цифровой фотоаппарат в ма-

леньком чехольчике на «молнии» через плечо. Обошел цепь — это оказалось совсем не трудно — и дошел по дороге до поля. Не будь там цепи, мне все равно пришлось бы идти — поперек дороги лежало с полдюжины деревьев, и на сей раз не какие-нибудь полусгнившие березы. Дорогу преграждали пять здоровенных сосен. Шестым лежал толстый ствол матерого дуба. То был не валежник. Все деревья срезали бензопилой. Меня они не остановили ни на секунду. Я перешагнул через сосновые стволы и обошел дуб. Вот и холм, уже виднеется поле. Мельком заметил старый знак — «Поле Аккермана. Охота запрещена. Проход закрыт». Уже виднелись расступившиеся вершины деревьев, клубящиеся лучи солнца меж стволов на вершине и необъятные просторы голубого неба над полем, такого прекрасного и жизнерадостного. Стоял полдень, меня не ждала гигантская кроваво-алая змея у горизонта, лишь Андроскоггин, на котором я вырос и который всегда любил — голубой и чудесный, такой, каким и должно быть все в этом прекрасном мире. Я бросился бежать. Безотчетная, безумная радость толкала меня вперед и не оставляла, пока я не поднялся на вершину. Стоило мне увидеть камни — эти клыки, торчащие из земли, как от радости не осталось и следа. На меня нахлынули неопишуемая жуть и ужас.

Камней стояло семь. Семь и все тут. А в центре круга — не знаю, как и объяснить, чтобы вы поняли — пространство *поблекло*. Это не совсем походило на тень, нет; скорее... знаете, со временем любимые джинсы изнашиваются, и краска выцветает. Особенно там, где ткань натягивается, — на коленях. Вот примерно так. Трава пожухла до засаленно-известнякового цвета; небо над каменным кругом не голубело, а *серело*. Я чувствовал, что стоит мне лишь войти туда — а часть меня рвалась, хотела именно этого, — мне достаточно будет лишь ткнуть кулаком, и ткань реальности разорвется. А когда она разорвется, меня схватит нечто... Нечто с той стороны. Я *понимал*, что так и будет. Только кто-то во мне *жаждал* этого. Жаждал... опять не знаю, как сказать... перестать

ходить вокруг да около и броситься в пекло. Было видно, или мне так казалось, в этом я до сих пор не уверен, что место, где должен стоять восьмой камень... нет, я видел: *блеклость* тянулась туда, пыталась пробиться там, где защита каменных врат ослабла. О ужас! Если *она* прорвется, весь неописуемый кошмар с той стороны хлынет в наш мир. Небеса почернеют, взойдут новые звезды и безумные созвездия. Я сдернул с плеча фотоаппарат и уронил его на землю, пытаясь расстегнуть молнию. Руки тряслись, как в припадке. Подняв взгляд на камни, увидел, что центр круга уже не просто блеклый — он наливался чернотой. И из черноты, из тьмы на той стороне на меня пристально смотрели глаза — на сей раз желтые, с узкими черными зрачками. Кошачьи глаза. Или змеиные.

Я поднял было фотоаппарат, тут же снова уронил его. А когда взялся рукой, трава сомкнулась над ним, и пришлось тянуть, чтобы освободить аппарат от цепкой растительности. Нет, пришлось *выдирать* его. Я стоял на коленях, дергая за ремешок обеими руками. Из зияющего пространства, которое закрывал восьмой камень, потянуло ветерком. У меня волосы на голове зашевелились от этого ветерка. Он вонял; оттуда несло мертвечиной. Я поднял фотоаппарат и сначала ничего не увидел. В голове пронеслось: «*Оно* засветило пленку, *оно* как-то засветило пленку!» А потом вспомнил, что это цифровой «Никон» и его нужно включить. Так я и сделал — аппарат запищал, но все равно ничего не было видно.

Ветерок уже превратился в ветер, трава от него заколыхалась и пошла по всему полю крупными волнами, отбрасывая тень. Вонь стала невыносимой. Небо темнело — на нем по-прежнему не было ни облачка, оно почему-то просто темнело. словно некая планета, огромная и невидимая, заслоняла солнце.

Я услышал голос. Говорили не по-английски, прозвучало что-то похожее на «Ктхун, ктхун, дииянна, деянна». Затем... боже, оно произнесло мое имя: «Ктхун, Н., дииянна, Н.». По-моему, я завизжал; не уверен в этом, потому что ве-

тер уже ревел ураганом в ушах. Нет, я должен был завизжать, да и как иначе — оно знало, как меня зовут. А потом... фотоаппарат... угадайте, о чем я забыл?

[Спрашиваю, не оставил ли он крышечку на объективе; слышу в ответ визгливый хохот, пробирающий до костей; невольно думаю о крысах, носящихся по битому стеклу.]

Да! Точно! Крышка на объективе! Крышка, мать ее! Срываю крышку и смотрю в видоискатель. Каким чудом я не уронил «Никон» опять — не знаю. Руки у меня жутко тряслись, и второй раз трава бы его уже не отпустила, она бы уже приготовилась. Я его не уронил. Через объектив виднелось восемь камней. Восемь — мы врага оставим с носом. Тьма еще клубилась в центре круга, хотя и отступала. Стихая, вокруг метался ветер.

Я опустил аппарат, и их осталось семь. Что-то набухало во тьме, и я не берусь описать, как оно выглядело. Я вижу. Во сне я вижу *это*. Мне не подобрать слов, чтобы нарисовать эту проклятую тварь. Живой и пульсирующий кожаный шлем — вот на что оно похоже больше всего. И словно желтые выпуклые очки с обеих сторон. Только очки эти... я думаю, то были глаза, и смотрели они на меня в упор.

Я снова поднял «Никон» и увидел восемь камней. Щелкнул затвором раз шесть или восемь, чтобы разметить их положение, закрепить их на месте; ничего не вышло — я лишь сжег камеру. Стекла объективов видят эти камни, док, думаю, что человек тоже может увидеть их — в зеркале; может, даже через обычное стекло. Только вот фотоаппарат не фиксирует их. Единственное, что может «записать» их, удержать на месте — это мозг человека, память человека. Правда, как я уже успел выяснить, и на нее надеяться нельзя. Считать, касаться и расставлять все по местам — помогает, хотя бы некоторое время. Забавно, что на поведении, которое мы считаем психически нестабильным, на самом деле держится весь наш мир. Рано или поздно эффект этих простых действий сходит на нет, защита ослабевает. А ведь это так трудно, так утомительно.

Боже, как это тяжело.

Может, на сегодня хватит? Я безумно устал, знаю, хотя и знаю, время еще есть.

[Обещаю прописать ему успокаивающее, не очень сильное, если он желает, зато понадежнее, чем амбиен или лунеста; если не переусердствовать, говорю я, то оно поможет. В ответ мне достается благодарная улыбка.]

Вот здорово, вот спасибо. Только я вас попрошу, доктор, можно?

[Ну конечно, можно, говорю я.]

Выпишите так, чтобы таблеток было двадцать, сорок или шестьдесят. Все эти числа — хорошие.

[Следующая встреча]

[Говорю, что он выглядит значительно лучше, хотя это далеко от правды. На кого Н. действительно похож, так это на будущего клиента психбольницы, и если он безотлагательно не примется за поиски своего личного шоссе Сто семнадцать, чтобы уехать из кошмара, то не успеет и глазом моргнуть, как окажется в соответствующем заведении. Задним ли ходом, раз-вернувшись ли, он должен выбраться с треклятого поля. Да и я тоже. Мне приснилось поле, о котором рассказывает Н., уверен, что смогу его легко найти, если захочу. Не то чтобы оно мне нужно — я не собираюсь принимать участия в безумии моего пациента; я лишь уверен, что знаю, где это поле. Ночью в прошлые выходные мне не спалось и вдруг подумалось, что я, должно быть, не раз и не два, а сотни раз проезжал по мосту Бейл, и тысячи — мимо кладбища «Сиринити-Ридж» с Шейлой на автобусе в начальную школу Джеймса Лоуэлла. Так что я уверен, что мог бы найти поле Аккермана. Будь оно мне нужно. Если оно вообще существует.]

[Спрашиваю, помогли ли ему препараты, спит ли он. По черным кругам под глазами вижу, что нет. Интересно, как он сам ответит.]

Намного лучше, спасибо. Да и невроз, похоже, отступает.

[Пока он отвечает, руки выдают хозяина с головой: украдкой расставляют вазу и коробку с салфетками по противоположным углам стола у кушетки. Сегодня Сэнди поставила розы; Н. укладывает их, соединяя коробку и вазу. Спрашиваю, что произошло после того, как он съездил на поле Аккермана с цифровым фотоаппаратом. Пожимает плечами.]

Ничего особенного. Ну, конечно, пришлось заплатить парню в магазине за «Никон». Вскоре действительно наступил сезон охоты, и бродить в тех лесах стало опасно, даже если одеться во все ярко-оранжевое. Хотя сомневаюсь я что-то, что в тех краях много оленей. Уверен, они обходят камни стороной.

Проявления невроза ослабли, и я снова начал спать по ночам.

Во всяком случае, иногда. Конечно, видел сны. Всегда снилось поле; я пытался вырвать фотоаппарат из травы, а та цепко его держала. Маслянистая тьма разливалась из круга. Поднимая глаза в небо, я видел, что оно треснуло с востока на запад, и жуткий черный свет лился из трещины. И свет был *живой*. И голодный. Вот тогда-то я и просыпался, обливаясь потом. Иногда с криками.

Затем, в начале декабря, ко мне в контору пришло письмо. На нем было написано: «Лично в руки», внутри лежало что-то маленькое. Я разорвал конверт, и оттуда на стол выпал ключик с биркой. На бирке стояло: «П.А.». Я сразу понял, что это такое и что это значит. Будь там записка, я бы прочел что-то вроде: «Пытался уберечь тебя. Не моя вина, да и не твоя, наверное. Теперь и ключ, и то, что он отпирает, — твое. Ты отвечаешь за все».

Я опять поехал в Моттон на следующие выходные, правда, на парковку к «Сиринити-Ридж» и не подумал заезжать. Не было смысла, понимаете? Портленд и другие маленькие городки, попавшиеся мне на пути, уже прихорошились рождественскими украшениями. Мороз стоял кусачий, снег еще не выпал. Обращали внимание, что перед тем, как снег ляжет на землю, всегда жутко холодно? И в тот день так было.

Небо обложило, и в конце концов пошел снег. Ну и пурга началась той ночью! Помните?

[Ответил ему, что помню. Я действительно помню, хотя и не рассказал Н., почему так хорошо помню. Мы с Шейлой поехали проследить, как идет ремонт в родительском доме. Повалил снег, и мы остались. Слегка выпили и танцевали под старые записи «The Beatles» и «The Rolling Stones». Было здорово.]

Цепь все еще висела поперек дороги; замок открылся ключом с надписью «П.А.». Спиленные деревья лежали у обочины. Я ожидал, что так и будет. А зачем теперь перекрывать дорогу? Поле теперь *мое*, и камни теперь *мои*. И за все, что они там хранят, теперь я несую ответственность.

[Спрашиваю, не испугался ли он; ожидаю утвердительного ответа. Н. удивляет меня.]

Да нет, не особенно. Потому что место изменилось. Я знал об этом, еще не съехав на грунтовку со Сто семнадцатого шоссе, от самого перекрестка. Я чувствовал. Я слышал кричащее воронье, открывая замок своим новым ключом. Обычно этот звук кажется мне безобразным; в тот день не было музыки слаще. Боюсь показаться напыщенным — звучали они благой вестью. Я знал, что на поле Аккермана меня ждут восемь камней, и не ошибся. Знал, что они не будут лежать ровным кругом; в этом тоже не ошибся. То были камни, обнаженные тектоническим сдвигом либо ледовым оползнем восемьдесят тысяч лет назад, а может, каким-нибудь ливнем совсем недавно.

Понял я и еще кое-что. Я активировал поле, просто посмотрев на камни. Человечьи глаза убирают восьмой камень. Объектив фотоаппарата только ставит его на место, не закрепляя. Теперь придется восстанавливать защитную функцию разными символическими действиями.

[Он умолкает, задумывается, а когда снова начинает говорить, мне кажется, что Н. полностью сменил тему.]

А вы знали, что Стоунхендж мог служить и часами, и календарем для своих строителей?

[Отвечаю, что где-то об этом читал.]

Те, кто его построил и кто построил другие подобные сооружения, наверняка знали, что время можно отсчитывать и

по обыкновенным солнечным часам. А календарь... да разве доисторические народы Европы и Азии не отсчитывали дни зарубками на каменных стенах пещер? Так что же такое Стоунхендж по сути дела, если это все-таки гигантский календарь с часами? Да не что иное, как памятник навязчивому неврозу, скажу я вам. Это такой гигантский невроз посреди равнины Солсбери.

Если только он не охраняет нас от чего-то. Держит на запоре вселенную безумия, которая располагается по соседству, буквально за дверью. Были дни — и немало! — прошлой зимой, когда я поверил, что снова стал самим собой. Я поверил, что мои видения и гроша ломаного не стоят, и все, что я видел на поле Аккермана, произошло лишь в моей голове. Все это невротическое недоразумение прошло; просто мозги «споткнулись».

А потом наступили дни — наступили вновь этой весной, — когда я понял: нет, это не видения, я что-то там включил, на поле. И после этого у меня в руках оказалась эстафетная палочка, я стал последним в длинной-предлинной череде тех, чей бег начался, наверное, еще в доисторические времена. Я знаю, это звучит безумно, — а иначе зачем бы я все это рассказывал психотерапевту? — и у меня до сих пор бывают дни, когда я думаю, что это действительно безумие, даже слоняясь ночами по дому, трогая выключатели и конфорки. Я склоняюсь к тому, что это просто... гм... неправильно сработавшие химические соединения у меня в голове; несколько таблеток — и все пройдет.

Почти всю зиму я думал так, и было хорошо всю зиму. Или, во всяком случае, лучше. Затем, в апреле этого года, все опять покатилося под откос. Я стал считать больше, стал больше трогать и расставлять в диагонали или по кругу все, что только не было приколочено гвоздями. Дочка — та, которая ходит в школу недалеко отсюда, — вновь заметила, каким усталым я выгляжу и каким нервным я стал. Представляете, спросила, не из-за развода ли это, а когда я сказал, что нет,

похоже, не поверила. Спросила, «не хочу ли я об этом с кем-нибудь поговорить», и, Бог свидетель, так я попал сюда.

У меня опять начались кошмары. Однажды ночью, то было в начале мая, я с криком проснулся в спальне на полу. Во сне ко мне явилось гигантское серо-черное чудище, крылатая горгулья с кожистой шлемообразной головой. Здоровенная тварь в милю высотой стояла на развалинах Портленда, я видел перья облаков у ее лап, покрытых чешуей, в когтистых кулаках визжали и бились люди. И я знал — *знал!* — что тварь прорвалась сквозь расставленные камни поля Аккермана, что это лишь первое и наименьшее из уродств, которые прорвутся сюда из того мира, и вина за это лежит на мне. Ведь я не справился с работой.

Я бродил по дому на заплетающихся ногах, расставляя все кругами и пересчитывая предметы. Чтоб в каждом круге было только четное количество предметов. До меня вдруг дошло, что я еще не опоздал, что она лишь начала пробуждаться.

[Спрашиваю, что значит «она».]

Да сила же! Помните «Звездные войны»? «Да пребудет с тобой сила, Люк!»

[Он дико хохочет.]

Только в нашем случае не надо, чтоб она «с нами пребывала». Ее надо остановить! Запереть!.. Запереть тот хаос, что рвется здесь сквозь тонкую ткань, и сквозь истончения по всему миру, как я понимаю. Иногда я думаю, что эта сила прокатилась по бессчетным вселенным и уничтожила их, оставляя за собой чудовищные следы, что несть числа времени этой силе...

[Н. добавляет что-то еще, тихо-претихо, так, что я не слышу. Прошу повторить; он лишь качает головой.]

Дайте-ка бумагу, док. Я напишу. Если то, что я рассказываю — правда, а не плод моего больного воображения, произносить это имя небезопасно.

[На бумаге царапает большими заглавными буквами: КТХУН. Показывает мне, а когда я киваю, рвет бумагу в кло-

чья, пересчитывает кусочки, и только (как мне кажется) насчитав четное их количество, бросает в мусорную корзину около кушетки.]

Ключ, что я получил по почте, лежал у меня дома в сейфе. Достав его, я покатил в Моттон — через мост, мимо кладбища, по проклятой грунтовке. Я не задумывался над тем, что делаю, это не тот случай, когда надо обдумывать решение. Это было бы все равно как сесть поразмыслить, стоит ли срывать шторы в гостиной, когда заходишь в комнату и обнаруживаешь, что они горят. Я не стал думать, я просто поехал.

Но фотоаппарат с собой прихватил, уж в этом не сомневайтесь.

Когда я очнулся от кошмара, было часов пять утра. На поле Аккермана я также застал еще раннее утро. Андроскоггин был великолепен — длинное сверкающее зеркало, совсем не змея; а над ним — тоненькие ростки поднимающегося с поверхности тумана, разбегающиеся в стороны. Как-то это называется... температурная инверсия, что ли? И туманные облачка в точности повторяли повороты и изгибы реки, так что над Андроскоггином висела река-близнец, река призрак.

Трава на поле вновь пошла в рост, заросли сумаха зазеленели. В этой зелени я и увидел самое жуткое. Возможно, часть моего кошмара — плод воображения, однако то, что я увидел в зарослях сумаха, было настоящим. Оно даже на фотографиях сохранилось. Изображение размыто, зато на нескольких снимках видно, как изменились кусты, что растут ближе к камням. Листья на них не зеленые, а черные; ветви же искривлены и похожи на буквы. Их можно разобрать, они складываются... Понимаете?... В его имя...

[Он показывает рукой на корзину с клочками бумаги.]

Тьма вернулась в каменный круг. Камней, конечно, было только семь — потому-то меня и тянуло на поле; глаз не было. Боже всемогущий, я успел вовремя. Только тьма и ничего больше. Зато тьма ворочалась и клубилась, она глумилась над красотой спокойного весеннего утра, злобно ликуя хрупкос-

ти нашего мира. Сквозь нее виднелся Андроскоггин, правда, во тьме — почти библейской, словно столп дыма — он стал сероватой размазанной грязью.

Я поднял фотоаппарат — ремень висел на шее, так что если бы даже я его и выронил, ему не достаться цепкой траве — и заглянул в видоискатель. Восемь камней. Опускаю — снова семь. Смотрю в видоискатель и вижу восемь! Восемь их и осталось, когда я опустил аппарат во второй раз. Конечно, этого было недостаточно, уж я-то знал. И знал, что нужно делать.

Заставить себя подойти к каменному кругу оказалось самой трудной задачей. Трава шуршала по отворотам брюк, словно звала — низким, грубым, недовольным голосом. Предупреждала, держись, мол, от нас подальше. В воздухе потянуло чем-то болезнетворным — какой-то опухолью и еще более жуткой дрянью, микробами, которых в нашем мире и не водится. Кожа у меня... *задребезжала*, и я подумал — по правде говоря, и сейчас так думаю, — шагни я тогда меж двух камней в круг, плоть моя обратилась бы в жижу и потекла по костям. Мне слышались завывания ветра, что бродит там, в центре круга, подчиняясь лишь своим законам. И еще я понял: *она идет*. Эта тварь со шлемообразной головой.

[Он снова тычет пальцем в сторону мусорной корзины.]

Она приближалась; если я увижу ее так близко, сойду с ума! Я навсегда останусь в центре круга с фотоаппаратом, в котором не будет ничего, кроме размыто-серых кадров. Тем не менее что-то толкало меня вперед. А когда я подошел ближе...

[Н. встает, медленно обходит кушетку по неровному кругу. Он ступает как-то... по-взрослому и одновременно в прыжку, словно ребенок в хороводе. Выглядит это жутко. Обходя свой круг, касается невидимых мне камней. Один... два... три... четыре... пять... шесть... семь... восемь. Восемь — остаются врага с носом. Замерев, Н. смотрит на меня. Приходили ко мне пациенты в период обострения, и немало. Такого затравленного взгляда я не видел никогда. В глазах не безумие, а ужас.]

Взор скорее ясен, чем замутнен. Все, что он рассказывает, конечно, бред. Правда, нет сомнения: для него этот бред — реальность. Помогаю ему: «Вы подошли к камням и коснулись каждого».]

Да, я трогал их один за другим. Не могу сказать, что мир при этом становился безопаснее, устойчивее, *реальнее* с каждым камнем, которого я коснулся. Нет, далеко не так. А вот с каждым вторым — да. Понимаете? С каждым *четным* камнем. С каждой парой танцующая тьма таяла; я добрался до восьмого — тьма растворилась. Трава в центре круга пожелтела и пожухла, зато тьма исчезла! Откуда-то издалека донеслось птичье пение.

Я отступил. Солнце сияло вовсю, и река-призрак над настоящей рекой полностью исчезла. Камни вновь стали просто камнями — восемь гранитных глыб валялись посреди поля, и надо было обладать неплохим воображением, чтобы представить их, стоящими по окружности. Я же чувствовал себя... *расщепленным*. Половина моего сознания понимала, что все происходящее — не более чем игра воображения, и воображению моему нездоровится. Другая половина знала, что все происходит по правде. Эта другая половина даже могла объяснить, почему вдруг все наладилось. Все дело в солнцестоянии, понимаете? Некоторые явления затрагивают весь мир — не только Стоунхендж: и Южную Америку, и Африку, даже Арктику! Американский Средний Запад — не исключение. Да что там, даже моя дочка заметила, а ведь она ничегошеньки не знает об астрономии. «Круги на полях» — вот как она назвала мои «постройки». Да, Стоунхендж и другие, подобные ему — календари, они отмечают не только дни и месяцы, но и периоды повышенной и пониженной опасности.

Сознание мое раскололось, и как же от этого стало невыносимо тяжело. Мне и сейчас не легче. После того случая я приезжал на поле раз десять. И двадцать первого тоже — в тот день, когда мне пришлось отменить нашу встречу, помните?

[Отвечаю, что, конечно же, помню.]

Весь день я провел на поле Аккермана, наблюдая и считая. Потому что двадцать первого произошло летнее солнцестояние — день наивысшей опасности. В декабре, в день зимнего солнцестояния — день наименьшей опасности. Так было в прошлом году, так повторится в этом, так было каждый год с начала времен. И на ближайшие месяцы — по меньшей мере до осени — у меня есть работенка. Двадцать первого... нет, я не смогу описать вам весь ужас того, что случилось. Разве словами передашь то, как восьмой камень растворялся, исчезал из бытия? И как трудно было заставить его вернуться в наш мир. Как тьма сгущалась и таяла, сгущалась и таяла... словно прибрежная волна. В какой-то момент я задремал, а когда проснулся, увидел прямо перед собой нечеловечий глаз — жуткий, трехстворчатый, — и он смотрел на меня! Я завопил, однако бежать не кинулся. Потому что я охранял весь наш мир. Мир зависел от каждого моего поступка, даже не зная об этом. Нет, я не побежал; вместо этого я поднял фотоаппарат и посмотрел в видоискатель. Восемь камней. Глаз исчез. После этого я уже не засыпал. Наконец круг укрепился, и я понял, что могу уйти — пока. К тому времени солнце уже клонилось к закату, огненный шар катился к горизонту, превращая Андроскоггин в окровавленную змею.

Док, мне не важно, правда все это или только мое воображение — для меня это тяжелый труд. А какой груз ответственности! Я так устал. Никто ведь не знает, что такое буквально нести весь мир на плечах.

[Садится на кушетку. Н. — крупный мужчина, хотя сейчас выглядит маленьким и усохшим. Неожиданно он улыбается.]

Что ж, хоть зимой отдохну. Если, конечно, дотяну до нее. И знаете что еще? Думаю, мы с вами на этом закончим. В смысле, совсем. Помните, как раньше по радио говорили: «Наша передача подошла к концу». Хотя... Кто знает? Может, я и приду. Или позвоню.

[Пытаюсь его переубедить. Объясняю, как много нам еще предстоит сделать. Соглашаюсь, что он несет тяжелый груз —

невидимую гориллу с полтонны весом на своей спине. Вместе мы можем уговорить ее слезть. Убеждаю его, что мы справимся, хотя потребуется время. Говоря все это, выписываю два рецепта и сердцем чую: он уже сделал выбор — сдался. Вижу, что сдался бесповоротно, хотя и взял рецепты. Может, ему надоело лечиться, а может, и жить.]

Спасибо за все, док. Спасибо, что выслушали меня. И насчет вот этого...

[Он указывает на стол у кушетки, на вазу, коробку и цветы.]

Я бы на вашем месте оставил все как есть.

[Протягиваю ему талончик на следующую встречу. Аккуратно кладет бумажку в карман. Похлопывает ладонью по карману, проверяя сохранность талончика. Думаю, что, может быть, я и ошибаюсь, что увижу его пятого июля. Бывало ведь, что я ошибался в пациентах. Он стал мне нравится, и я не хочу, чтобы Н. ступил в свой каменный круг и сгинул там навсегда. Круг существует лишь в его воображении, зато там он реален.]

[Здесь заканчивается запись о последней встрече]

4. Рукопись доктора Бонсана (фрагменты)

Я позвонил на его домашний номер, когда прочел некролог. Ответила С., та самая дочь, которая ходит в школу здесь, в Мейне. Звучала она на удивление собранно, сказала, что в глубине души совсем не удивлена. Она сказала мне, что первой приехала к Н. домой в Портленд (летом она работает в Кэмдене, неподалеку); я услышал, что в доме есть и другие. Что ж, хорошо. Семья существует по многим причинам; ее основная цель — собираться вместе, когда умирает один из членов, и это особенно важно, когда смерть насильственна или неожиданна, будь то убийство или самоубийство.

Она поняла, кто я такой. Говорила откровенно. Да, самоубийство. В машине. В гараже. Заткнул все щели полотенца-

ми — уверен, четным количеством. Десять или двадцать полотенец, если верить самому Н., оба числа *хорошие*. Тридцать было бы уже не так хорошо. Держат ли люди дома по тридцать полотенец? Особенно одинокие мужчины? Ох, не думаю. Я, во всяком случае, не держу.

С. сказала, что будет вскрытие. Не сомневаюсь, в его крови обнаружат препараты, которые я прописал. Вероятнее всего, не в смертельной дозе. Хотя какая разница? Н. мертв, не все ли равно, в чем причина?

Она спросила, приду ли я на похороны. Как трогательно. Честно говоря, трогательно до слез. Сказал, что приду, если семья не против. Она удивилась. Отчего же против? Приходите.

— В конце концов, это ведь я не смог ему помочь, — проговорил я.

— Вы пытались, — запросто ответила она. — Вот что важно. У меня опять защемило в глазах. Какая она добрая...

Прежде чем повесить трубку, я спросил, не оставил ли он записки. С. Ответила утвердительно. Три слова. *Я так устал*.

Надо было ему добавить подпись. Четыре — лучше.

7 июля 2007

И в церкви, и на кладбище семья Н. — особенно С. — приняла меня и окружила заботой. Вот оно, чудо семьи: узкий круг может разомкнуться даже в такое трудное для всех время и принять чужака. На похоронах было человек сто, многие из другого «семейного» круга — с работы. Я плакал на кладбище. Неудивительно, да и стыда я не испытываю: идентификация между пациентом и психоаналитиком зачастую принимает странные формы. С. взяла меня за руку, обняла и поблагодарила за помощь отцу. Ответил, что благодарности я недостоин — чувствовал себя полным ничтожеством и обманщиком к тому же.

Какой чудесный летний день. Как зла подчас бывает ирония судьбы!

Всю ночь прослушивал записи наших сеансов. Надо бы сделать стенограмму и распечатать.

Из истории болезни Н. получится как минимум статья — мой небольшой вклад в литературу о навязчивом синдроме, — а может, и что-то большее. Книга, например. Ну, не знаю. Удерживает меня одно — если возьмусь писать, придется поехать на поле, сравнить видения Н. с реальностью. Его мир с моим. Я уверен, что такое поле существует. А камни? Вероятно, есть и камни. Правда, лишь как камни, без того значения, которое приписала им его компульсивность.

Какой сегодня величественный алый закат.

17 июля 2007

Я взял выходной и отправился в Моттон. Давно уже подумывал об этой поездке и в конце концов решил — нет повода не поехать. Я «мандражировал», как выразилась бы мама; если уж я собрался описать историю болезни Н., то пора было прекращать мандраж. И нечего искать оправдания и пути к отступлению. Память детства проведет меня — мост Бейл, который мы с Шейлой почему-то (ни в жизнь не вспомню почему!) называли «Убей-мост»; вот Бой-Хилл и, конечно же, кладбище «Сиринити-Ридж» — я был уверен, что без труда найду дорогу Н. Так оно и вышло. Сомнений быть не могло, вряд ли поблизости есть другие грунтовки, перегороженные цепью с табличкой: «Проезд запрещен».

Я оставил машину на парковке у кладбища, как когда-то Н. Стоял жаркий летний полдень. Слышались редкие и отдаленные птичьи голоса. Сто семнадцатое шоссе было пустынным, лишь одинокий лесовоз пролетел мимо на бешеной скорости, взборошив волосы у меня на голове волной раскаленного воздуха и обдав густым дымом выхлопа. Я остался на дороге один-одинешенек. Вспомнилось детство, походы к «Убей-мосту» с маленькой удочкой на плече; я вышагивал с ней, как с карабином. Не боялся же я тогда? Приказал себе

и теперь не бояться. Приказать — одно, а не бояться — совсем другое. Думаю, что у меня были все основания бояться. Копаться в чужом диагнозе, выискивая первопричину невроза — не очень-то приятное занятие.

Я стоял перед цепью с одним вопросом в голове — действительно ли мне это надо? Действительно ли я хочу вторгнуться на чужую территорию? Пройти под запрещающий знак? Забраться в чужую навязчивую фантазию, которая, кстати, может, и убила моего пациента? Хочу ли я держать все это в голове, чтоб самому стать одержимым? В лесу выбор не казался таким уж однозначным, как утром, когда я натягивал джинсы и рыжие горные ботинки. Утром все казалось так просто: пойду посмотрю, насколько реальность похожа на то, что выдумал Н., или просто откажусь от мысли написать статью (или книгу). А что такое «реальность»? Кто я такой, чтобы утверждать: мир, данный в ощущениях доктору Б., реальнее мира, данного в ощущениях бухгалтеру Н.?

Ответ, впрочем, казался очевидным: доктор Б. не совершал самоубийства; он не считает, не трогает, не переставляет все вокруг себя без разбора; доктор Б. уверен, что числа — не важно, четные или нечетные — всего лишь числа. К тому же доктор Б. не считает, что весь мир лежит на его плечах. А вот бухгалтер Н. так считал. Из вышесказанного следует, что восприятие окружающей действительности доктором Б. значительно более реалистично, чем таковое же у бухгалтера Н.

Но стоило мне забраться сюда и почувствовать мощь и спокойствие этого *места* даже стоя на перекрестке, не пересекая границы, обозначенной цепью, как до меня дошло: а выбор-то на самом деле проще. Либо я отправляюсь по заброшенной дороге к полю Аккермана, либо разворачиваюсь и топаю по асфальту к машине. Уезжаю отсюда. Забываю о книге (которую мог бы написать), о статье (которую бы уж точно написал), забываю об Н. и продолжаю спокойно жить.

Вот только. Только...

Если я уеду (я пока говорю *если*), это будет значить, что на каком-то уровне, где-то глубоко в подсознании, где древ-

ние суеверия ходят рука об руку с животными страстями, я разделяю убеждение Н. в том, что поле Аккермана хранит тонкую ткань между мирами, защищенную кольцом волшебных камней, и что если я туда пойду, то вновь запущу в действие некий жуткий процесс, включусь в ужасную битву, которую Н. смог остановить (для себя) только самоубийством, да и то лишь временно.

Это означало бы, что я покорно принял (той же самой частью подсознательного, где все мы — словно муравьи, бездумно возводящие свой подземный город) на себя роль следующего хранителя врат. Что я избран. А таким мыслям стоит лишь проникнуть в голову...

— Жизнь моя превратится в кошмар, — произнес я вслух. — Я никогда больше не смогу смотреть на мир по-старому.

Простая, казалось бы, задача стала вдруг неразрешимой. Иногда нас незаметно заносит в края, где выбор перестает казаться простым, а последствия принятия ошибочного решения грозят катастрофой. Возникает угроза жизни — или психическому здоровью.

А может, и не было никакой свободы выбора? Может, свобода — лишь *видимость*?

Отбросив эти мысли в сторону, я протиснулся за один из столбиков, на которых висела цепь. И пациенты, и коллеги (последние, надеюсь, в шутку) называли меня колдуном. Никакого желания поддерживать такую репутацию у меня нет. Вот смотрю на себя в зеркало, пока бреюсь, и думаю: перед тобой человек, которым в ответственный момент жизни руководил не собственный разум, а бред умершего пациента.

Поперек дороги не лежало никаких деревьев, я лишь заметил несколько берез и сосен в канаве у дороги. Может, то был валежник этого года, может, прошлого или позапрошлого — я ведь не лесник, как я могу разбираться в таких вопросах? Деревья упали, и их оттащили в сторону.

Я добрался до холма; ближе к вершине лес расступался, открывая обширное пространство, заполненное знойным летним небом. Я словно побрел по сознанию Н. На полпути

к вершине остановился. Не затем, чтобы перевести дыхание, а чтобы спросить себя еще раз — в последний раз! — действительно ли я хочу идти дальше. Постоял и пошел вперед.

Лучше бы я повернул назад...

Поле было на месте. Вид, открывшийся на запад, завораживал, как Н. и описывал; у меня аж дыхание перехватило. Даже при том, что ярко-желтое солнце пригревало высоко в небе, а не сидело красным шаром на горизонте. И камни стояли на месте, метрах в сорока вниз по склону. Согласен, можно нафантазировать, что они расположены по некой окружности; однако в них нет ничего похожего на круг Стоунхенджа. Я пересчитал камни. Как Н. и говорил, их было восемь. Правда, еще он говорил — семь...

Хотя трава внутри группы камней и выглядела слегка пожухлой и желтоватой по сравнению с высокой, по пояс зеленой на остальном поле, назвать ее мертвой было нельзя. Я заметил, что подножие холма теряется и переходит в бесконечный смешанный лес, где уживаются и дуб, и ель, и береза.

Подойдя ближе, обратил внимание на небольшие скопления кустов сумаха. Их я бы тоже не назвал засохшими, хотя листья действительно были не зелеными с красноватыми прожилками, а черными и какими-то бесформенными. Как-то не так выглядели контуры кустов; на них стало трудно смотреть. Глаз ждет упорядоченных форм, а эти... оскорбляли глаз. Не знаю, как лучше объяснить.

Метрах в десяти от места, где я стоял, в кустах что-то белело. Подойдя ближе, заметил конверт и понял: это Н. оставил мне. Если не в день самоубийства, то незадолго до. Душа ухнула в пятки. Нахлынуло ясное осознание того, что, решив прийти сюда (*а решил* ли я на самом деле?), я совершил ошибку. И еще, что я был запрограммирован на эту ошибку изначально — ведь меня долгие годы учили верить не инстинктам, а разуму.

Чушь. Я ведь понимаю, что это бредовые мысли.

Конечно (и в этом весь смысл!), Н. тоже все это знал, однако продолжал обманывать себя.

Наверняка даже в тот момент, когда пересчитывал полотенца, готовясь к...

Пересчитывал, чтобы убедиться: их — четное количество.

Вот черт. Сознание иногда выкидывает такие номера... У теней появляются лица.

Конверт лежал в прозрачном полиэтиленовом пакете, чтобы не намок. Прямо на конверте виднелись ясные и четкие буквы: «ДОКТОРУ ДЖОНУ БОНСАНУ».

Я достал конверт из пакета, затем взглянул на камни на склоне. Все так же восемь. Естественно! Правда, не было слышно ни птиц, ни насекомых. День затаил дыхание. Тени застыли неподвижно. Теперь я знаю, что имел в виду Н., говоря о путешествии во времени.

В конверте что-то лежало. Оно скользило взад-вперед. Мои пальцы поняли, что это такое. Я разорвал конверт, и он упал мне на ладонь. Ключ.

И записка. Всего два слова. *Извините, док.* Его подпись, конечно. Только имя. Всего три слова. Нехорошее число. Если верить самому Н.

Положив ключ в карман, стоял и смотрел на кусты. Нет, что-то они совсем не похожи на кусты сумаха — черные листья, ветви перекручены, они так похожи на руны, или буквы...

Но не КТХУН же!

...понятно, пора уходить. Хватит с меня. С кустами что-то произошло, что-то их искорежило. Некий катаклизм в природе привел к отравлению почвы, ну так мне-то какое дело? Кусты — это вообще ерунда, главную роль здесь играют камни. Их восемь. Ты провел эксперимент и обнаружил, что мир таков, каким ты и хотел его увидеть, каким ты его знал и каким он всегда был. На поле слишком тихо? Оно тебя угнетает? А чего ты хотел после всех рассказов Н. об этом месте? Они, да еще мысли о его самоубийстве давят на твой разум. А теперь вернись в нормальную жизнь; плевать на тишину, на ощущение (оно лишь в твоём воображении; висит, словно грозовая туча) того, что в тишине что-то затаилось. Возвращаясь в нормальную жизнь, доктор Б.

Возвращайся, пока можешь.

Я вернулся к дороге. Высокая зеленая трава шипела по джинсовой ткани низким, кашляющим голосом. Солнце палило в шею и плечи.

Меня одолевало желание обернуться. Сильное желание. И, наконец, одолело.

Повернувшись, я увидел семь камней. Не восемь, а семь. Я их дважды пересчитал, чтобы убедиться. И в каменном круге действительно сгущалась тьма, словно туча скрыла солнце. Маленькая такая тучка, такая, что тени хватило только на *это место*. Нет, на солнечную тень это совсем не походило. А походило на вполне определенную тьму, и она двигалась над желтой, тусклой травой, кружась сама собой и вытягиваясь в сторону бреши, где — я уверен (почти уверен, в том-то и беда...) — раньше, когда я только пришел, стоял восьмой камень.

В голове пронеслось: «У меня нет фотоаппарата, чтобы вернуть камень на место».

И еще пронеслось: «Надо что-то сделать, пока я еще могу убедить себя, что ничего не произошло».

Хорошо это или плохо, судьбы мира волновали меня гораздо меньше, чем утрата связи с реальностью, чем утрата веры в реальный мир. Я ни секунды не сомневался, что видения Н. — полный бред, пока не увидел эту тьму...

Я не мог допустить, чтобы она закрепилась в моем сознании. Чтобы даже коснулась его.

Ключ от поля лежал в конверте, а конверт — надежно припрятан в кармане брюк; полиэтиленовый пакет я все еще сжимал в руке. Не задумываясь, я поднял пакет и посмотрел на камни сквозь него.

Выглядели они кривовато и размыто, даже когда я распрямил пакет, потянув края пальцами. Зато достаточно четко, чтобы я понял — камней восемь, восемь, а не семь, и тьма...

Труба?

Тоннель?

...исчезла! Ну конечно, ее и не было. Признаюсь, опустил пакет не без чувства страха; снова посмотрел на камни. Во-

семь. Настоящие и *полные*, как фундамент Тадж-Махала. Восемь.

Возвращаясь к дороге, я справился с желанием обернуться еще раз. А зачем смотреть? Восемь и восемь. И враг остался с носом — это я так шучу.

Решил не писать статьи. Думаю, лучше вообще не возвращаться к этой теме и забыть об Н. Важно, что я туда сходил, заглянул в глаза безумию, которое — уж в этом я уверен — засело в каждом из нас — и в докторе Б., и в бухгалтере Н. Как там говорят? Показать, где раки зимуют? Я сходил, посмотрел, где зимуют раки; это не значит, что я теперь должен нарисовать этих раков. Или, в моем случае, писать про раков.

Ну а если мне показалось, что я увидел что-то еще? Если хоть на мгновение допустить...

Что ж, возможно... Пойдите-ка! Это лишь подтверждение того, насколько сильными были видения несчастного Н. Это объясняет его самоубийство лучше, чем могла бы сделать предсмертная записка. Нет, все же некоторые вещи лучше не ворошить. Думаю, передо мной как раз такой случай. Эта тьма...

Труба-тоннель, который *увидел*...

В любом случае к Н. возврата не будет. Ни статьи, ни книги. Эту страницу необходимо перевернуть. Да, ключ открывает замок от цепи в лесном тупике. Я-то тут при чем? Я этот замок открывать не собираюсь. Выбросил ключ.

«Засим в постель», — как говаривал великий Сэмми Пипс.

Солнце красно к вечеру — моряку бояться нечего; солнце красно к вечеру над всем полем. Туман встает над травой? Может быть. Над зеленой травой. *Не* над жухлой.

Андроскоггин сегодня зальется кровью — алая мертворожденная змея, истекающая в материнской утробе. (Интересно!) Хотел бы я взглянуть. Сам не знаю зачем. Признаю.

Я просто устал. Завтра утром все пройдет. Утром я, может, снова захочу написать статью. Или книгу. Только не сегодня.

Засим в постель.

18 июля 2007

Выудил ключ из груды мусора сегодня утром и положил в ящик стола. Теперь мне думается, что выбросить его — значит признать, что, может быть... Понимаете? Вот. Да и вообще, это ведь всего-навсего ключ.

27 июля 2007

Ладно, признаю. Я стал пересчитывать некоторые предметы. Стремлюсь к четным числам вокруг себя. Скрепки. Карандаши в карандашнице. Всякое такое. Процесс успокаивает. Все-таки я подцепил простуду от Н. Это я так шучу, хотя и не смешно.

Мой куратор, психиатр доктор Дж. из Августы, главврач в Сиринити-Хилл. Мы созвонились, и я сказал, что работаю над статьей и собираюсь сделать сообщение на Чикагской конференции этой зимой; обсудили доклад в общих чертах. Насчет конференции я, конечно, наврал. К чему мне лишние вопросы? Мы обсудили возможность передачи симптомов навязчивого невроза от пациента — психоаналитику. Дж. подтвердил мои догадки. Оказывается, это явление не распространено, хотя редким его назвать тоже нельзя.

Еще он спросил:

— Это ведь не затрагивает тебя лично, Джонни?

Проницательный. Догадливый. Всегда был умницей. А уж о вашем покорном знает столько...

— Нет, — отвечаю. — Просто интересно стало. Даже как-то затянуло...

Мы еще пошутили о чем-то, а потом я пошел к журнальному столику и пересчитал книги. Шесть. Хорошо. Шесть бьет звериную шерсть, как шутил когда-то Н. Проверил, на месте ли ключ. Конечно, он был, где положено — в ящике стола, как же иначе? *Один* ключ. Хорошо это или плохо? *И*

вот остался он один... вот так-то. Может, бессвязно, зато есть над чем задуматься.

Выходя из комнаты, я вспомнил, что на столике кроме книг лежали и журналы. Вернулся и пересчитал их тоже. Семь! «Пипл» с Брэдом Питтом на обложке отправился в мусорную корзину.

А что такого-то? Если мне от этого спокойнее, не все ли вам равно? В конце концов, это всего лишь Брэд Питт!

Ну а если станет хуже, проконсультируюсь с Дж. серьезно. Торжественно обещаю. Выпишет мне габапентин, и все пройдет. Строго говоря, это антиконвульсант, зато есть данные, что помогает в случаях, сходных с моим. Конечно...

3 августа 2007

Кого я пытаюсь обмануть? Случаев, сходных с моим, нет и быть не может. И габапентин не помогает. Мертвому припарка.

А вот счет помогает. Удивительно, как он меня успокаивает. И еще кое-что. *Ключ лежал не в том углу ящика стола!* Я не знал об этом, просто догадался. К интуиции нельзя относиться наплевать! Передвинул ключ. Стало лучше. Положил второй ключ — от сейфа — в противоположный угол. Похоже, уравновесил их. Шесть бьет шерсть, два — всему голу. Шутка! Здоровый сон прошлой ночью. Нет-нет. Кошмары! Андроскоггин на закате. Алая рана. Утроба. Мертворожденный.

10 августа 2007

Там творится что-то неладное. Восьмой камень слабеет. Нет смысла убеждать себя в обратном, каждый нерв — *каждая клетка моего тела!!!* — вопит об этом. Считаю книги (и

обувь тоже; да-да, Н. догадался, и нечего насмехаться над этим), помогает. Правда, не лечит **КОРЕНЬ ЗЛА**. Расставляю все по диагонали, только и это не особенно помогает. Хотя с другой стороны...

Взять, к примеру, хлебные крошки. Укладываем их в линию лезвием ножа... или сахар, рассыпанный полоской на столе. ХА! А как сосчитать, сколько их, этих крошек? Кристалликов сахара? Много, слишком много! Не сосчитать!

Пора прекратить это. Еду туда.

Возьму фотоаппарат.

11 августа 2007

Тьма. Боже все милостивый. Почти *абсолютная тьма*. И еще что-то.

Во тьме был глаз.

12 августа

Видел ли я? На самом деле?

Не знаю. Кажется, видел. Точно не знаю.

Написал семнадцать слов.

Двадцать будет лучше.

19 августа

Хотел позвонить Дж., рассказать, что со мной происходит. Уже взял трубку, потом передумал, положил ее. А что я ему скажу? К тому же $1-207-555-1863 = 11$. Злое число. Габапентин почти не помогает, а вот валиум — да. Кажется... Главное — не принимать слишком долго.

16 сент.

Был в Моттоне. Весь в поту. Трясет. Зато теперь их восемь. Я все исправил. Я! Исправил! ВСЕ! Боже. Ведь...

Но!

Я не смогу так жить все время.

Зато я — **ЗАТО Я УСПЕЛ КАК РАЗ ВОВРЕМЯ. ОНО УЖЕ ГОТОВО БЫЛО ВЫБРАТЬСЯ.** Врата держат до определенного момента, потом требуется вызов врача. Шутка. Моя.

Я видел глаз. Трехстворчатый, как и говорил Н. Ни в этом мире, ни в этой вселенной нет ничего подобного.

Он прогрызает себе путь.

Я не смирюсь. Сначала безумие Н. пустило корень в моей психике (гниловатый корешок, как я шучу), и он стал расти, рвать душу на части; пророс другой корень, третий; укрепился ствол. Они раздирают меня, раздирают мое...

Но!

Я видел своими глазами. Рядом с нашим миром есть другой. Чудовища и боги.

МЕРЗОСТНЫЕ БОГИ!

Остался один вопрос. Убью себя, тогда что? Если все — фантазия, мучениям конец. А если все происходит не только в моем воображении? Восьмой камень укрепитя. По крайней мере до тех пор, пока кто-нибудь — следующий «ХРАНИТЕЛЬ» — не сунет нос на поле Аккермана и не увидит...

Гм-м... А самоубийство — не самый плохой исход!

9 октября 2007

В последнее время — заметные улучшения. В голове не звучат чужие мысли. Два дня назад, когда я последний раз ездил на поле Аккермана, опасения оказались напрасны. Камней, крепких, как мироздание, было восемь. В небе кружила ворона. Она сделала крюк, чтобы не пролетать прямо

над камнями, зато она летала над полем! Дас ист фантастиш! (Шутка.) Я стоял с фотоаппаратом на шее (да, не любят тутошные камни фотографироваться... Н. был прав, у меня тоже ничего не получилось. Радон?), стоял в том месте, где дорога теряется в траве, и думал: ну как мне могло привидеться, что их было семь? Должен признаться, что сосчитал шаги, пока шел к машине (путь кончился нечетным шагом у двери, поэтому я еще походил вокруг) — ясно, что такие симптомы быстро не проходят. Они словно судороги в сознании — сжимают и долго не отпускают. Все-таки может быть...

Смею ли я надеяться, что станет лучше?

10 октября 2007

Конечно, есть и другое объяснение; иногда я с ужасом размышляю над ним. А вдруг Н. был прав насчет солнцестояний? Одно прошло, и скоро настанет другое. Закончилось летнее, впереди — зимнее. Если это так, то хорошо, правда, ненадолго. Если эти симптомы, эти «судороги» начнутся следующей весной... а потом — другой год, и опять весна...

Я не вынесу, вот и все.

А теперь еще этот глаз. Не могу отделаться от мыслей о нем — глаз, плывущий в абсолютной тьме.

И что-то там еще виднеется.

КТХУН!

16 ноября 2007

Восемь. И всегда было восемь. Теперь я знаю точно. Поле лежало в тишине, покрытой осенней увядшей травой, голые деревья прижались к подножию холма. Под тяжелым небом — стальная гладь Андроскоггина. Мир замер в ожидании снега.

Но самым прекрасным подарком была птица! Она сидела, нахохлившись, на одном из камней.

ПТИЦА!

Уже по дороге в Льюистон я осознал, что даже не пересчитал шаги к машине.

Подведем итоги. Насколько я теперь понимаю, я подцепил «простуду» от одного из моих пациентов, и она потихоньку проходит. Кашля уже нет, насморк почти прошел.

И как я раньше этого не понял.

25 декабря 2007

Рождественский вечер я провел с Шейлой и ее семьей — поужинали вместе, обменялись подарками. Дон с Сетом пошли в церковь, на процессию со свечами (у добрых прихожан волосы встали бы дыбом, узнай они о языческих корнях этого ритуала), а Шейла сжала мою ладонь и сказала:

— Ты вернулся. Как хорошо. Я так боялась!

Да, родных и близких не обманешь. Это доктор Дж. мог что-то *заподозрить*, Шейла все *видела*. Милая Шейла.

— Этим летом и осенью у меня был сложный период, — ответил я. — Я бы сказал, духовный срыв.

Срыв-то, скорее, был душевный. Когда человек надолго задумывается о том, что мировосприятие — это лишь вуаль, за которой кроются жуткие чужие миры, происходит душевный срыв.

Далекая от таких абстрактных идей, Шейла пояснила:

— Я боялась, что у тебя рак, Джонни. Остальное — ерунда.

Милая Шейла! Рассмеялся и обнял ее.

Потом, когда мы убрали на кухне после праздничного ужина (попивая эг-ног), я спросил, не помнит ли она, почему мы в детстве называли мост Бейл — «Убей-мостом». Сестра наклонила голову набок и рассмеялась.

— Это все твой дружок выдумал. Помнишь? В которого я была влюблена.

— Чарли Кин, — ответил я. — Не видел его черт знает сколько времени, разве что по телевизору. Бедолага изображает из себя доктора Айболита.

Она в шутку шлепнула меня по руке.

— Завидуют молча. Ну да ладно. Помню, мы раз удили рыбу с того моста, ма-а-аленькими такими удочками. Чарли перегнулся через перила и говорит: «А знаете, если с этого моста загреметь, то насмерть точно расшибешься. Убей-мост». И так нам стало смешно, хохотали как полоумные. Ты разве не помнишь?

Потом я вспомнил. Мост Бейл стал Убей-мостом с того самого дня. И Чарли — добрая душа — тогда точно подметил: ручей Бейл неглубок под мостом. Потом он, конечно, впадает в глубокий Андроскоггин — может, точку слияния даже видно с поля, я как-то не обратил внимания. Андроскоггин течет к морю. Один мир ведет к другому, и каждый из них прячется глубже предыдущего; такое устройство заложено в природу всего сущего на земле.

Вернулись Дон и Сет, оба мужчины Шейлы, большой и маленький, оба запорошены снегом. Мы обнялись, попрощались, и я покатил домой, слушая рождественские песни. Я уже давно не был так счастлив.

Думаю, эти записи... этот дневник... эту хронику несостоявшегося безумия (я ведь почти сошел с ума, стоял в двух шагах от края пропасти) пора прекращать.

Слава тебе, Господи; а меня — с Рождеством!

1 апреля 2008

Сегодня день дурака, и в дураках остался я. Приснилось поле Аккермана. Голубое небо над темно-синей рекой, талый снег и первая травка зеленеет и пробивается сквозь белые полосы. И опять стоят семь камней. И опять тьма сгущается в круге. Ее пока немного — так, темная клякса, однако клякса вырастет, если не принять мер.

Проснувшись, пересчитал книги. Шестьдесят четыре. Хорошо. Четное, и можно делить, пока не дойдешь до единицы. Интересно, надо взять на заметку. Счет не помог. Рассыпал кофейные зерна на кухонном столе. Выровнял в диагональ. Стало лучше — пока. Все равно надо ехать, устраивать осмотр. Мандражировать некогда. Оно начинается снова.

Снег почти сошел, приближается летнее солнцестояние (еще не высоко над горизонтом; уже поднимается), и все начинается опять.

Я как...

Боже, помоги мне. Я как пациент, у которого была ремиссия, и вот, проснувшись как-то утром, он обнаруживает здоровенный жирный сгусток в подмышке.

Я не могу больше.

Я должен еще.

[Позже]

На дороге еще лежал снег, тем не менее я добрался до П.А. Оставил машину на кладбищенской парковке и пошел пешком. Камней было всего семь, как и во сне. Взял фотоаппарат, посмотрел в видоискатель. Снова восемь. Восемь — пощады просим. Восемь — и враг с носом. Вот и хорошо.

Для всего мира хорошо.

А вот для доктора Бонсана — не очень.

Все это начинается опять; мой разум стонет от боли и предчувствия.

Боже, пожалуйста, спаси меня от этого кошмара.

6 апреля 2008

Как долго семь камней не хотели превращаться в восемь сегодня! А сколько еще всего предстоит делать... Считать, составлять по диагонали — нет, не ставить по местам, как гово-

рил Н., а выравнивать, вот что мне предстоит. Это символ, как причастие хлебом и виной.

Как я устал. А до солнцестояния еще так далеко.

Оно только набирает силу, а солнцестой так далеко.

Почему Н. не увил себя до того, как пришел ко мне? Экоистичная твар.

2 мая 2008

Думал, в этот раз мне конец. Думал, оно меня убьет. Или сведет с ума. Я уже сошел с ума? Боже, да откуда мне знать. И Бога нет, не может быть никакого Бога перед ликом этой тьмы. И глаз, ГЛАЗ, что вперился в меня оттуда. Там что-то еще...

ТВАРЬ С ГОЛОВОЙ-ШЛЕМОМ. ОТПРЫСК ЖИВОЙ БЕЗУМНОЙ ТЬМЫ.

Я слышал голоса. Голоса из глубины каменного круга, из самого сердца тьмы. Я все же сделал восемь из семи, хотя на это ушло много много много много много времени. Много рассмотрел в фот; кружил, считал шаги; увеличил круг до шестидесяти четырех шагов, и тут все кончилось, слава богу. «Шире и шире кружась...» — Ейц! Взглянул вверх. Огляделся. *Его* имя вплелось в каждый кустик сумаха, в ветви каждого дерева у подножия проклятого холма: *Ктхун! Ктхун! Ктхун! Ктхун!* Глаза б мои не видели! Смотрю вверх, и там нет упокойствия: облага выстроились в голубом небе: КТХУН. Смотрю на реку, а она упирается в поле острым шевроном: К. Как в «Ктхун».

Как спасти такой мир? Неужели все это — правда?

Не праведливо!!!!!!!

4 мая 2008

Закрою ли я дверь убив себя

Наступит покой, пусть даже венное забвение

Поеду туда снова. На сей раз не до конца. Только до Убей-моста.

Там неглубоко. Дно каменистое.
Лететь футов тридцать.
Не самое хорошее число, ну так что ж
Если загреметь с этого моста то точно убьешься
Убьешься
Из головы не идет трехстворчатый глаз
Тварь с головой-шлемом
Визжащие лица на камне
КТХУН!

[Здесь заканчивается рукопись доктора Бонсана]

5. Второе письмо

8 июня 2008

Дорогой Чарли!

Ты ничего не ответил на первое письмо с рукописью Джонни, и это очень хорошо. Пожалуйста, не читай моего последнего письма, а если бумаги, которые были с ним, остались, сожги их немедленно. Так хотел Джонни, а волю усопшего надо исполнять.

Я убеждала себя, что доеду только до Убей-моста, чтобы посмотреть на место, где мы провели беззаботное детство; место, где он покончил с жизнью, когда беззаботные времена прошли. Я пыталась убедить себя, что этим я поставлю точку (так сказал бы Джонни). Все обернулось не так, мной правило то сознание, которое лишь прикрывается, как вуалью, моим сознанием. То сознание, где все мы — Джонни это прекрасно знал — так похожи. Иначе с чего бы мне брать

с собой ключ? Просто он лежал на своем месте, в кабинете. Не в том ящике, где я нашла рукопись, а в верхнем, над замочной скважиной. Рядом с другим ключом — «для выравнивания», как он и сказал.

Послала бы я тебе ключ вместе с рукописью, если б нашла их в одном месте? Не знаю. Правда, не знаю. Хотя в общем-то я рада тому, как все сложилось. Потому что ты мог бы *захотеть* туда съездить. Тебя могло бы потащить простое любопытство или что-нибудь еще. Что-то посильнее.

А может, все это чушь. Может, я только потому взяла ключ, поехала в Моттон и нашла дорогу, что я та, кем назвала себя в первом письме: дочь Пандоры. Откуда мне знать? Н. не знал. И мой брат тоже не знал; не знал до самого конца. Он ведь всегда говорил: «Я — профессионал, мне можно, а вы даже не пытайтесь проделать это дома!»

В любом случае не беспокойся обо мне, со мной все в порядке. А если и нет, считать я умею. У Шейлы Леклер — один муж и один ребенок. У Чарли Кина — во всяком случае, согласно «википедии» — одна жена и три ребенка. А значит, ты можешь потерять больше, чем я. И кроме того, я, может, все так же в тебя влюблена.

Ни при каких обстоятельствах не приезжай сюда.

Продолжай выступать в своих программах об ожирении, злоупотреблении лекарственными препаратами, инфарктах у мужчин моложе пятидесяти и прочих нормальных явлениях.

Если ты не читал рукописи (я хотела бы надеяться, что это так; честно говоря, сомневаюсь — у Пандоры наверняка были и сыновья), не вскрывай конверта, хорошо? Отнеси это на счет того, что у женщины истерика в связи с неожиданной потерей брата.

Там ничего нет.

Просто камни.

Я своими глазами видела.

Клянусь, там ничего нет, поэтому *держись отсюда по-дальше.*

6. Газетная статья (из честермиллского «Демократа», от первого июня 2008 года)

ЖЕНЩИНА ПРЫГНУЛА С МОСТА, ПОВТОРИВ САМОУБИЙСТВО БРАТА

МОТТОН — После того как известный психиатр Джон Бонсан совершил самоубийство, прыгнув с моста над Бейл-Ривер в небольшом городке Центрального Мейна немногим более месяца назад, его сестра, Шейла Бонсан, по словам друзей, была расстроена и подавлена. Ее муж, Дональд Леклер, рассказал нам, что женщина была «опустошена». Хотя никто, добавил он, не ожидал, что она замышляет самоубийство.

Однако так оно и было.

Как сообщил окружной коронер Ричард Чепмен, Шейла не оставила предсмертной записки, тем не менее все признаки самоубийства налицо.

Женщина припарковала машину на безопасном удалении от проезжей части на обочине у моста со стороны Харлоу. Автомобиль был заперт, сумочка лежала на пассажирском сиденье, водительское удостоверение — на сумочке. Далее он сказал, что туфли мадам Леклер были аккуратно поставлены у ограждения моста. Чепмен добавил, что вскрытие установит причину смерти — был ли то удар о каменистое дно или падение воды в легкие.

Помимо мужа, у Шейлы Леклер остался семилетний сын. Дату погребения укажут позже.

7. Письмо в электронной почте

keen1981

15:44

05.06.08

Крисси!

Пожалуйста, отмени все встречи на следующую неделю. Извини, что сообщаю в последнее мгновение, знаю, что тебе достанется за мои выкрутасы; прости, так надо. У меня появилось совершенно неотложное дело дома, в Мейне. Два друга детства, брат и сестра, совершили самоубийство при загадочных обстоятельствах, да еще и в одном и том же е--ном месте. Думаю, мне надо провести небольшое расследование, принимая во внимание рукопись, которую мне прислала сестра, прежде чем повторить (подчеркиваю, повторить!) самоубийство брата. Ее брат, Джон Бонсан — лучший друг детства; сколько раз мы вместе отбивались от хулиганья в школьных драках!

Пусть Хейден делает передачу о сахаре в крови. Он в себе сомневается. Это ничего, знаю, у него получится. Даже если не получится, мне нужно уехать. Джонни и Шейла были мне как родные.

Кроме того, хотя и не хочу показаться бесчувственным, скажу: по-моему, я накопаю материала на целую передачу. О синдроме навязчивого состояния. Может, и не столь животрепещущая тема, как раковая опухоль, зато невротики подтвердят: та еще гадость!

Спасибо, Крисси
Чарли

Кот из ада

Старик в инвалидном кресле дышал на ладан: явно чем-то болен, до смерти напуган и вот-вот отдаст концы. По крайней мере так казалось Холстону, а у Холстона был опыт в подобных вещах. Смерть была его ремеслом. Бизнесом. Недаром за свою карьеру киллера-одиночки он упокоил восемнадцать мужчин и шесть женщин. Кому, как не ему, знать обличье смерти!

В доме, вернее, особняке, царили тишина и покой. Тишину нарушали лишь тихий треск огня в большом каменном очаге и негромкое завывание ноябрьского ветра за окнами.

— Я хочу заказать убийство, — начал старик дрожащим, высоким, чуть обижённым голосом. — Насколько я понимаю, именно этим вы занимаетесь.

— С кем вы говорили? — перебил Холстон.

— С человеком по имени Сол Лодджиа. Он сказал, что вы его знаете.

Холстон кивнул. Если посредник Лодджиа, значит, все в порядке. Но если где-то в комнате спрятан «жучок», все, что предлагает старик... Дроган... может оказаться ловушкой.

— С кем вы хотите покончить?

The Cat from Hell

© Перевод. Т. Перцева, 2002

Дроган нажал кнопку на пульте, встроенном в подлокотник кресла, и оно рванулось вперед. Вблизи еще явственнее становился омерзительно-желтый смрад из смеси страха, дряхлости и мочи. Его затошнило, но он и виду не подал. Лицо оставалось невозмутимым и неподвижным.

— Ваша будущая жертва у вас за спиной, — мягко пояснил Дроган.

Холстон среагировал немедленно. От быстроты рефлексов зависела его жизнь, и долгие годы риска отточили их до немыслимой остроты. Он молниеносно сорвался с дивана, упал на одно колено, повернулся, одновременно запуская руку за лацкан спортивной куртки особого фасона и сжимая рукоятку короткоствольного пистолета сорок пятого калибра, висевшего в подмышечной кобуре, снабженной пружиной, которая послушно выкидывала оружие в ладонь при легчайшем прикосновении. И секунду спустя Холстон уже целился в... кота.

Несколько мгновений Холстон и кот глазели друг на друга. Холстона, человека без особого воображения и тем более предрассудков, охватило странное чувство. На тот короткий момент, что он стоял на коленях с направленным на жертву пистолетом, ему показалось, что он знает этого кота, хотя, разумеется, если бы видел когда-нибудь столь необычную масть, наверняка запомнил бы.

Морда, как клоунская маска, была разделена ровно пополам: половинка черная и половинка белая. Разделительная линия проходила от макушки плоского черепа, по носу и пасти, прямая, как стрела. В полумраке глаза казались огромными, и в каждом плавал почти круглый черный зрачок, сгусток отвеса пламени, тлеющий уголек ненависти.

В мозгу Холстона эхом отдалась мысль: «Мы старые знакомые, ты и я».

Мелькнула и тут же исчезла. Он убрал пистолет в кобуру и встал.

— Мне следовало бы прикончить тебя, старик. Не выношу шуток подобного рода.

— А я и не шучу, — возразил Дроган. — Садитесь. И взгляните на это.

Из-под одеяла, прикрывавшего его ноги, появился пухлый конверт.

Холстон сел. Кот, свернувшийся было в глубине дивана, немедленно вскочил ему на колени и вновь устался на Холстона неправдоподобно большими темными глазами с изумрудно-золотистой радужкой, тонким кольцом опоясывающей зрачки. Немного повозился, устроился поудобнее и томно замурлыкал.

Холстон вопросительно покосился на Дрогана.

— Очень ласковый, — вздохнул тот. — Поначалу. Но милая, дружелюбная кисонька уже убила троих в этом доме. Меня оставила напоследок. Я стар, болен... но предпочитаю до конца прожить отведенный Богом срок.

— Поверить невозможно, — пробормотал Холстон. — Вы наняли меня убить кота?!

— Загляните в конверт, пожалуйста.

Холстон молча приоткрыл клапан. Внутри оказалась груда сотенных и пятидесятидолларовых бумажек, по большей части потертых и замасленных.

— Сколько здесь?

— Шесть тысяч. Плачу еще столько же, если предъявите доказательства, что кошка мертва. Мистер Лодджиа сказал, что двенадцать тысяч — ваш обычный гонорар?

Холстон кивнул, машинально поглаживая кота, внутри которого словно работал крохотный моторчик. Свернувшись клубочком, он мирно спал, все еще удовлетворенно ворча. Холстон любил кошек. И, по правде говоря, был совершенно равнодушен ко всем остальным представителям фауны. Но кошки... Всегда гуляют сами по себе. Господь... если таковой существует, создал идеальные, холодно-бесстрастные машины для убийства. Коты — настоящие киллеры-одиночки животного мира, и Холстон питал к ним нечто вроде уважения.

— Я не обязан ничего объяснять, но все же объясню, — бросил Дроган. — Как говорится, кто предупрежден, тот воо-

ружен, а я не хочу, чтобы вы бросались в это дело очертя голову. Да и нужно же как-то оправдаться, чтобы вы не по считали меня психом.

Холстон снова кивнул. Правда, он уже решил принять этот необычный заказ, так что никаких комментариев не требовалось, но если Дроган желает выговориться, он готов слушать.

— Прежде всего знаете ли вы, кто я? Откуда взялись эти деньги?

— «Дроган Фамесьютиклс».

— Да. Одна из самых больших фармацевтических компаний в мире. А краеугольным камнем нашего успеха было вот это.

Он достал из кармана халата маленький пузырек с таблетками и протянул Холстону.

— Тридормал-фенобарбамин-джи. Прописывается почти исключительно безнадежно больным людям. Комбинация болеутоляющего транквилизатора и легкого галлюциногена. Удивительно быстро помогает беднякам смириться со своим состоянием и даже приспособиться к нему.

— Вы тоже его принимаете? — поинтересовался Холстон.

Но Дроган старательно проигнорировал вопрос.

— Он широко применяется во всем мире. Синтетический препарат, разработан в пятидесятых годах, в нашей нью-джерсийской лаборатории. Испытания проходили в основном на кошках по причине уникальности нервной системы кошачьих.

— И скольких вы уничтожили?

Дроган негодующе выпрямился:

— Это удар ниже пояса! Несправедливо и нечестно рассматривать наш труд под таким углом!

Холстон пожал плечами.

— За четыре года разработок, заслуживших одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами, сотрудники... э-э-э... умертвили почти пятнадцать тысяч кошек.

Холстон присвистнул. Едва ли не четыре тысячи кошек в год! Ничего себе!

— И теперь вы вообразили, будто вот этот самый вознамерился отомстить за погибших собратьев?

— Я ничуть не считаю себя виноватым, — возразил Дроган, но в голосе вновь задребезжали капризные раздраженные нотки. — Пятнадцать тысяч подопытных животных погибли во имя того, чтобы сотни тысяч человеческих существ...

— Можете не продолжать, — перебил Холстон. Оправдания всегда надоедали ему до смерти.

— Эта кошка появилась здесь семь месяцев назад. Не выношу кошек. Мерзкие твари, переносчики болезней... вечно шарят по всей округе, лазают в амбары и загонь... бьюсь об заклад, в их шкуре гнездятся целые колонии бог знает каких микробов... всегда пытаются принести в дом какую-то дохлятину с волочащимися внутренностями... это моя сестра захотела ее взять. И поплатилась за это.

Он со жгучей ненавистью оглядел кота, по-прежнему спящего на коленях Холстона.

— Значит, утверждаете, что он убил троих?

Дроган начал свой рассказ. Кот мурлил и потягивался под лаской сильных ловких пальцев киллера, скребущих шкуру. Время от времени в очаге взрывалось сосновое полено, и стальные пружины мышц, скрытые под кожей и мехом, мгновенно напрягались, становясь жесткими узелками. Ветер протяжно завывал в окнах старого дома, затерянного в глуши Коннектикута, возвещая о наступившей зиме. Голос старика все жужжал и жужжал...

Семь месяцев назад их было четверо: сам Дроган, его семидесятичетырехлетняя сестра Аманда, старше Дрогана на два года, ее стародавняя подруга Кэролайн Брудмур (из Уэстчестерских Брудмуров, по словам Дрогана), страдавшая эмфиземой в тяжелой форме, и Дик Гейдж, служивший в доме двадцать лет. Гейдж, которому было уже за шестьдесят, водил большой «Линкольн Марк IV», готовил и подавал вечерний шерри. Для уборки в дом приходила специально нанятая горничная. Все обитатели дома прожили таким образом почти два года: унылое сборище дряхлостей и

их семейный вассал. Единственными развлечениями были сериал «Голливудские кварталы» и споры о том, кто кого переживет.

И тут появился кот.

— Первым увидел его Гейдж. Тварь жалобно мяукала и отиралась у дома. Он попытался прогнать его. Кидался палками и камешками и несколько раз попал. Но животное не думало убираться. Унюхала запах еды. Не поверите, но тогда она казалась настоящим мешком с костями. Люди берут кошек на лето, а к осени выбрасывают на улицу погибать. Бесчеловечная жестокость.

— По-вашему, вытягивать из них нервы — лучше? — осведомился Холстон. Но старик, не обращая на него внимания, повторил, что всегда ненавидел котов, и когда этот мерзавец отказался уйти, велел Гейджу дать ему отравленной еды. Большое блюдо соблазнительных кошачьих консервов «Кэло», одобренных Три-Дормал-Джи. Однако кот обошел блюдо стороной. Но тут Аманда Дроган увидела животное и потребовала взять его в дом. Разгорелся скандал, но она, как всегда, стояла на своем.

— Подумать только, — жаловался Дроган, — она собственными руками внесла кота в прихожую. Тот мурлыкал, совсем как сейчас. Но и близко ко мне не подходил. Никогда... Пока Аманда не налила ему молока.

«О, взгляните на бедняжку, совсем изголодался», — ворковала она, и Кэролайн ей вторила. Отвратительно. Клянусь, они вытворяли это назло мне, зная, как я отношусь к кошкам, со времен программы испытаний Три-Дормал-Джи. Они обожали поддразнивать меня, вечно подкалывали.

Он окинул Холстона мрачным взглядом.

— Но обе заплатили за это, уж будьте уверены.

В середине мая Гейдж, собравшийся накрывать на стол к завтраку, нашел Аманду Дроган лежавшей у подножия главной лестницы, среди россыпи осколков керамики и подушечек «Фрискис». Выпиравшие из орбит глаза незряче уставились в потолок. Из носа и рта текла кровь, образуя лужицы

на полу. Спина и ноги сломаны, а шейные позвонки разлетелись вдребезги.

— Кот спал в ее комнате, — продолжал Дроган. — Аманда обращалась с ним, как с ребенком.

— Малыш хочет баиньки... Может, покушаешь, долгой? Крошка желает пи-пи...

Ну не пакость ли? Чтобы такая бой-баба, как моя сестра, изрекала подобное? Думаю, он разбудил ее своим гнусным ором. Она взяла его блюдце. Аманда вечно твердила, что Сэм не слишком любит «Фрискис», если не смочить их молоком. Поэтому и хотела спуститься вниз. Кот терся о ее ноги. Аманда сильно одряхла и легко теряла равновесие, да к тому же еще не совсем проснулась. Они добрались до верхней площадки, и кот, можно сказать, дал ей подножку...

Холстон подумал, что такое вполне возможно. Он вдруг представил худую старушку, летящую с лестницы, слишком ошеломленную, чтобы вскрикнуть и позвать на помощь. Подушечки «Фрискис» полетели в разные стороны, когда она рухнула вниз головой. Блюдце разбилось. И вот она уже скорчилась у подножия лестницы. Хрупкие кости раскрошились, глаза открыты, ручейки крови медленно сочатся из носа и рта. А мяукающий кот медленно спускается по ступенькам, с удовольствием подбирая по пути аппетитные кусочки «Фрискис».

— А что сказал коронер? — спросил он у Дрогана.

— Смерть в результате несчастного случая, разумеется.

— Но почему вы еще тогда не избавились от кота? После гибели Аманды?

Естественно, потому, что Кэролайн Брудмур угрожала в этом случае немедленно уехать. Билась в истерике и ничего слушать не желала. Что взять с больной женщины, к тому же помешанной на спиритизме? Хартфордский медиум поведal ей (всего за двадцать долларов), что душа Аманды переселилась в тело Сэма. Сэм — это Аманда, и если его прогонят, она тоже тут не останется.

Холстон, давно уже постигший искусство чтения между строк, заподозрил, что Дроган и дряхлая пташка Брудмур были когда-то любовниками, и поэтому старый пижон так упорно не желал ее отпускать.

— Ее отъезд был бы настоящим самоубийством, — пояснил Дроган. — В своем воображении она по-прежнему была богатой и независимой, вполне способной забрать чертова кота и отправиться вместе с ним в Нью-Йорк, Лондон или даже Монте-Карло. Но на самом деле она была последней из большой семьи и жила едва ли не на пособие по бедности: результат ряда неудачных вложений в шестидесятых. Кэрлайн жила в специально оборудованной комнате, в атмосфере повышенной влажности. Подумайте, мистер Холстон, ей было уже семьдесят. И если не считать последних двух лет, она не выпускала изо рта сигареты. Эмфизема каждую минуту грозила задушить ее. Я хотел, чтобы она оставалась здесь, и если для этого требовалось оставить кота...

Холстен многозначительно посмотрел на часы.

— Она умерла во сне. Где-то в конце июня. Доктор не нашел в ее кончине ничего странного, просто пришел, сел к столу и выписал свидетельство о смерти. Казалось, на этом и покончено. Но Гейдж сказал мне, что в комнате был кот.

— Мы все рано или поздно уйдем, — заметил Холстон.

— Конечно. Так и доктор сказал. Но мне лучше знать. Я вспомнил. Кошки обожают приходить во сне к детям и старикам и красть у них дыхание.

— Бабушкины сказки.

— Основанные на чистом факте, как большинство так называемых бабушкиных сказок, — возразил Дроган. — Кошки любят мять лапами что-нибудь мягкое. Топтаться на подушке, толстом покрывале или ковре. Одеяле... лежащем в колыбельке или на постели старика. Лишняя тяжесть на слабом, неспособном сопротивляться человеку...

Дроган внезапно смолк, и Холстон призадумался. Кэрлайн Брудмур спит в своей комнате; дыхание со свистом вырывается из изъеденных болезнью легких; звук почти теряет-

ся в шуме мощных увлажнителей и кондиционеров. Кот с забавными черно-белыми отметинами бесшумно вспрыгивает на постель старой девы, долго смотрит на изборожденное морщинами лицо своими загадочно мерцающими черно-зелеными глазами... Прокрадывается на худую грудь, ложится всем своим весом... мурлычет... и дыхание замедляется... замедляется... а кот мурлычет, пока старушка все больше задыхается под мягкой пушистой тяжестью на впалой груди...

И совершенно не имевший воображения Холстон слегка вздрогнул.

— Дроган! — воскликнул он, продолжая гладить мурлыку. — Почему бы не выбросить все это из головы? Любой ветеринар усыпит его всего за двадцать долларов!

— Мы похоронили ее первого июля. Я велел положить Кэролайн на нашем семейном участке, рядом с сестрой. Она тоже хотела бы этого. Третьего я позвал Гейджа в эту комнату и вручил ему плетеную корзинку... вроде тех, что берут на пикники. Понимаете, о чем я?

— Естественно.

— Велел ему положить кота в корзину, отвезти в Милфорд к ветеринару и усыпить. Он ответил «Да, сэр», взял корзину и вышел. Все как всегда. Только больше я его живым не видел. Автокатастрофа на шоссе. «Линкольн» врезался в опору моста на скорости не больше шестидесяти миль в час. Дик Гейдж погиб мгновенно. Когда его нашли, заметили, что все лицо исцарапано.

Холстон ничего не ответил, но вот уже в третий раз мгновенно представил, что могло случиться. В комнате вновь стало тихо, если не считать уютного потрескивания дров и мирного урчания кота на коленях мужчины. Совсем как иллюстрация к стихотворению Эдгара Геста: «Кот на коленях моих, отблески пламени... вот оно счастье покоя, вот они, мирные дни...»

Дик Гейдж ведет «линкольн» по шоссе по направлению к Милфорду. Если он и превысил скорость, то не больше, чем на пять миль. На соседнем сиденье — плетеная корзинка...

из тех, что берут на пикники. Водитель следит за дорогой, а возможно, и за идущим навстречу огромным трейлером, и не замечает забавную, белую с черным мордочку, высунувшуюся из корзинки, как раз в сторону водителя. Но он не замечает этого, потому что огромный трейлер совсем рядом... и именно этот момент выбирает кот, чтобы прыгнуть ему в лицо, брызжа слюной и царапаясь. Острые когти впиваются в глаз, протыкая яблоко, расплющивая нежный шарик, ослепляя водителя. Шестьдесят миль, мерное жужжание мощного мотора «линкольна»... но вот другая лапа вцепляется в переносицу, вгрызаясь вглубь с утонченной, подлой жесткостью... и тут «линкольн», возможно, выскакивает вправо, прямо перед носом трейлера, и клаксон дальнобойщика оглушительно орет, но Гейдж ничего не слышит из-за кошачьих воплей. Кот распластался на его лице, подобно уродливому мохнатому черному пауку: уши прижаты, зеленые глаза горят, как адские факелы, черные ноги, подрагивая, все глубже утопают в мягкой плоти старческой шеи. Машина беспорядочно дергается, рыскает, отлетает обратно, и впереди вырастает опора моста. Кот проворно спрыгивает, а «линкольн», словно сверкающая темная торпеда, врезается в цемент и взрывается, как бомба.

Холстон судорожно сглотнул и услышал, как в глотке что-то сухо шелкнуло.

— И кот вернулся?

— Неделью спустя, — подтвердил Дроган. — Точно в день похорон Дика Гейджа. Совсем как в старой песне. Кот вернулся, кот вернулся, кот пришел назад...

— Выжил в катастрофе при скорости шестьдесят миль? Невероятно!

— Говорят же, что у каждой кошки девять жизней. Когда он появился, цел и невредим, я невольно задался вопросом, не может ли он оказаться...

— Адской тварью? — тихо предположил Холстон.

— За неимением лучшего определения, да. Что-то вроде демона, посланного...

— Чтобы наказать вас.

— Не знаю. Но боюсь его. Правда, я его кормлю, вернее, это делает моя домоправительница. Она утверждает, что такая морда — проклятие Господне. Правда, она из местных.

Старик безуспешно попытался улыбнуться.

— Я хочу, чтобы вы убили его. Последние четыре месяца я жил только этой мыслью. Он вечно маячит в тени. Все глазееет на меня. И словно... выжидает. Каждую ночь я забираюсь в своей комнате и все же опасаясь проснуться утром и обнаружить, что он свернулся на моей груди... и мурлычет.

Ветер одиноко завывал в дымоходе, как баньши из шотландских сказаний, несчастный потерянный дух, наводивший уныние на обитателей.

— Наконец пришлось связаться с Солом Лодджиа. Он порекомендовал вас. Он считает вас настоящим мастером своего дела.

— Независимым мастером. Это означает, что я работаю сам на себя.

— Да. Он сказал, что вас никогда не задерживали и ни разу не заподозрили. И что вы, похоже, всегда умеете приземляться на четыре лапы... совсем как кошка.

Холстен пригляделся к старику в инвалидном кресле. И внезапно мускулистые руки с длинными пальцами поднялись и застыли над кошачьей шеей.

— Если хотите, я сделаю это, — тихо пообещал он. — Сломаю ему шею. Он даже не почувствует...

— Нет! — вскрикнул Дроган, с трудом переводя дыхание. Легкий румянец окрасил желтоватые щеки.

— Не... не здесь... Унесите его.

Холстон невесело усмехнулся и снова принялся гладить голову и спинку спящего кота. Очень нежно. Очень осторожно.

— По рукам, — бросил он. — Принимаю заказ. Хотите видеть труп?

— Нет. Убейте его. Похороните...

Он немного помедлил и скорчился в кресле, совсем как древний нахохлившийся стервятник.

— Принесите мне хвост, — решил он наконец, — чтобы я мог швырнуть его в огонь и видеть, как он горит.

Холстон водил «плимут» 1973 года, со сделанным по спецзаказу двигателем «циклон спойлер». Машину украшали многочисленные царапины и вмятины, капот обычно был приподнят и болтался под углом двадцать градусов, зато Холстон собственными руками перебрал дифференциал и задний мост. Коробка передач была от «пензи», сцепление — от «херста», шины — самого высшего качества, так что водитель мог легко выжать скорость до ста шестидесяти миль в час.

Он ушел от Дрогана чуть позже половины десятого. Холодный серпик полумесяца проглядывал сквозь растрепанные ноябрьские облака. Пришлось открыть окна, потому что желтая вонь ужаса и дряхлости, казалось, въелась в одежду, и Холстон недовольно морщил нос. Ледяной ветер гулял по салону, и Холстон скоро почувствовал, как онемело лицо. Хорошо! Пусть выдувает желтое зловоние.

Он съехал с шоссе у Плейсерз Глен и с вполне пристойной скоростью тридцать пять миль в час проехал сквозь спящий город, освещенный лишь тусклыми фонарями на перекрестках. На выезде, по дороге к шоссе № 35, он немного увеличил скорость, дав «плимуту» порезвиться. Идеально отрегулированный двигатель урчал, совсем как кот, что весь вечер нежился у него на коленях. Холстон даже улыбнулся пришедшему на ум сравнению. Машина со скоростью чуть больше семидесяти миль в час пробиралась между заметенными снегом ноябрьскими полями, по которым неровными рядами брели скелеты кукурузных стеблей.

Кот сидел в плотной хозяйственной сумке на подкладке, перевязанной у горловины толстой веревкой. Сумка лежала на ковшеобразном пассажирском сиденье. Кот почти спал, когда Холстон укладывал его в сумку, и даже сейчас потихоньку мурлыкал. Наверное, понимал, что пришелся по душе

Холстону, и чувствовал себя как дома. Такой же одиночка. Родная душа.

«Странный заказ», — подумал Холстон, к собственному удивлению осознав, что воспринимает задание всерьез. Но самое поразительное то, что кот действительно нравился ему, стал почти близким за эти несколько часов. Если ему действительно удалось избавиться от этих трех старперов... особенно Гейджа, который вез его в Милфорд на смертельное свидание с ветеринаром. Тот наверняка с превеликой охотой сунул бы животину в обложенную кафелем газовую камеру размером с микроволновку. Так что молодец, котяра!

Но несмотря на симпатию к Сэму, Холстон и не подумал отказаться от заказа, хотя намеревался воздать коту должное, убив его быстро и без мучений. Он остановится у одного из этих голых полей, вытащит кота, погладит и сломает шею одним резким движением. И только потом отрежет хвост перочинным ножом. Ну а завтра похоронит трупик, чтобы не достался хищникам. Нельзя спасти его от могильных червей, зато можно уберечь от ворон.

Вот так он и размышлял, пока машина летела сквозь ночь подобно темно-синему призраку, и в эту минуту на приборной панели возник кот с нагло задранным хвостом. Черно-белая морда повернута к водителю, пасть оскалена в подобии улыбки.

— Ш-ш-ш-ш, — со свистом выдохнул воздух Холстон и, скосив глаза вправо, заметил дыру в толстой сумке, дыру то ли прогрызенную, то ли процарапанную. Тем временем кот игриво цапнул его лапкой, приглашая повеселиться. Подушечки скользнули по лбу Холстона. Он дернулся, и широкие шины жалобно взвизгнули, когда машина бессильно подпрыгнула и стала заваливаться.

Холстон попытался ударить кота кулаком... хотя бы отогнать, потому что тот загораживал обзор. Но кот зашипел, плюнул в него, выгнул шею и не двинулся с места. Холстон снова замахнулся, но вместо того чтобы в страхе съежиться, кот бросился на него.

«Гейдж, — успел подумать он. — Совсем как Гейдж...»

И нажал на тормоза. Кот прыгнул ему на голову, плотно прижался мохнатым животом, лишив возможности видеть дорогу, орудуя когтями, пытаясь выцарапать глаза. Холстон крепко держал руль одной рукой, ухитрившись вклепить коту другой — раз, второй, третий. Внезапно дорога исчезла, а «плимут», подсакивая на амортизаторах, катился в канаву. Сильный удар бросил Холстона вперед, на ремень безопасности, и последнее, что он услышал: истошные вопли кота. Так женщины кричат от боли или в конвульсиях приближающегося оргазма.

Холстон снова наподдал коту кулаком, но ощутил лишь пружинную, податливую упругость его мышц.

Второй удар. И темнота.

Луна зашла. До рассвета оставалось не больше часа. «Плимут» лежал в овраге, полузатянутый седыми прядями утреннего тумана. В решетке радиатора застрял спутанный моток колючей проволоки. Капот открылся, и струйки пара из пробитого радиатора просачивались в щель, смешиваясь с туманом.

Он не мог пошевелить ногами.

Холстон глянул вниз и увидел, что огнеупорная перегородка, отделяющая кабину от двигателя, проломлена, и задняя часть огромного блока двигателя, рухнув на его ноги, надежно погребла их под своей тяжестью.

Где-то вдалеке хищно ухала сова, очевидно, нацеляясь на мелкого, дрожащего от страха зверька. Зато в машине раздавалось мерное кошачье урчание. Казалось, кот широко улыбается подобно своему Чеширскому собрату из «Алисы в Стране чудес».

Заметив, что Холстон открыл глаза, кот встал, выгнул спину, вальяжно потянулся и молниеносным грациозным движением, напоминавшим переливы китайского шелка, метнулся ему на плечо. Холстон попытался было поднять руки, чтобы оттолкнуть кота.

Руки не повиновались.

«Перелом позвоночника. Паралич. Может, временный, но скорее всего это навсегда...» — пронеслось у него в голове. Мурлыканье отдавалось в ушах громовыми раскатами.

— Убирайся, — хрипло выдавил Холстон. Кот на мгновение напрягся, но тут же устроился поудобнее. Неожиданно его лапка вновь задела щеку, только на этот раз когти были выпущены. Бороздки жгучей боли протянулись вниз по горлу. Теплые струйки крови поползли по груди.

Боль.

Он чувствует боль!

Холстон приказал голове повернуться вправо, и она послушалась. На секунду он зарылся лицом в гладкий сухой мех и попытался вцепиться в кота зубами. Тот издал испуганное недовольное «мру», спрыгнул на сиденье и злобно уставился на Холстона, прижав уши.

— Я не должен был делать этого, верно? — прокаркал Холстон.

Кот открыл пасть и зашипел на него. Глядя в странную, словно вышедшую из шизофренического бреда морду, Холстон подумал, что вполне понимает Дрогана, считавшего кота демоном ада.

Но тут же забыл обо всем, ощутив слабое тупое покалывание в руках и предплечьях.

Чувства! Возвращаются! Словно в кожу втыкают множество мелких иголочек и булабочек.

Кот, плюясь и выпустив когти, кинулся на него. Холстон закрыл глаза, ощерился и укусил кота в брюхо, но лишь набрал полный рот меха. Животное передними лапами вцепилось ему в уши, когти погружались все глубже. Боль была невероятной. Неистойвой. Умопомрачительно-слепающей. Холстон попытался поднять руки. Они чуть дернулись, но дальше дело не пошло.

Тогда он стал мотать головой, совсем как человек, которому мыло попало в глаза. Кот дико орал, но держался. По щекам Холстона ползли кровавые ручейки. Дышать стано-

вилось все труднее: кот грудью прижался к его носу. Холстон судорожно хватал воздух ртом, но без особого успеха, поскольку и то, что удавалось вдохнуть, проходило через мех. Уши жгло так, словно в них залили спирта и поднесли спичку.

Он откинул голову, но тут же пронзительно взвизгнул от прошившей тело боли: должно быть, повредил что-то во время аварии. Кот от неожиданности отлетел и с глухим стуком рухнул на заднее сиденье.

Капля крови попала Холстону в глаз. Он снова попробовал пошевелить руками... хотя бы для того, чтобы вытереть кровь. Пальцы дрожали от напряжения, но не двигались. Он вспомнил о пистолете сорок пятого калибра в кобуре под мышкой.

«Ах, дай мне только прийти в себя, киска, ты дорого продашь свои девять жизней...»

Снова пульсация. Глухая, горячая, в ногах, погребенных под блоком двигателя и, несомненно, сломанных. Со всем как в отсиженных конечностях, когда они начинают отходить. Но в эту минуту Холстону было не до ног. Достаточно знать, что позвоночник не сломан и он не окончит свою жизнь в инвалидном кресле бесполезной горой мяса и костей, притороченных к говорящей голове.

«Что же, может, и у меня осталась в запасе парочка жизней...

Первым делом следует позаботиться о коте.

Потом выбраться из этой передраги... может, кто-то проедет мимо, тогда обе проблемы решатся сразу. Вряд ли в половине пятого утра на проселочной дороге появятся машины, но всякое бывает. И...

И что это там делает кот?»

Противно, черт возьми, когда он распластывается у тебя на лице, но в сто раз опаснее иметь его за спиной, вне поля зрения. Холстон старался заглянуть в зеркальце заднего обзора, но при ударе оно задралось под каким-то немыслимым углом и теперь отражало лишь поросший травой овраг, в который угодила машина.

Сзади слышался тихий звук, напоминавший треск рвущейся ткани.

Урчание.

Демон ада, черта с два! Уже дрыхнет.

А если и нет... пусть он и замышляет убийство, что с того? Какой-то тощий уродец, весящий даже в мокром виде не больше четырех фунтов. А скоро... скоро Холстон сможет владеть руками настолько, чтобы достать оружие. Уж будьте уверены, не промахнется!

Холстон выжидал. Кровь циркулировала в теле, с каждым новым уколом восстанавливая способность ощущать. Как ни смешно звучит (вероятно, просто инстинктивная реакция на несостоявшееся свидание со смертью), у него появилась эрекция. Правда, всего минуты на две, но все же...

«Трудновато онанировать при сложившихся обстоятельствах», — цинично подумал он.

К востоку отсюда в небе появилась и начала разрастаться светлая полоса. Где-то чирикнула птичка.

Холстон сделал еще одну попытку и на этот раз сумел приподнять руки примерно на четверть дюйма, прежде чем они снова бессильно упали.

Пока еще рано. Но скоро, скоро...

Глухой стук на заднем сиденье. Холстон повернул голову и уставился на черно-белую мордочку с горящими глазами, разделенными вдоль огромными черными зрачками.

— Ах, киска, — прошептал Холстон, — я еще сроду не провалил ни одного заказа. Этот мог быть первым. Мог, да не станет. Пять минут, самое большее десять. Хочешь послушаться совета? Прыгай в окно, пока не поздно. Видишь, все открыто. Проваливай и уноси с собой хвост.

Кот мрачно таращился на него.

Холстон усилием воли приподнял трясущиеся руки. Полдюйма. Дюйм. Руки бессильно обмякли, соскользнули с колен, ударились о сиденье и распластались по обе стороны большими бледными пауками.

Кот ехидно ухмыльнулся.

«Неужели я сделал ошибку?» — недоуменно спрашивал себя Холстон. Привычка доверяться собственной интуиции, предчувствиям и инстинктам была у него в крови, и теперь его настигло ошеломляющее ощущение чего-то непоправимого.

Кот напрягся, на мгновение застыл, и Холстон понял, что сейчас будет, еще до того, как он прыгнул. Понял и распахнул рот, чтобы закричать.

Кот приземлился прямо на пах и, выпустив когти, впился в беззащитную нежную плоть. В этот момент Холстон пожалел, что не парализован. Его закрутил смерч боли, огромной, ужасной. Он и не подозревал, что на свете может существовать такая пытка. Кот, ставший обезумевшим сгустком ярости, раздирал его яйца.

И тут Холстон действительно взвыл, широко раскрыв рот, но в эту минуту кот, словно передумав, снова метнулся ему в лицо, целясь в губы. Только теперь Холстон понял, что перед ним нечто куда большее, чем обычное животное. Создание, одержимое злобной, убийственной целью.

Перед глазами в последний раз мелькнули черно-белая мордочка под прижатыми ушами и расширенные зрачки, наполненные фанатичной яростью. Существо, погубившее трех человек и теперь решившее расправиться с Джоном Холстоном.

Мохнатая ракета врезалась в его рот, и Холстон задохнулся. Передние лапы заработали, расплосковав его язык, словно кусок печенки. Желудок Холстона взбунтовался. Тошнота подступила к горлу, рвотные массы попали в дыхательное горло, наглухо его закупорив. Холстон понял, что наступает конец.

И в этот отчаянный момент его воля к выживанию сумела преодолеть остаточные последствия паралича. Он медленно поднял руки, пытаясь схватить кота.

О Господи...

Животное упорно протискивалось ему в рот, распластаваясь, извиваясь, проталкиваясь все дальше. Челюсти Хол-

стона с неестественным скрипом распахивались шире и шире, чтобы пропустить кота.

Холстон протянул руку, чтобы сцапать его, выдрать наружу, уничтожить... но пальцы стиснули только кончик хвоста. Черно-белый дьявол каким-то образом успел пролезть внутрь и теперь мордой упирался в самое горло.

Надрывный нечеловеческий клекот пробился из глотки Холстона, разбухавшей на глазах, как гибкий садовый шланг под напором воды. Тело беспомощно дернулось. Руки вновь упали на колени, а пальцы конвульсивно барабанили по бедрам. Глаза подернулись пленкой и застыли, незряче уставившись в ветровое стекло «плимута», за которым поднимался рассвет. Из открытого рта еще высовывалось дюйма два пушистого черно-белого хвоста, лениво повиливавшего взад-вперед. Но вскоре и они исчезли.

Где-то снова запела птичка, и в полнейшей тишине над мерзлыми полями коннектикутского захолустья поднялось солнце.

Фермера звали Уилл Русс. Он ехал в Плейсерз Глен на своем грузовике, чтобы получить талон техосмотра, и, случайно отведя взгляд, заметил какой-то отблеск в овраге недалеко от дороги. Остановившись, он увидел на дне «плимут», пьяно уткнувшийся в глинистый склон. В решетке радиатора стальным клубком запуталась колючая проволока.

Хватаясь за кусты, фермер осторожно спустился вниз и оцепенел.

— Свят-свят-свят, — пробормотал он наконец в пустоту. За рулем прямо как палка сидел какой-то тип с широко открытыми, глядевшими в вечность глазами. Больше ему никогда не претендовать на звание короля проходимцев. Лицо в крови. Но по-прежнему пристегнут ремнем.

Дверцу со стороны водителя наглухо заклинило, и Руссу пришлось немало потрудиться, чтобы ее открыть. Он сунул голову в кабину, отстегнул ремень, решив поискать водительские права, и уже сунул руку под пиджак, когда заметил, что

рубашка мертвеца, как раз над пряжкой пояса, ходит ходуном. Шевелится и... оттопыривается. На тонкой ткани зловещими розами расцветают багровые пятна.

— Что это, во имя Господа? — охнул Уилл, поднимая рубашку. И истерически завопил.

Чуть выше пупка зияла дыра с рваными краями, откуда выглядывала черно-белая кошачья морда, вся в засохшей крови, злобно взиравшая на фермера неправдоподобно громадными глазами.

Русс с визгом отскочил, прижав ладони к лицу. Стая ворон с граем поднялась над ближайшим полем. Кот как ни в чем не бывало протиснулся сквозь прогрызенную в плоти дыру и потянулся с поистине непристойной томностью. Не успел Русс опомниться, как животное выпрыгнуло в открытое окно. Он, правда, заметил, что кот грациозно проскользнул меж кустиков высохшей травы и исчез.

— Вроде как бы спешил куда-то, — рассказывал он позже репортеру местной газеты.

По каким-то неотложным, а может, и незаконченным делам.

«Нью-Йорк таймс» по специальной цене

Когда звонит телефон, Энн только выходит из душа, и хотя в доме полным-полно родственников — вон как шумят на первом этаже, нагрянули целой стаей, а уезжать, похоже, не намерены! — трубку никто не берет. И автоответчик не включается, а ведь Джеймс настроил его так, чтобы срабатывал после пятого гудка.

Энн обертывается банным полотенцем, подходит к прикроватному столику, чувствуя, как мокрые волосы бьют по спине и плечам, снимает трубку и говорит: «Алло». Это Джеймс. Они вместе уже тридцать лет, а ей по-прежнему хватает одного коротенького слова «Энни». Никто не умел и не умеет произносить ее имя так, как Джеймс. Целую секунду она не может ни говорить, ни дышать. Голос Джеймса настиг ее на выдохе, и Энни ощущает, что в сдувшихся, словно воздушные шары, легких не осталось воздуха. Джеймс снова зовет ее по имени. Характерной силы и уверенности в его голосе не слышно — ноги Энни подкашиваются, становятся ватными, и она садится на кровать. Банное полотенце соскаль-

The New York Times at Special Bargain Rates
© Перевод. А. Ахмерова, 2010

зывает, от влажных ягодиц намокает простыня. Не окажется кровать поблизости, Энни бы рухнула на пол.

Зубы клацают, и она снова начинает дышать.

— Джеймс, ты где? Что случилось?

В обычной ситуации ее голос прозвучал бы сварливо, как у матери, распекающей одиннадцатилетнего сорванца, в очередной раз опоздавшего к ужину, но сейчас она способна лишь на перепуганный шелест. Еще бы, ведь гудящая на первом этаже родня занимается организацией его похорон!

— Знаешь, я сам толком не понимаю, где нахожусь, — озадаченно усмехается Джеймс.

В затуманенном сознании Энни мелькает мысль, что он опоздал на самолет, хотя и звонил из Хитроу перед самым вылетом. Затем появляется мысль порациональнее: вопреки заверениям «Таймс» и журналистов из теленовостей, один пассажир все-таки уцелел. Джеймс выполз из-под обломков горящего самолета (и развалин многоэтажки, которую самолет сбил, оборвав жизнь двадцати четырех человек; еще некоторое время общее число погибших будет увеличиваться, а потом мир содрогнется от новой катастрофы) и с тех пор в состоянии шока бродит по улицам Бруклина.

— Как ты, Джимми? Ты... сильно обгорел? — спрашивает Энн. Спohватившись, она осознает истинный смысл вопроса, который ударяет по сознанию, словно тяжелая книга по босой ноге, и плачет. — Ты в больнице?

— Не надо! — От звучащей в его голосе доброты, от коротеньких слов, похожих на кирпичики в здании их семейного счастья, она начинает плакать сильнее. — Не надо, милая!

— Я ничего не понимаю!

— Со мной все в порядке и с большинством остальных тоже.

— С большинством?.. Значит, есть остальные?

— Да, а вот наш пилот явно не в порядке. Или он второй пилот? Короче, он постоянно кричит: «Падаем, двигатели отказывают!», а еще: «Я не виноват, скажите им, что я не виноват!»

Энни бросает в дрожь.

— Кто ты на самом деле? Прекрати издеваться! Я только что мужа потеряла!

— Милая...

— Не смей меня так называть! — Под носом висит длинная сопля. Энни утирает ее и раздраженно отбрасывает — ничего подобного она не позволяла себе с самого детства! — Сейчас сделаю автоматический возврат вызова, позвоню в полицию, и они задницу тебе оторвут, садист бесчувственный...

Все, выдохлась! Да и к чему отрицать очевидное: это голос мужа. Телефон зазвонил, едва она вышла из душа, на первом этаже его не услышали, автоответчик не сработал — все говорит о том, что вызов предназначался ей. И эти слова, «Не надо, милая!», совсем, как в старой песне Карла Перкинза!

Джеймс выдерживает паузу, будто давая ей время на раздумье, но прежде чем она собирается с мыслями, в трубке раздается писк.

— Джеймс, Джимми, ты меня слышишь?

— Да, но долго говорить не могу. Я пытался дозвониться до тебя, когда мы стали падать, наверное, поэтому и получилось. Сейчас вот другие тоже пробуют, но сотовые нас не слушаются, и ничего не удастся. — В трубке снова раздается писк. — У меня телефон почти разрядился.

— Джимми, ты понимал? — Больше всего ее угнетало, что муж, пусть лишь пару бесконечных секунд, понимал, в чем дело. Другим, вероятно, представлялись горящие тела или разможенные черепа с жутко клацающими зубами или вороватые спасатели, снимающие обручальные кольца и серьги с бриллиантами с погибших, а Энни Дрисколл лишил сна образ Джимми, смотрящего в иллюминатор на стремительно приближающиеся улицы, машины и коричневые многоэтажки Бруклина. Бесполезные кислородные маски, напоминающие трупики желтых зверьков, раскрытые багажные отсеки, разлетающаяся по салону ручная кладь, чья-то бритва «Норелко», катающаяся взад-вперед по проходу между рядами... — Ты понимал, что вы падаете?

— Вообще-то нет. Все было в порядке буквально до последней минуты. Хотя мне казалось, в подобных ситуациях легко потерять счет времени.

«В подобных ситуациях», да еще «мне казалось». Можно подумать, Джеймс побывал в нескольких авиакатастрофах, а не в одной!

— Я звоню сказать, что вернусь пораньше, и к моему возвращению советую выгнать из койки феедксовского курьера!

Необъяснимая страсть Энни к курьеру из «Феедекса» давно превратилась в их любимую шутку. Энни снова плачет, а сотовый Джимми снова пищит, словно упрекая ее в слабости.

— Говорю же, я дозванивался тебе, но умер буквально за пару секунд до соединения, наверное, поэтому и сумел с тобой связаться. Только, боюсь, сотовый тоже скоро полусапожки откинет! — Джимми хихикает, будто ему смешно. «В один прекрасный день я тоже над этим посмеюсь, — думает Энни. — Лет через десять!»

— Черт, почему же я не поставил проклятый телефон на зарядку? — сетует Джеймс, по обыкновению обращаясь скорее к себе, чем к Энни. — Эх, совершенно из головы вылетело!

— Джимми, милый... Самолет разбился два дня назад!

Возникла пауза, и, к счастью, на сей раз сотовый не пищал.

— Правда? — наконец переспросил Джеймс. — Вообще-то миссис Кори говорила, что время здесь выделяет разные фокусы. Кто-то согласился с ней, кто-то — нет. Я вот не согласился, а миссис Кори, похоже, права.

— Ты с ней в червы играл? — спрашивает Энни.

Она слегка не в себе и словно парит над собственным полным, влажным от душа телом, но старых привычек Джимми не забыла. Во время долгих перелетов он постоянно играет в карты, криббидж или канасту, хотя больше всего ему нравятся червы.

— Да, в червы, — говорит Джимми, и сотовый пищит, точно в подтверждение его слов.

— Джимми... — начинает Энни, не уверенная, что хочет знать правду, но потом, так и не определившись, задает вопрос: — Где ты сейчас находишься?

— Похоже на Грэнд-Сентрал, только больше и пустее. Вроде тот же вокзал, но какой-то киношный, нереальный. Понимаешь, о чем я?

— Кажется, да...

— Поездов не видно и вдали не слышно, зато двери в огромном количестве. Плюс еще эскалатор, только сломанный. Весь в пыли, ступеньки разбитые. — Джеймс замолкает, а потом понижает голос, точно боясь, что его подслушают: — Многие из тех, кто летел со мной, расходятся. В основном через двери, хотя кто-то поднимается по эскалатору, я сам видел. Думаю, мне тоже придется уйти... Впервые, здесь нечего есть. Стоит автомат со сладостями, но и он сломан...

— Милый, ты... Ты голоден?

— Чуть-чуть, зато умираю от жажды. Что угодно бы отдал за бутылку холодной «Дасани»!

Энни виновато смотрит на капельки, стекающие по голым ногам, представляет, как Джимми их слизывает, и, к огромному стыду, чувствует сексуальное возбуждение.

— Нет-нет, я в порядке, — поспешно успокаивает Джимми. — По крайней мере пока. Впрочем, задерживаться здесь нет смысла. Только вот...

— Только что? Говори, Джимми, говори!

— Не знаю, которая дверь мне нужна.

Сотовый снова пищит.

— Жаль, не проследил, в какую дверь ушла миссис Кори. Она забрала мои чертовы карты!

— Ты... Ты боишься?

Энни вытирает лицо полотенцем, которым обернулась после душа. Тогда она была свежей, а сейчас настоящая размазня: слезы да сопли.

— Боюсь? — задумчиво переспрашивает Джимми. — Нет. Разве что немного волнуюсь из-за непоняток с дверями.

Найди дорогу домой, просит Энни. Сперва нужную дверь, а потом дорогу домой. А вдруг ей не следует с ним встречаться? Призрак — далеко не самое страшное! Вдруг, открыв дверь, она увидит обугленный скелет с красными глазами в намертво приставших к ногам джинсах? Джимми ведь всегда путешествует в джинсах! Вдруг за ним увяжется миссис Кори с расплавившимися картами в искореженной ладони?

Би-ип!

— Можешь больше не страдать о красавчике из «Федекса», — подначивает Джимми. — Теперь никаких помех, если ты, конечно, не перегорела! — К своему вящему ужасу Энни хихикает. — Но больше всего мне хотелось сказать, что я тебя люблю, и...

— Джимми, милый, я тоже тебя...

— ...осенью не позволяй сыну Макормака чистить водосточные желоба. Он отличный парень, но слишком рискует и в прошлом году чуть не сломал себе шею! Еще, пожалуйста, не ходи по воскресеньям в булочную. Там что-то случится, причем именно в воскресенье, я точно знаю, только в какое именно... Да, время здесь действительно выделяет фокусы.

Макормак — это помощник по хозяйству, которого они нанимали в Вермонте. Но тот дом они продали десять лет назад, и сыну помощника, сейчас, наверное, лет двадцать пять. А что касается булочной... Вероятно, Джимми имел в виду булочную Золтанов, только почему...

Бип!

— Знаешь, здесь не только пассажиры, но и погибшие под развалинами. Им тяжелее, они ведь понятия не имеют, как оказались среди нас. Пилот все кричит... или это помощник пилота? Он-то отсюда быстро не выберется, наверное, поэтому бродит в полной прострации, никак места себе не найдет.

Сотовый пищит все чаще и настойчивее.

— Энни, мне пора. Задерживаться нельзя, телефон-то вот-вот накроется! Подумать только, я мог просто... ладно, уже не важно! — снова сетует на свою рассеянность Джимми, и

Энни не верится, что она слышит это беззловонное ворчание в последний раз. — Я люблю тебя, милая!

— Подожди, не отсоединяйся!

— Не м...

— Я люблю тебя, не отсоединяйся!

Увы, уже поздно, и Энни отвечает черная тишина. С минуту она сидит, прижимая онемевшую трубку к уху, а потом прерывает соединение, точнее, его отсутствие. Вскоре снова поднимает трубку и, услышав нормальный гудок, все же набирает *69. Автоматический оператор сообщает: последний входящий вызов поступил в девять утра. Энни прекрасно известно: это звонила сестра Нелл из Нью-Мексико. Нелл сообщила, что ее самолет задерживается, надеялась прилететь к вечеру и просила сестру быть сильной. Прилетели все далекоживущие родственники как со стороны Джеймса, так и со стороны Энни. Вероятно, почувствовали: сейчас крепостью родственных уз рисковать не время, Джеймс и без того рисковал ими по поводу и без повода. Никаких следов вызова, поступившего — часы на прикроватном столике показывают 15.17 — примерно в десять минут четвертого на третий день ее вдовства.

Раздается стук в дверь, а потом голос брата:

— Энн! Энни!

— Одеваюсь! — кричит в ответ Энн. В ее голосе звенят слезы, но, увы, ни одного из гостей этим не удивить. — Пожалуйста, не мешайте!

— У тебя все нормально? — из-за двери допытывается брат. — Мы слышали, как ты разговариваешь. Элли уверяет, ты на помощь звала.

— Да, все нормально! — отвечает Энни и снова утирает лицо полотенцем. — Спустишь через пару минут.

— Не торопись! — говорит брат и после паузы добавляет: — Энни, мы рядом, мы с тобой.

— Бип! — шепчет Энни и зажимает рот, пытаясь удержать смех, с которым на свободу вырываются эмоции сложнее и запутаннее, чем просто горе. — Бип! Бип! Бип! — Она падает

на кровать и дико хохочет. Слезы катятся из широко раскрытых глаз, бегут по щекам, заливают уши. — Бип! Бип! Бип, мать его!

Насмевшись, Энни заставляет себя одеться и спускается к родственникам, которые прибыли, чтобы разделить с ней утрату. Только безутешную вдову ни одному из них не понять, ведь Джимми позвонил не им, а ей. На радость или на горе, но он позвонил ей.

Той осенью, когда полиция еще прячет почерневшие развалины сбитой «Боингом» многоэтажки за желтой заградительной лентой (впрочем, граффити-райтеры успешно за нее проникают, а один даже наносит краскопультом надпись «ЗДЕСЬ ЖИВУТ ХРУСТИКИ»), Энни получает e-мэйл, очень напоминающий письмо стосковавшихся по общению нердов. Автор рассылки — Герт Фишер, библиотекарьша из Тилтона, штат Вермонт. Когда они с Джеймсом уезжали на лето в Вермонт, Энни помогала местной библиотеке, и хотя с Герт особенно близко не сдружилась, библиотекарьша подписала ее на рассылку своих ежеквартальных новостей. Обычно они не слишком интересны, но осенью среди набивших оскомину свадеб, похорон и состязаний, организованных «4-Эйч»*, Энни попадаетесь новость, от которой дух захватывает. В День труда погиб Джейсон Маккормак, сын старого Хьюи Маккормака. Молодой человек чистил водосток дачного домика, упал с крыши и сломал шею. «Бедняга решил выручить больного отца, наверное, вы помните, что в прошлом году у Хьюи случился инсульт», — написала Герт, прежде чем пожаловаться на дождь, испортивший августовский ярд-сейл, который устроила библиотека.

* «4-Эйч» — молодежная организация и соответствующее молодежное движение в аграрных районах США. Четыре буквы [H] соответствуют первым буквам английских слов: Heart, Hands, Head, Health, которые упоминаются в торжественной клятве членов организации

В трехстраничной сводке новостей Герт не уточняет, но Энни уверена: Джейсон упал с крыши дачи, в которой когда-то жили они с Джимми. Она ничуть в этом не сомневается!

Через пять лет после смерти мужа и гибели Джейсона Маккормака Энни снова выходит замуж и перебирается в Бока-Ратон. Несмотря на пенсионный возраст, новый муж Крэг продолжает работать и каждые три-четыре месяца навещается в Нью-Йорк. Энни почти всегда ездит с ним, ведь в Бруклине и на Лонг-Айленде остались родственники, столько, что порой голова кругом идет. Энни любит их всех беззаветной любовью, на которую, по ее мнению, способны лишь пятидесяти- и шестидесятилетние. Она помнит, как после гибели Джеймса они сплотились и совместными усилиями создали для нее лучший на свете щит, благодаря чему она сама не погибла и не рассыпалась под тяжестью горя. Путешествуя вместе с Крэгом, она частенько пользуется самолетом и никогда не ропщет. А вот в булочной Золтанов по воскресеньям она больше не бывает, хотя их бублики с изюмом просто божественны. Теперь Энни ходит в булочную Фроджера. Она как раз покупает там пончики (более или менее съедобные), когда гремит взрыв. Энни слышит его отчетливо, а ведь до булочной Золтанов целых одиннадцать кварталов! Взрыв из-за утечки газа уносит жизнь четверых, включая продавщицу, которая всегда укладывала бублики в пакет, аккуратно заворачивала и вручала Энни со словами: «По дороге не отрывайте, не то свежесть потеряют!»

Высыпавшие на улицу люди, заслонив глаза от солнца, смотрят на восток — именно там прогремел взрыв. Энни спешит мимо них, впериw глаза в тротуар. Не желает она видеть дым, зазмеившийся к небу после оглушительного «бум!», она и без того часто думает о Джеймсе, особенно бессонными ночами. На своей подъездной аллее Энни слышит, как в доме звонит телефон. Либо все выбежали смотреть на взрыв, либо

звонок слышит она одна. Когда ей удастся повернуть ключ в замочной скважине, телефон умолкает.

Сестра Энни, незамужняя Сара, оказывается дома, но почему она не подняла трубку, можно не спрашивать. Бывшая королева диско Сара Берник танцует на кухне под «Виллидж пипл». В руках половая щетка, глаза устремлены на экран телевизора, где идет реклама. Взрыв она тоже не слышала, хотя до булочной Золтанов отсюда куда ближе, чем от булочной Фроджера. Энни бросается к автоответчику, но в поле «сообщения» горит большой красный ноль. Сам по себе этот факт ничего не значит: многие звонят, однако сообщений не оставляют, только вот...

Набрав *69, Энни узнает, что последний входящий вызов поступил вчера в восемь сорок восемь. Она тут же набирает номер, с которого звонили, здравому смыслу вопреки надеясь, что в огромном, похожем на киношный Грэнд-Сентрал помещении Джимми сумел перезарядить телефон. Ему небось кажется, они общались вчера или пару минут назад. Он ведь сам сказал: «Время здесь выделяет всякие фокусы». Тот звонок снится Энни постоянно, и она уже не понимает, был ли он во сне или наяву. Она не рассказала о нем никому: ни Крэгу, ни своей матери, почти девяностолетней старухе с крепчайшим здоровьем и не менее крепкой верой в загробную жизнь.

«Виллидж пипл» с кухни заявили, что расстраиваться нет причины. Причины действительно нет, и Энни не расстраивается. Крепко держа телефонную трубку, она слушает, как телефон, номер которого назвал автоматический оператор службы *69, звонит раз, другой, третий... Энни стоит в гостиной, прижимая трубку к уху, а свободной рукой нащупывает брошь, приколотую над грудью с левой стороны, словно таким образом можно успокоить бешено стучащее сердце. Длинные гудки обрываются, и механический голос советует ей не упускать уникальный шанс и купить «Нью-Йорк таймс» по специальной цене.

Немой

1

Исповедален было три, над дверью второй горел свет. Желających исповедоваться не оказалось: церковь пустовала. В витражные окна лились солнечные лучи, рисуя разноцветные квадраты на полу центрального прохода. Поборов желание уйти, Монетт храбро шагнул к еще открытой для прихожан кабине. Когда он закрыл за собой дверцу и сел, справа от него поднялась небольшая заслонка. Прямо перед Монеттом белела карточка, прикрепленная к стене синей канцелярской кнопкой. На ней напечатали: «ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ СЛАВЫ БОЖИЕЙ»*. Он давненько не исповедовался, но искренне сомневался, что подобная карточка является стандартной принадлежностью исповедальни. Более того, он сомневался, что развешивание подобных карточек соответствует Балтиморскому катехизису.

Mute

© Перевод. А. Ахмерова, 2010

* Римлянам: 3:23.

Из-за занавешенного непрозрачной сеткой окошка слышался голос священника:

— Как дела, сын мой?

На взгляд Монетта, вопрос прозвучал не совсем стандартно. Вопрос вопросом, но сначала Монетт даже ответить не сумел. Поразительно: хотел столько рассказать, а не мог вымолвить ни слова.

— Сын мой, ты что, язык проглотил?

И снова тишина. Слова были на месте, однако все до единого заблокировались в сознании. Абсурд, конечно, но Монетту представился засорившийся унитаз.

Расплывчатая фигура за секой шевельнулась.

— Давно не исповедовался?

— Да, — выдавил Монетт. Ну вот, хоть какой-то прогресс!

— Подсказка нужна?

— Нет, я помню. Благословите меня, отче, ибо я согрешил.

— Угу, ясно. Когда исповедовался в последний раз?

— Не помню. Давно, еще в детстве.

— Да не волнуйся ты! Это ж как на велосипеде кататься!

И опять Монетт не смог вымолвить ни слова. Едва он взглянул на пришпиленную синей кнопкой карточку, желваки заходили, ладони судорожно вцепились одна в другую и огромным побелевшим кулаком заскользили туда-сюда вдоль бедер.

— Сын мой, ты как, жив? Слушай, день-то не резиновый! Друзья ждут меня на ленч. Точнее, они должны принести ленч в...

— Отче, я совершил ужасный грех.

Теперь замолчал священник. «Немой» — вот оно, самое бесцветное слово на свете, подумал Монетт. — Напечатай на карточке, и с бумагой сольется».

Когда священник заговорил снова, его голос звучал по-прежнему спокойно, но чуть мрачнее и серьезнее.

— В чем твой грех, сын мой?

— Не знаю, — покачал головой Монетт. — Надеюсь, вы скажете.

Когда Монетт свернул с северного шоссе на Мэнскую автостраду, полил дождь. Чемодан лежал в багажнике, а кейсы с образцами товара — большие, неудобные, примерно в таких адвокаты носят вещдоки на процесс — на заднем сиденье. Один кейс был коричневый, другой черный, на обоих красовался тисненый логотип фирмы «Вольф и сыновья» — серый волк с зажатой в пасти книгой. Монетт работал торговым представителем на территории Новой Англии. Дело было в понедельник утром, минувшие выходные иначе как отвратительными и язык не поворачивался назвать. Жена Монетта перебралась в мотель, где поселилась явно не одна. Вскоре ее могли посадить в тюрьму, наверняка со скандалом, в котором супружеская неверность стала бы лишь малозначительной деталью.

На лацкане пиджака Монетт носил значок с надписью: «Лучшие книги осени по лучшей цене».

У обочины стоял одетый в старье мужчина с плакатом в руках. Под усиливающимся дождем Монетт подъехал ближе и разглядел потертый бурый рюкзак, брошенный у обутых в разбитые кроссовки ног. На левой кроссовке застежка-липучка расстегнулась и торчала, как язык Эйнштейна. Ни зонта, ни хотя бы бейсболки у мужчины не было.

Сперва на плакате Монетт разобрал лишь грубо нарисованные красные губы, перечеркнутые по диагонали. Чуть приблизившись, он прочитал надпись над перечеркнутым ртом: «Я немой!» Продолжение следовало под картинкой: «Пожалуйста, подвезите!»

Монетт включил поворотник и притормозил у обочины, а странный любитель автостопа перевернул свой плакат. На обратной стороне красовалось столь же грубо нарисованное ухо, перечеркнутое по диагонали, с надписью «Я глухой!»

над примитивной картинкой и «Пожалуйста, подвезите!» под ней.

С тех пор как получил права в шестнадцатилетнем возрасте, Монетт намотал сотни тысяч миль, причем большинство их пришлось на последние десять лет, в течение которых он служил торговым представителем «Вольфа и сыновей», сезон за сезоном продавая «лучшие книги». За все это время он не взял ни единого попутчика, а сегодня без малейших колебаний притормозил у обочины. Медаль святого Кристофера маятником болталась над зеркалом заднего обзора — Монетт нажал на кнопку и разблокировал замки. Сегодня терять ему было нечего.

Глухонемой скользнул в салон и бросил потрепанный рюкзак перед ногами, обутыми в сырые грязные кроссовки. Монетту хватило беглого взгляда, чтобы понять: пахнет этот тип отвратительно, и он не ошибся.

— Далеко едешь? — поинтересовался Монетт.

Глухонемой пожал плечами, показал на дорогу, затем нагнулся и аккуратно положил плакат на рюкзак. Волосы у него были тонкие, нечесанные, с заметной сединой.

— Я спросил, не куда ехать, а...

Монетт догадался, что попутчик его не слушает. Пока глухонемой возился с рюкзаком, мимо пролетела машина. Лихач-водитель нагло засигналил, хотя Монетт оставил ему достаточно места. Монетт поднял средний палец. Этим выразительным жестом он пользовался и раньше, но из-за подобных мелочей — никогда.

Глухонемой пристегнулся и взглянул на Монетта, точно интересуясь, из-за чего задержка. На лбу морщины, на щеках сизая поросль — Монетт не мог определить, сколько лет его попутчику. Он либо старый, либо очень старый, точнее не скажешь.

— Далеко едешь? — повторил Монетт, на сей раз тщательно проговаривая каждое слово. Когда попутчик — среднего роста, худощавый, весом не более ста пятидесяти фунтов — по-

вернулся к нему, Монетт, коснувшись своего рта, спросил: — По губам читать умеешь?

Глухонемой покачал головой и попытался объяснить что-то жестами.

Над ветровым стеклом Монетт всегда держал блокнот и ручку. «Куда едешь?» — написал он. Мимо, подняв целый фонтан брызг, пронеслась очередная машина. Самому Монетту предстояло ехать в Дерри, то есть еще целых сто шестьдесят миль по отвратительной — хуже только снегопад — погоде. Однако сегодня погода вместе с огромными фурами, которые, пролетая мимо, поднимали настоящее цунами, лишь отвлекала от горестных мыслей.

Не говоря уже о случайном попутчике, который непонимающе смотрел то на него, то на записку. У Монетта мелькнула мысль, что убогий калека не умеет читать — глухонемому-то научиться непросто! — но понимает значение вопросительного знака. Попутчик ткнул пальцем в простирающуюся впереди дорогу, а потом восемь раз сложил и развел ладони. Восемь раз или десять, что означало восемьдесят миль или сто, если он вообще осознавал, о чем речь.

— Тебе в Уотервилл? — предположил Монетт.

Попутчик буравил его безучастным взглядом.

— Ладно, не важно, — проговорил Монетт. — Захочешь выйти — тронь меня за плечо.

В темных глазах не мелькнуло ни искры понимания.

— Надеюсь, ты так и сделаешь, — кивнул Монетт. — Естественно, при условии, что знаешь, куда тебе нужно. — Он поправил зеркало заднего обзора и завел мотор. — Ты ведь совсем отрезан от внешнего мира, да?

В очередной раз единственным ответом стал безучастный взгляд.

— Да уж ясно, отрезан полностью! — вздохнул Монетт. — Телефонные провода безжалостно оборваны. Только знаешь, сегодня я почти готов поменяться с тобой местами. Почти готов... Музыка слушаем?

Попутчик повернулся к окну, а Монетт рассмеялся над собственной глупостью: этому бедолаге хоть Дебюсси, хоть «Эй-си/Ди-си», хоть Раш Лимбо* — разницы никакой.

Новый диск Джоша Риттера** Монетт купил для дочери. Ее день рождения уже через неделю, а подарок до сих пор не отправлен! За последние дни столько всего случилось... Когда Портленд остался позади, Монетт включил круиз-контроль, надорвал пластиковую упаковку и вставил диск в плеер. Ну вот, теперь диск, что называется, б/у, такой любимой дочери не подаришь. Впрочем, всегда можно купить новый, естественно, если денег хватит...

Джош Риттер оказался весьма неплох. Немного похож на раннего Дилана, только негатива поменьше. Под музыку Монетт размышлял о деньгах. Новый диск в подарок Келси — ерунда, даже новый ноутбук, столь нужный и желанный по большому счету, тоже. Но если Барбара впрямь сделала то, что сказала — а администрация учебного городка все подтвердила, — Монетт не представлял, как оплатит дочери последний год в кливлендском университете «Кейс вестерн резерв», даже если сам не потеряет работу. Вот это — настоящая проблема.

Пытаясь отвлечься от тягостных мыслей, Монетт включил музыку на максимальную громкость и отчасти добился желаемого, но, когда доехали до Гардинера, Джош Риттер спел все песни. Глухонемой сидел, повернувшись к пассажирскому окну, поэтому Монетт видел лишь грязное полупальто и истонченные волосы, неопрятными патлами покрывающие воротник. В свое время полупальто украшал логотип, но сейчас буквы выцвели, и надпись не читалась.

«Вот она, история жизни бедного ублюдка», — подумал Монетт.

* Раш Лимбо (наст. имя — Раш Хадсон Лимбо) — консервативный общественный деятель, ведущий одного из наиболее популярных радишоу в США.

** Джош Риттер — американский исполнитель фолк-музыки, автор четырех студийных альбомов.

Сперва Монетт не знал, спит его попутчик или наслаждается пейзажем, но потом по наклону головы и мерному, туманящему стеклу дыханию понял: первое куда вероятнее. В конце концов скучнее Мэнской автострады к югу от Огасты может быть лишь Мэнская автострада к югу от Огасты под холодным весенним дождем.

У Монетта имелись и другие диски, но вместо того, чтобы выбрать музыку, он выключил автомагнитоу. Когда проехали гардинерский пункт сбора платы за проезд — благодаря чудесам E-Zpass* без остановки, пришлось лишь снизить скорость — он заговорил.

3

Монетт прервал рассказ и взглянул на часы. Без четверти двенадцать... Священник предупредил, что собирается на ленч с друзьями, точнее, друзья обещали принести ленч ему.

— Отче, простите, что задерживаю. Хотелось бы изложить все покороче и побыстрее, но я не знаю как.

— Не волнуйся, сын мой, твоя история меня заинтриговала.

— Ваши друзья...

— Подождут, пока я занимаюсь делом Божьим. Сын мой, тот бродяга тебя обокрал?

— Он украл мой душевный покой. Это кражей считается?

— Безусловно. Так что он сделал?

— Ничего, просто смотрел в окно. Я сперва решил, что он дремлет, только, судя по всему, ошибся.

— А что сделал ты?

— Рассказал о жене, — ответил Монетт и тут же покачал головой. — Нет, я не рассказывал. Я трещал без умолку, безостановочно, бесконтрольно. Я... ну, вы понимаете. — Глядя

* E-Zpass — система бесконтактной безналичной оплаты проезда по платным дорогам.

на стиснутые до белизны ладони, Монетт лихорадочно подбирает слова. — Видите ли, я решил, что он глухонемой. Хотя всю душу наизнанку выверни, ни детального анализа, ни ненужного мнения, ни «мудрого» совета не последует. Мой попутчик был глух, нем, да еще задремал по дороге... Вот я и подумал: «Какого черта, можно нести все, что взбредет в мою проклятую голову!» Извините, отче! — поморщился Монетт, точно пристыженный висящей на стене карточкой.

— Что ты рассказал ему о своей жене? — уточнил священник.

— Что ей пятьдесят четыре, — отозвался Монетт. — А дальше... дальше начинается самый настоящий кошмар.

4

После Гардинера Мэнская автострада снова становится бесплатной и тянется на триста миль по существу захолустью: лесам и полям, на которых стоят одинокие трейлеры со спутниковой тарелкой на крыше и грузовиком на блоках. Если не считать летний сезон, путешественников раз-два и обчелся, каждая машина превращается в маленькую планету среди бескрайней пустоты космоса. У Монетта возникла другая ассоциация (вероятно, под влиянием медали святого Христофора, подаренной Барб в далекие времена мира и спокойствия): он словно попал в исповедальню на колесах. Подобно большинству исповедующихся, к главному он приближался издалека и постепенно.

— Я женат, — начал он. — Мне пятьдесят пять, супруге пятьдесят четыре.

Под шорох «дворников» он обдумал сказанное.

— Пятьдесят четыре, Барбаре пятьдесят четыре! Мы женаты уже двадцать шесть лет и имеем одну дочь, замечательную Келси Энн. Она заканчивает «Кейс вестерн резерв», но я не представляю, каким образом оплачу последний год обу-

чения, ведь две недели назад моя жена неожиданно-негаданно съехала с катушек и превратилась в настоящую фурию. Оказалось, у нее бойфренд, они вместе уже целых два года. Этот тип учитель — ну, разумеется, кем еще ему быть?! — но Барб зовет его Ковбой Боб. Я-то думал, моя благоверная проводила свободное время в литературном кружке или на заседаниях Кооперативной службы пропаганды и внедрения*, а она хлестала текилу и плясала с мерзавцем Ковбоем!

Комедия, самая настоящая комедия в лучших традициях телесериалов, только глаза Монетта — сухие, как и должно мужчине — саднило, словно при сильном поллинозе. Попутчик сидел, повернувшись к окну, а теперь еще лбом к стеклу прислонился. Он наверняка спал. Почти наверняка.

Прежде Монетт не говорил об измене жены вслух. Келси по-прежнему ничего не знала, только разве теперь ее удержишь в блаженном неведении? Вокруг Барб стремительно сгущались тучи — перед отъездом Монетту звонили три журналиста, хотя ничего конкретного в СМИ еще не просочилось. Скоро ситуация изменится, но Монетт решил, пока возможно, отвечать на все вопросы «Извините, без комментариев», в основном чтобы пощадить собственную психику. Однако сейчас он трещал без умолку, и это приносило колоссальное облегчение, совсем как пение в душе. Ну или как обильная рвота.

— У меня постоянно вертится в голове, что ей пятьдесят четыре, — признался Монетт. — Другими словами, роман с Ковбоем, которого по-настоящему зовут Роберт Яндовски — черт, ну и имя! — она закрутила в пятьдесят два. В пятьдесят два года! По-моему, это возраст мудрых: женщине следует начисто забыть о грехах юности и взяться за ум, верно, дружи-

* Кооперативная служба пропаганды сельскохозяйственных знаний и внедрения достижений — подразделение министерства сельского хозяйства, созданное в 1914 году для внедрения результатов агрономических исследований, проводимых в колледжах, которые получили в подарок землю от правительства. Распространяет новые агрономические знания и умения среди фермеров, содействует подготовке специалистов по сельскому хозяйству из молодежи.

ще? Бифокальные очки, удаленный желчный пузырь, а она трахается с Яндовски в «Гроув-мотеле», где они вместе обоживались! Я купил ей уютный дом в Бакстоне с гаражом на две машины, взял напрокат «ауди», а она послала все к черту ради того, чтобы по четвергам напиваться в баре и до зари — ну или сколько силы позволяют! — трахаться с мерзавцем Ковбоем! В пятьдесят четыре года! А этому секс-гиганту целых шестьдесят!

Словно со стороны услышав свою болтовню, Монетт велел себе прекратить. Попутчик, однако, не пошевелился, лишь плотнее закутался в полупальто и опустил голову. Монетт понял: можно не прекращать. Он в машине, едет по межштатному шоссе № 95 западнее Огасти, его попутчик глухонемой — почему бы не болтать, раз хочется?

И он болтал.

— Барб во всем призналась. Ни капли бравადы, но и ни капли стыда — она была спокойна, может, чуть подавлена. Думаю, она до сих пор не рассталась с иллюзиями. Сказала, отчасти вина на мне... К чему отрицать, я вечно в разъездах, за год по триста дней дома отсутствую. Барб постоянно одна, наша единственная дочка окончила школу, оперилась и вылетела из гнезда. Короче, и Ковбой Боб, и остальное на моей совести.

В висках застучало, нос забился, и Монетт чихнул так, что перед глазами появились черные точки. Носу, увы, не полегчало, зато полегчало голове. Оказывается, попутчик — это здорово! Конечно, можно болтать и в пустой машине, только ведь...

5

— Только ведь это не одно и то же, — сказал Монетт расплывчатой фигуре за непрозрачной сеткой, затем посмотрел прямо перед собой и глаза уперлись в текст на карточке: «ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ СЛАВЫ БОЖИЕЙ». — Понимаете, отче?

— Разумеется, понимаю! — бодро отозвался священник. — Сын мой, хоть вера твоя и съежилась до размера медали святого Христофора, фактически превратившись в суеверие, такие вопросы задавать не следует. Исповедь — благо для грешной души, в этом мы убеждаемся уже две тысячи лет.

Когда-то медаль святого Христофора висела под зеркалом заднего обзора, а теперь Монетт носил ее с собой. Возможно, дело было в суеверии, но с этой медалью он проехал сотни тысяч миль по ужаснейшей непогоде и ни разу даже крыло не помял.

— Что еще натворила твоя жена? Помимо греховной близости с Ковбоем Бобом?

К своему удивлению, Монетт рассмеялся, а по другую сторону перегородки засмеялся священник, только смех звучал по-разному: если священник развлекался, то Монетт отчаянно боролся с безумием.

— Ну, Барб накупила белья, — проговорил он.

6

— Она накупила белья, — пожаловался Монетт попутчику, который по-прежнему сидел отвернувшись и прижимался лбом к окну, туманя стекло своим дыханием. У ног лежал потертый рюкзак, накрытый плакатом так, что сверху оказалась сторона с надписью «Я немой!» — Барб мне его продемонстрировала. Оно было спрятано в шкафу комнаты для гостей. Чертов шкаф чуть по швам не трещал! На полках нашлись и бюстье, и топы, и маечки, и бюстгальтеры, и десятки пар шелковых чулок в упаковке, и чуть ли не тысяча кружевных поясов, а еще трусики, трусики, трусики. По словам Барб, Ковбой Боб обожает трусики. Думаю, она с удовольствием развила бы тему, только я и так все понял куда лучше, чем самому хотелось. Помню, ответил: «Разумеется, он обожает трусики! Раз ему шестьдесят, в юности наверняка на первые номера «Плейбоя» дрочил!»

За окном мелькнул указатель Фэрфилда, зеленый, залитый дождем, с мокрой вороной на верхушке.

— Все белье было отменного качества, — продолжал Монетт, — в основном «Виктория сикрет», плюс кое-что из дорогого бельевого бутика под названием «Искушение». Этот бутик в Бостоне. Прежде я понятия не имел о бельевых бутиках, зато теперь узнал много нового и интересного. В том шкафу хранились сокровища стоимостью несколько тысяч долларов, и это не считая туфель на высоком каблуке, точнее даже на шпильке. Похоже, Барб основательно вжилась в роль секс-бомбы! Надеюсь, наряжаясь в вандербра и эфемерные трусики, она очки снимала! Однако...

Мимо прогрохотал грузовик с полуприцепом, Монетт машинально выключил дальний свет, и водитель грузовика благодарно мигнул габаритными огнями: «Спасибо!» Вот он, дорожный этикет!

— Однако большая часть белья оказалась неношенной. Барб им просто... набивала шкаф. Когда я полюбопытствовал, зачем ей столько кружевного барахла, ничего путного она не объяснила. «Так уж у нас повелось, — ответила Барбара. — Красивое белье стало фетишем, своеобразной прелюдией к сексу». Опять-таки ни стыда, ни бравადы я не услышал, Барбара была как во сне и не желала просыпаться. Помню, мы стояли у залежей трусиков, маечек, черт знает чего еще, и я спросил, на что все это куплено. Я ведь ежемесячно проверяю выписки по счетам и приобретений в бостонском бутике «Искушение» не видел. Тогда я и понял, с какой страшной проблемой столкнулся. С растратой.

7

— С растратой, — повторил священник, и Монетт принялся гадать, доводилось ли святому отцу слышать это слово.

Судя по всему, да. Ну, по крайней мере о кражах-то он слышал!

— Барбара работала в МУГ-19, — пояснил Монетт. — МУГ значит Мэнский учебный городок. Он довольно большой, располагается в Даури, что чуть южнее Портленда. Там находится бар «Ковбой», а неподалеку от него — приснопамятный «Гроув-мотель». Очень удобно: где танцуешь, там и тра... занимаешься любовью. И ехать никуда не надо, если перебрал, а они с Ковбоем Бобом даром времени не теряли: текила для дамы, виски для кавалера, причем не какое-нибудь, а «Джек Дэниэлс». Барбара мне рассказала. Она мне все рассказала!

— Она была учительницей?

— О нет, учителя не имеют доступа к таким деньгам! Будь Барб учительницей, точно бы не растратила более ста двадцати тысяч долларов. Старший инспектор мэнского учебного округа с супругой однажды у нас ужинал, и я, разумеется, видел его на всех пикниках, посвященных окончанию учебного года, которые обычно проводятся в местном кантри-клубе. Его зовут Виктор Маккри, он окончил физкультурный факультет университета Мэна, играл в футбол и стригся под «ежик». Диплом, вероятно, получил благодаря щедрым «удовлетворительно» добрых преподавателей, зато Маккри — душа любой компании и по любому поводу способен рассказать как минимум пятьдесят анекдотов. В его ведении десяток школ от пяти начальных до средней Маски-Хай и огромный годовой бюджет при том, что Виктор два плюс два на калькуляторе складывает! Барб уже целых двенадцать лет служит его личным секретарем. — Монетт сделал паузу. — Чековая книжка находилась у нее.

8

Дождь усиливался, еще немного и превратится в ливень. Монетт машинально сбавил скорость до пятидесяти миль, хотя остальные машины легкомысленно проносились мимо,

поднимая мини-цунами. Пусть себе несутся! Зато за всю свою карьеру Монетт ни разу не попал в аварию, продавая «Лучшие книги осени» (а еще «Великолепные весенние книги» и «Легкое летнее чтение», состоявшее в основном из книг по кулинарии, здоровому питанию и клонов «Гарри Поттера»), и собирался продолжать в том же духе.

Попутчик шевельнулся.

— Эй, парень, ты не спишь? — спросил Монетт.

Вопрос бесполезный, хотя вполне естественный.

— Ф-фиит! — отозвался попутчик. Восклицание было совсем не немым, зато кратким, вежливым и, главное, без запаха.

— Примем это за «да», — кивнул Монетт и снова сосредоточился на езде. — Так на чем я остановился?

На белье, вот на чем! Оно стояло перед глазами Монета, затолканное в шкаф, как простыни мальчишки после поллюции. Белье, затем признание в растрате колоссальной суммы, а затем гробовое молчание: он подумал, вдруг по некоей сумасшедшей причине (сумасшедшей среди моря полного сумасшествия) Барбара все сочинила, и осторожно поинтересовался, сколько денег осталось на вверенном Маккри счету. «Нисколько», — с тем же сомнамбулическим спокойствием ответила Барб и добавила, что собирается снова воспользоваться чековой книжкой. Мол, в ближайшие дни деньгопровод еще не перекроют. «Хотя растрату все равно обнаружат, — объявила она. — Старине Вику я бы годами пудрила мозги, но на прошлой неделе у нас были аудиторы из Огасты. Задали кучу вопросов, затребовали копии финансовых документов. В общем, огласка теперь только дело времени».

— Я спросил, как можно спустить более ста тысяч долларов на трусики и кружевные пояса, — рассказывал безмолвному попутчику Монетт. — Даже не злился, по крайней мере тогда, скорее испытывал шок и искреннее любопытство. Она по-прежнему без стыда и бравადы ответила, что дело не только в поясах: «Мы прирастились к лотерее. Надеялись таким образом вернуть деньги».

Монетт остановился и рассеянно посмотрел на мечущиеся по стеклу «дворники». А если резко развернуться направо и на всей скорости влететь в бетонную эстакаду? Крамольную мысль Монетт отверг, как впоследствии объяснил священнику, отчасти из-за вынужденного в детстве запрета на самоубийство, но в основном из желания еще хоть раз послушать сказочный альбом Джоша Риттера.

К тому же он был не один...

Поэтому вместо того, чтобы оборвать свою жизнь и жизнь глухонемого пассажира, Монетт на прежних пятидесяти километрах в час проехал под эстакадой. На пару секунд лобовое стекло очистилось, а потом у «дворников» опять появилась работа.

— Судя по всему, Барб с Ковбоем Бобом установили мировой рекорд по числу купленных лотереек, — продолжил Монетт, но тут же покачал головой: — Нет, насчет мирового рекорда я, пожалуй, загнул, но десять тысяч они точно приобрели. По словам Барб, только в ноябре — я почти весь месяц колесил между Нью-Гемпширом и Массачусетсом, плюс еще участвовал в делавэрской конференции — они купили более двух тысяч лотереек: «Пауэрболл», «Мегабакс», «Угадай 3», «Угадай 4», «Тройную игру»... Другими словами, хватали все подряд. Сначала выбирали номера, но вскоре ждать розыгрышей стало невтерпех, и они переключились на мгновенные лотереи.

Монетт похлопал по белому пластиковому футляру, прикрепленному к держателю зеркала заднего обзора. В том футляре лежала пластиковая карточка с чипом — суперудобный E-Zpass.

— Современные приамбасы взвинчивают темп жизни. Многим это нравится, а вот мне, честно говоря, не очень. Если верить Барб, на мгновенные лотереи они переключились, потому что не хотели толкаться в очередях со сгорающими от нетерпения лудоманами, особенно когда джекпот превышал миллион. Дескать, порой они с Яндовски затаривались в разных магазинах, за вечер обходя их десятками. Разумеется, все

их любимые магазины расположены неподалеку от любимого бара. Впервые купив лотерейку «Угадай 3», Боб сразу выиграл пятьсот долларов. «Так романтично!» — да, это ее слова! Потом удача пропала, осталась голая романтика. Правда, однажды они выиграли тысячу, но к тому моменту уже были на тридцать в яме. «В яме» — вот очередное выраженьице Барб! В январе, когда я колесил по Новой Англии, пытаюсь отработать кашемировое пальто, которое подарил ей на Рождество, Барб отправилась с Бобом в Дерри, якобы на пару дней. Насчет их любимых линейных танцев не знаю, но в игорный дом «Голливуд» они точно заглянули. Жили в люксе, сорили деньгами направо и налево — Барб честно призналась! — в частности, спустили семьдесят пять тысяч на покер-автомате. Только покер не слишком понравился, и они вернулись к старым добрым лотереям, все глубже залезая в кубышку МУГ чисто из старания компенсировать растраченное, прежде чем нагрянут ревизоры и махинация вскроется. Ну и, конечно, Барб не забывала про белье. Еще бы, уважающие себя девушки покупают лотерейки исключительно в новом эксклюзивном белье! Эй, парень, ты в порядке?

Ответа, как нетрудно догадаться, не последовало, и Монетт потрепал глухонемого по плечу. Тот оторвался от окна (на стекле остался жирный след), огляделся по сторонам и захлопал покрасневшими от сна глазами. У Монетта мелькнула мысль, что он не спал. Без каких-либо объективных причин, мелькнула, и все.

Монетт соединил большой и указательный пальцы — получилось кольцо, показал попутчику и выразительно поднял брови, мол, ты в порядке? В темном взгляде глухонемого не мелькнуло и искры понимания, и Монетт успел подумать, что он не только глухонемой, но и дебил. Но вот попутчик улыбнулся и жестом ответил: «Порядок!»

— Отлично, я только проверяю!

Попутчик снова повернулся к окну, за которым мелькнул предположительно нужный ему Уотервилл. Мелькнул и

растворился в дожде, а Монетт даже не заметил. Все его мысли по-прежнему были о прошлом.

— Ограничься проблема бельем или тиражными лотереями, где угадывают номера, было бы не так страшно, — продолжал он. — Ведь розыгрыши проводятся раз-два в неделю, к тому же сам процесс занимает определенное время и дает шанс взяться за ум, если он вообще есть. Нужно выстоять в очереди, забрать билет с отметкой продавца, сохранить его в кошельке, а потом посмотреть результаты по телевизору или в газете. Все может закончиться нормально, если понятие «нормально» включает блуд и кутеж, которым регулярно предается твоя жена в компании безмозглого учителя истории, или тридцать — сорок тысяч долларов, которые они, извини за грубость, спустили в унитаз. Тридцать штук я сумел бы возместить. Дом бы перезаложил... Не ради Барб, а ради Келси Энн. Девочка только начинает жить, такое ужасное бремя ей совершенно ни к чему! Возмещение убытков вроде бы называют реституцией, и я бы на нее согласился, даже если бы пришлось переселиться в крохотную квартирку, понимаешь?

Разумеется, попутчик не имел ни малейшего понятия ни о красивых, стоящих на пороге жизни дочерях, ни о вторичной ипотеке, ни о реституции. Он наслаждался тишиной и уютом своего глухонемого мирка, и, вероятно, так было лучше всем.

Монетта, однако, это ничуть не смущало.

— Увы, спустить деньги в унитаз можно куда быстрее, причем на основании не менее законном чем... чем покупка эксклюзивного нижнего белья.

9

— Получается, они переметнулись к билетам на скрэтч-картах? — уточнил священник. — Ведь именно такие тиражная комиссия называет мгновенными.

— Вы говорите как человек, который сам не прочь испытать судьбу, — отметил Монетт.

— Время от времени бывает, — с поразительным спокойствием отозвался священник. — Постоянно даю себе слово: если подфартит по-настоящему, пожертвую выигрыш церкви. Хотя больше пяти долларов в неделю на лотерейки тратить не рискую. — На сей раз его голос прозвучал куда спокойнее и неувереннее. — Максимум десяти... Однажды я купил двадцатидолларовую лотерейку, — после недолгой паузы признался он. — Это случилось в пору, когда скрэтч-карты только-только появились. Поддался порыву, но впоследствии подобное не повторялось. Никогда.

— Пока не повторялось, — уточнил Монетт.

— А ты, сын мой, говоришь как человек, который больно обжегся! — усмехнулся священник и вздохнул. — Твоя история меня увлекла, но нельзя ли двигаться к развязке чуть быстрее? Мои друзья подождут, пока я занимаюсь делами Божьими, но вечно ждать не станут, тем более что они обещали принести куриный салат, обильно приправленный майонезом. Мой любимый!

— Я уже почти все рассказал, — обнадежил Монетт. — Раз вы имели дело с моментальными лотерейками, то суть наверняка знаете. Такие продаются в тех же местах, что и «Мегабакс» с «Пауэрболлом», и во многих других, например, на площадках для отдыха вдоль шоссе. Кое-где даже с продавцами общаться не нужно: стоят автоматы, зеленые, под цвет долларов. Когда Барб раскололась...

— Когда она вам открылась, — с едва уловимой насмешкой поправил священник.

— Да, когда Барб мне открылась, они оба уже плотно сидели на двадцатидолларовых скрэтч-картах. В одиночку Барб якобы никогда их не покупала, зато вместе с Ковбоем Бобом — много и от души. Как-то раз они за вечер купили целую сотню, а ведь это две тысячи долларов! У них с Бобом даже имелись пластиковые скребки для скрэтч-карт, похожие на миниатюрные скребки для льда, с надписью «Лотерея штата

Мэн» на ручке. Свой скребок Барб прятала под кроватью в комнате для гостей. Он зеленый, под цвет торгового автомата. На ручке я прочел лишь «терея». Изменишь одну букву — получится кусок слова «мистерия» или «артерия». Святой отец, буквы стерлись от пота, она потела от усердия, соскребая защитный слой.

— Так ты ударил жену, сын мой? Поэтому исповедоваться решил?

— Увы, нет. Я хотел ее убить! Не из-за измены, а из-за денег, измена казалась нереальной, даже когда я смотрел на то гре... на то ужасное белье. Но я и пальцем ее не тронул, наверное, потому что слишком устал. Сразу столько проблем — сил совсем не осталось. Лег бы и уснул, надолго, дня на два-три... Странно, да?

— Вообще-то нет, — возразил священник.

— Я спросил, почему она так со мной поступила, почему не подумала о нашей семье, а Барб в ответ спросила...

10

— Барбара спросила, как же я раньше не заметил, — сказал Монетт попутчику. — Я и рта не успел раскрыть, а она уже ответила сама: «Не заметил, потому что давно не обращаешь на меня внимания. Ты постоянно в разъездах. Даже если физически дома, мыслями все равно в дороге. Ты уже лет десять не интересуешься, какое белье я ношу. Конечно, зачем, если я сама тебя не интересую! Зато теперь резко заинтересовался! Правда ведь?» Помню, я просто смотрел на нее: ни прибить, ни двинуть хорошенько сил не хватало. Смотрел и злился. Невзирая на шок, я сгорал от злобы. Понимаешь, Барб пыталась переложить вину на меня, на мою чертову работу. Будто я в состоянии подыскать другую, которая приносила бы хоть половину того, что приносит нынешняя. Нужно учитывать возраст, образование, специальность...

На что я могу рассчитывать? В лучшем случае на должность охранника школьной автостоянки: криминального прошлого, слава богу, нет. И это в лучшем случае!

Монетт замолчал. Далеко впереди замаячил синий знак, почти скрытый серым плащом дождя.

— Но главное даже не это, — на секунду задумавшись, проговорил он. — Знаешь, что главное? Ну, то есть с точки зрения Барб? Мне следовало стыдиться того, что я день-деньской не ищу женщину, с которой в постели мне сносило бы крышу!

Попутчик шевельнулся: вероятно, машина налетела на кочку или сбила какое-то несчастное животное, и лишь благодаря этому Монетт понял, что кричит. А парень-то не совсем глухой! Или совсем, но чувствует вибрацию лобных костей от звуков определенной частоты. Кто его знает, черт возьми?!

— Выяснять отношения я не решился, — чуть тише сказал Монетт, — точнее, категорически отказался. Наверное, понял: если поругаемся, может случиться все, что угодно! Мне хотелось выбраться из дома, пока не прошел первый шок. Так было лучше для нее, понимаешь?

Попутчик промолчал, но Монетт понимал за них обоих.

— «Что же теперь будет?» — спросил я. «Наверное, меня в тюрьму посадят», — ответила Барбара. И знаешь, разрыдайся она в тот момент, я бы ее обнял. После двадцати шести лет совместной жизни вырабатывается определенный рефлекс, и подобные вещи делаешь чисто автоматически, даже когда большого чувства нет и в помине. Однако она не разрыдалась, и я ушел. Просто развернулся и ушел, а по возвращении обнаружил записку о том, что Барбара перебралась в мотель. Случилось это почти две недели назад. Жену я с тех пор не видел и лишь пару раз говорил с ней по телефону. С адвокатом тоже говорил и по его совету заморозил все наши совместные счета. Только этим маховик официального расследования не остановить, а закрутится он в ближайшее время. Говно забьет вентиляционную систему, если ты понимаешь,

о чем я. Думаю, с Барбарой я еще встречусь. На суде... С ней и с мерзким Ковбоем Бобом.

Синий знак приблизился, и Монетт разобрал надпись: «Зона отдыха Питтсфилд 2 мили».

— Проклятие! — вскричал он. — Мы проскочили Уотервилл на целых пятнадцать миль!

Глухонемой пассажир не шевельнулся (как же иначе!) и Монетта осенило: далеко не факт, что он вообще направлялся в Уотервилл. В любом случае настала пора прояснить ситуацию, и зона отдыха подходила для этого идеально. Пара минут, и исповедальня на колесах превратится в обычную машину, а ему хотелось рассказать еще одну вещь.

— Откровенно говоря, мое чувство к Барбаре давно умерло, — признался Монетт. — Порой любовь просто уходит. Откровенно говоря, я и сам не всегда хранил верность: в разъездах пару раз позволял себе расслабиться. Но разве мои мелкие шалости сопоставимы с ее деяниями? Разве они оправдывают женщину, разбившую жизнь себе и близким, как ребенок — надоевшую елочную игрушку?

Монетт въехал на площадку для отдыха. Три или четыре машины жались к коричневому зданию с торговыми автоматами у главного входа. Чем-то машины напоминали замерзших детей, брошенных под дождем нерадивыми матерями. Монетт переключился на нейтралку, и попутчик смерил его вопросительным взглядом.

— Куда ты едешь? — спросил Монетт, понимая, что вопрос абсолютно бесполезен.

Глухонемой посмотрел сначала по сторонам, будто пытаясь сообразить, где очутился, затем снова на Монетта, точно говоря: «Не сюда».

Монетт показал на юг и вопросительно поднял брови, а попутчик отрицательно замотал головой, показал на север, затем сжал и разжал кулаки шесть, восемь, десять раз. Совсем как раньше, только сейчас Монетт понял, в чем дело. Жизнь этого парня стала бы куда проще, если б его научили показы-

вать горизонтальную восьмерку, которая символизирует бесконечность.

— Получается, ты просто туда-сюда катаешься? — спросил Монетт.

Глухонемой продолжал буравить его взглядом.

— Ясно, — кивнул Монетт. — Поступим так: раз ты выслушал меня, пусть даже сам того не осознавая, я довезу тебя до Дерри... — Тут у него появилась идея. — У местного приюта для бездомных высажу! Там и накормят, и койку дадут, по крайней мере на ночь. Мне нужно отлить, а ты не хочешь? Отлить, — повторил Монетт. — Пописать!

Он собрался показать на ширинку, но потом подумал: вдруг глухонемой воспримет жест как требование сделать минет прямо перед торговыми автоматами? Вместо этого Монетт кивнул в сторону фигурок, прилепленных сбоку коричневого здания: черный силуэт мужчины и черный силуэт женщины. Мужчину изобразили с разведенными ногами, женщину — с плотно сжатыми — вот она, история человеческой расы в картинках!

На сей раз глухонемой понял, решительно покачал головой и для пущей наглядности сложил кольцом большой и указательный пальцы. Таким образом, у Монетта появилась деликатная проблема: оставить мистера Безмолвие в машине или выставить под дождь. В последнем случае он наверняка догадается, зачем его вытащили из салона...

Хотя разве это проблема? Денег в салоне нет, личные вещи заперты в багажнике. На заднем сиденье кейсы с образцами товара, только разве этот доходяга украдет тяжеленные кейсы? Не поволочет же он их по площадке для отдыха! Как он будет держать свой плакат?

— Я быстро, — пообещал Монетт, в очередной раз напоровшись на апатичный взгляд покрасневших от сна глаз. Он показал на себя, потом на туалет, потом снова на себя. Попутчик кивнул и опять сложил кольцом большой и указательный пальцы.

Добежав до туалета, Монетт мочился, как ему казалось, минут двадцать. Облегчение было неописуемым. Так хорошо Монетт себя не чувствовал с тех пор, как Барб сообщила сенсационную новость, и впервые за долгое время он поверил, что и сам со всем справится, и Келси поможет. Вспомнились слова то ли немецкого, то ли русского классика (по настроению, скорее русского): «Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее»*.

К машине Монетт вернулся насвистывая. По дороге даже по-товарищески похлопал автомат с лотерейками. Не увидев попутчика в окне, он сперва подумал: бедняга прилег, и чтобы добраться до руля, нужно будет привести его в вертикальное положение. Однако попутчик не прилег, а исчез. Забрал рюкзак с плакатом и испарился.

Кейсы с символикой «Вольфа и сыновей» стояли невредимые на заднем сиденье, а в бардачке по-прежнему лежали обычные документы: регистрационное удостоверение, страховой полис и карточка Американской автомобильной ассоциации. О случайном попутчике напоминал лишь запах, в принципе не такой уж и неприятный: смесь пота и терпкого аромата сосны, словно бедняга спал под открытым небом.

Монетт рассчитывал увидеть глухонемого у обочины, разумеется, с плакатом в руках: должны же потенциальные добрые самаритяне получить полную информацию о его ущербности! Монетту хотелось подвезти его до приюта в Дерри, как он и обещал. Обещание следовало выполнить и не наполовину, а в полной мере. Несмотря на огромное количество недостатков, Монетт старался доводить работу до конца.

Однако у обочины шоссе бродяги не было. Он как сквозь землю провалился.

Лишь когда за окном мелькнул знак, извещающий, что до Дерри осталось десять миль, Монетт глянул на зеркало заднего обзора и увидел: медаль святого Христофора, с которой он проехал сотни тысяч миль, исчезла. Ее украл глухонемой! Однако даже это не сломило возродившийся оптимизм

* Ф. Ницше.

Монетта. Он решил: бродяге медаль нужнее, и искренне понадеялся, что она принесет ему удачу.

Через пару дней — к тому времени Монетт уже продавал «лучшие книги осени» в Преск-Айле — позвонили из мэнской полиции. Его жену и Боба Яндовски забили до смерти в «Гроув-мотеле». Убийца орудовал куском стальной трубы, обернутой в фирменное полотенце мотеля.

11

— Боже милостивый! — воскликнул священник.

— Да уж, — кивнул Монетт. — Я отреагировал примерно так же.

— Как твоя дочь?

— Убита горем, конечно же! Келси Энн сейчас дома, со мной. С горем мы справимся, отче, дочка сильнее, чем я думал. Разумеется, всего она не знает, о растрате, например, и, надеюсь, не узнает никогда. Страховая компания выплатит мне крупную сумму, ведь при наступлении страхового случая, как этот, полагается компенсация в двойном размере. С учетом случившегося за последние три недели я мог запросто нажить серьезные проблемы с полицией, если бы не железное алиби и некоторые, гм, события. А так несколькими допросами отделался.

— Сын мой, ты кого-то нанял, чтобы...

— Этот вопрос мне тоже задавали. Ответ отрицательный. Я распорядился, чтобы информация о моих банковских вкладах предоставлялась любому желающему. Там чисто все до последнего цента, как на моей половине нашего совместного счета, так и на личном счету Барбары. В финансовых вопросах она была очень ответственной. По крайней мере в сознательный период жизни. Отче, вы не откроете? Хочу кое-что вам показать.

Вместо ответа священник отпер деревянную дверь. Монетт снял медаль святого Христофора с шеи и протянул ему. На миг их пальцы соприкоснулись: медаль на короткой стальной цепочке перекечевала из рук в руки. Секунд на пять воцарилась тишина: священник разглядывал медаль.

— Когда тебе ее вернули? Наверное, нашли в мотеле, где...

— Нет, медаль я обнаружил у себя дома в Бакстоне. На туалетном столике нашей с Барбарой спальни. Рядом со свадебной фотографией, если быть до конца точным.

— Боже милостивый! — вырвалось у священника.

— Адрес он подсмотрел на регистрационной карточке, пока я бегал в туалет.

— Название мотеля ты сам ему сказал, и город тоже...

— Да, Даури, — кивнул Монетт.

Священник в третий раз обратился к своему «непосредственному начальнику», а потом спросил:

— Получается, твой попутчик не был глухонемым?

— В немоте я почти уверен, — ответил Монетт, — а насчет глухоты вы правы. Рядом с медалью лежала записка, нацарапанная на бумаге, которую мы блоком держим у телефона. Думаю, гость посетил нас, пока мы с дочерью выбирали гроб в похоронном бюро. Задняя дверь была открыта, но замок не взломан. Возможно, мой попутчик оказался очень ловким и умелым, хотя, скорее, я просто не запер дверь.

— Что ты прочел в записке?

— «Спасибо, что подвез».

— Разрази меня гром!

После небольшой, но эмоционально-насыщенной паузы раздался негромкий стук в дверцу исповедальни, где Монетт вглядывался в надпись «ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ СЛАВЫ БОЖИЕЙ». Монетт забрал медаль.

— Сын мой, ты сообщил об этом полиции?

— Разумеется, все от начала до конца. Они даже знакомы с моим попутчиком. Его зовут Стэнли Дусетт. Он уже давно

колесит по Новой Англии со своим плакатом. Если вдуматься, он чем-то похож на меня.

— В его криминальном досье есть преступления, связанные с насилием?

— Да, несколько, — ответил Монетт. — Однажды он сильно избил мужчину в баре, а еще периодически попадал в закрытые психиатрические учреждения, включая клинику «Серенити-Хилл» в Огасте. Думаю, мне рассказали далеко не все.

— Сын мой, а ты хотел бы знать все?

— Вряд ли, — поразмыслив, ответил Монетт.

— Стэнли Дусетта пока не поймали?

— В полиции не сомневаются: это дело времени. Мол, умом Стэнли не блещет. Однако меня одурачить ему ума хватило.

— Сын мой, он действительно тебя одурачил, или ты понимал, что тебе внемлют? На мой взгляд, именно этот вопрос является ключевым.

Монетт долго молчал. Вряд ли прежде он столь пристально вглядывался в свою душу, зато сейчас направлял яркий прожектор совести во все ее закоулки. Нравилась далеко не каждая находка, но он старался не пропустить ни одной, по крайней мере сознательно.

— Нет, не понимал, — наконец проговорил он.

— Ты рад, что твоя жена и ее любовник мертвы?

Про себя Монетт тотчас же ответил «да», а вслух сказал:

— Я чувствую облегчение. Извините за неприятную правду, отче, но Барбара заварила такую кашу, а теперь ситуация исправляется: видимо, удастся избежать громкого процесса и спокойно осуществить реституцию из страховой выплаты. Я и впрямь чувствую облегчение. Это грех?

— Да, сын мой. Возможно, ты разочарован, но это так.

— Вы отпустите мне грехи?

— Десять раз прочтешь «Отче наш» и десять — «Аве Мария», — скороговоркой ответил священник. — «Отче наш» за недостаток милосердия — грех серьезный, но не смертный.

— А «Аве Мария»?

— За сквернословие в исповедальне. Грех прелюбодеяния тоже следует искупить — я говорю о совершенном тобой, а не твоей супругой... только сейчас...

— Ясно, сейчас вам пора на ленч.

— Если честно, у меня пропал аппетит, хотя с друзьями встретиться все равно нужно. Просто я слишком... слишком ошеломлен, чтобы сию секунду налагать епитимию за твои... гм, дорожные слабости.

— Тоже ясно.

— Вот и славно, а теперь ответь мне, сын мой!

— Да, отче.

— Не хочу переливать из пустого в порожнее, но ты уверен, что никоим образом не поощрил того человека и не навел его на мысль? Ведь в противном случае грех будет считаться смертным, а не простительным, и мне придется проконсультироваться у своего духовного наставника, дабы надлежащим образом...

— Уверен, отче. А вы не считаете... не считаете, что того бродягу послал Господь?

В глубине души священник тотчас ответил «да», вслух же сказал:

— Это хула, сын мой! Прочтешь «Отче наш» еще десять раз! Не знаю, как долго ты не посещал храм Божий, но за своей речью следить обязан. Ну, расскажешь что-нибудь еще с риском заслужить дополнительные «Аве Мария», или на этом закончим?

— Закончим, отче.

— Тогда мне полагается сказать «Отпускаю тебе грехи твои». Иди с миром и больше не грешь. Позаботься о дочери! Мать бывает лишь одна, какие бы поступки она ни совершала.

— Да, отче.

Расплывчатая фигура за сеткой шевельнулась.

— Могу я задать еще один вопрос?

Скрепя сердце Монетт снова опустился на скамью. Ему бы уйти...

— Да, отче.

— Ты упомянул, что полиция рассчитывает поймать Стэнли Дусетта.

— Они заверили, что это только дело времени.

— Тогда вопрос такой: ты хочешь, чтобы полиция его поймала?

Из желания поскорее уйти и исполнить епитимью в самой уединенной исповедальне на свете — своей машине, Монетт ответил:

— Конечно, нет!

По пути домой он добавил к епитимье две дополнительных молитвы «Аве Мария» и две «Отче наш».

Аяна

Даже не думал, что когда-нибудь об этом расскажу. Раньше жена не велела — говорила, никто не поверит, будут пальцем показывать. Больше всего она, конечно, боялась за себя, хотя и не подавала виду. «А как же Ральф и Труди? — спросил я. — Мы ведь все там были». «Труди прикажет Ральфу держать рот на замке, — ответила Рут. — Да и братца твоего уговаривать долго не надо».

Может, так и было. Ральф тогда заведовал сорок третьим отделом среднего образования в штате Нью-Гемпшир, а любому мелкому бюрократу меньше всего хочется засветиться в последней рубрике новостей наряду с летающими тарелками и койотами, которые считают до десяти. Кроме того, в хорошем рассказе о чуде надо ссылаться на чудотворца, а Аяны к тому времени уже не было.

Все изменилось со смертью Рут — у нее случился инфаркт в самолете до Колорадо, куда она летела помогать по хозяйству после рождения внука. В аэропорту сказали, смерть наступила мгновенно (впрочем, сейчас им не то что человека — багаж страшно доверить). Ральфа хватил удар на чемпионате по гольфу для пенсионеров, а Труди выжила из ума.

Аяна

© Перевод. Н. Парфенова, 2010

Отца нет уже давно; будь он со мной, ему перевалило бы за сто. Один я остался, и поэтому расскажу все как есть. Права была Рут: история невероятная и, как всякое свидетельство о чуде, никому ничего не доказывающая — разве что счастливым безумцам, готовым встречать чудеса на каждом шагу. Зато интересная. И все это случилось на самом деле. Мы сами видели.

Отец умирал от рака поджелудочной железы. Пожалуй, можно многое сказать о людях, судя по тому, как они описывают подобную ситуацию (и то, что я назвал рак «ситуацией», уже говорит кое-что о рассказчике, который всю жизнь преподавал литературу школьникам, чьи самые серьезные недуги сводились к прыщам и растяжениям связок).

Ральф сказал так: «Ему недолго осталось».

Моя невестка Труды выразилась иначе: «Еще чуть-чуть, и он сгниет заживо». Мне сначала показалось, она скажет «сгинет». Я даже удивился — какое красивое сравнение. Конечно, от нее нельзя было такого ожидать, но мне хотелось совершенства.

Рут сказала: «Его дни сочтены».

Я не ответил: «Да будет так», но про себя подумал. Потому что отец страдал. На дворе стоял тысяча девятьсот восемьдесят третий, а двадцать пять лет назад мучения раковых больных воспринимались как должное. Помню, лет десять назад я где-то прочел, что большинство их уходит из жизни молча лишь потому, что не могут кричать из-за слабости. На меня тут же нахлынули воспоминания о палате отца, и до того живые, что я бросился к унитазу с позывами тошноты.

Тем не менее скончался отец спустя четыре года, в восемьдесят шестом, и убил его вовсе не рак, а кусок бифштекса, которым он подавился.

Дон — или Док — Джентри и Бернадетта — так звали моих родителей — ближе к старости переселились в Форд-сити, городок неподалеку от Питсбурга. Когда мать умерла, отец задумался о переезде во Флориду, но решил, что это ему не по

средствам и в результате остался в Пенсильвании. Потом у него нашли рак, и он какое-то время лежал в больнице, рассказывая всем подряд, что прозвище Док получил за годы ветеринарной практики. Когда окружающие это усвоили, отца отправили домой умирать, а его семья — Ральф, Труды, я и Рут — приехала в Форд-сити для поддержки.

Я по сей день помню его комнату: на стене картина, изображающая Христа в окружении детей, у кровати — коврик-дорожка, сотканная моей матерью. Коврик был нездорово-зеленого цвета, она делала и получше. Рядом с кроватью стоял штатив для капельниц — кто-то наклеил на него эмблему «Питсбургских пиратов». Из дня в день я все сильнее боялся туда заходить и все дольше оставался внутри. Помню, когда мы детьми жили в Коннектикуте, отец, бывало, сидел на перилах крыльца: в одной руке банка пива, в другой — сигарета, рукав белоснежной футболки завернут и приоткрывает изгиб бицепса, а чуть повыше локтя — наколотую розу. Отец принадлежал к тому поколению, что спокойно ходит в синих невытертых джинсах и так же запросто называет их портками. Он зачесывал волосы в кок, как у Элвиса. Вид у него при этом был задиристый, как у перебравшего моряка, который, того и гляди, нарвется на драку. Ходил он по-кошачьи пружинисто, несмотря на высокий рост. Еще мне запомнилось, как они с матерью собрали вокруг себя всю танцплощадку в Дерби бешеным свингом под «Ракету 88» Айка Тернера и «Королей ритма». Ральфу тогда, кажется, было шестнадцать, а мне — одиннадцать, и мы смотрели на них, разинув рот. До меня тогда впервые дошло, что они делали так и по ночам, без одежды, напроочь забыв о нас.

И надо же было случиться, что в восемьдесят мой отец, ловкий танцор и задира, был выдворен из больницы и превратился в живые мощи, разве только с эмблемой «Пиратов» на штанах. Его глаза совсем пропали под кустистыми бровями. Он неудержимо потел, несмотря на два вентилятора, и вонял при этом, как старые обои в заброшенном доме. Из рта у него стойко несло разложением.

Мы с Ральфом были тогда далеко не миллионеры, но все же скинулись деньгами и, присовокупив остатки отцовских сбережений, наняли ему подходящих сиделку и домработницу. Они неплохо справлялись, поддерживали старика в чистоте, но когда моя невестка сказала, что Док вот-вот сгинет (я до сих пор хочу думать, что слышал именно это), турнир запахов был почти закончен. Матерый чемпион Дермо выигрывал с большим отрывом у новичка Присыпки, и рефери уже готовился объявить поражение. Наш Док был не в состоянии дойти до туалета (который упорно называл нужником), надевал подгузники и впитывающие штаны, но еще не настолько ослаб умом, чтобы не замечать или не стыдиться этого. Временами у него по щеке скатывалась слеза, а из горла — того самого, которое когда-то распевало «Эй, красотка!» — вырывался непроизвольный стон удивления и отвращения к себе.

Боли стали постоянными. Сперва они гнездились посреди живота, потом разлились вширь, пока отец не стал жаловаться, что болят даже веки и кончики пальцев. Болеутоляющие уже не действовали, а сиделка отказывалась увеличить дозу, поскольку отец мог не выдержать. Я хотел это сделать за нее и сделал бы, если бы жена меня поддержала. Однако на Рут было глупо рассчитывать в подобных делах.

— Она заметит, — сказала жена, намекая на сиделку, — и тебе несдобровать.

— Он же мой отец!

— Ее этим не убедишь. — Рут всегда принадлежала к тем, кто видит стакан наполовину пустым. Дело не в воспитании — она такой родилась. — Если кто-то еще узнает, тебя посадят.

Так и вышло, что я не убил отца. Никто из нас не решился. Вместо этого мы просто тянули время. Читали вслух, не зная, понимает ли он что-нибудь. Меняли подгузники, отмечали прием лекарств по графику на стене. Стояла адская жара, и мы то и дело переставляли вентиляторы, чтобы создать подобие сквозняка. Смотрели бейсбол по маленькому

телевизору со сбитой настройкой — трава на поле казалась лиловой, и говорили отцу, что «Пираты» отлично выступают в этом сезоне. Обсуждали друг с другом его как никогда острый профиль. Наблюдали отцовские муки и ждали конца. И вот однажды, когда Док спал и храпел во сне, я оторвал взгляд от «Антологии американской поэзии XX века» и увидел в дверях высокую, дородную негритянку, а с ней черную девочку в темных очках. Ее я запомнил до мелочей — будто все случилось только вчера. Она была лет семи, как мне показалось, но выглядела сушей крохой. Розовое платьице едва доставало до костлявых коленок, а на каждой тощей лодыжке над замызганными тапочками виднелось по пластырю с героями мультиков (помню, там был пират Сэм с рыжими усищами и пистолетами в обеих руках). Темные очки, судя по виду, достались девчужке в довесок на блошином рынке: непомерно большие, они постоянно съезжали на нос, открывая глаза — застывшие, будто сонные, подернутые сизо-белой поволокой. Ее волосы были собраны на лбу во французские косички, на руке болтался пластиковый розовый чемоданчик с треснувшим боком. Она стояла на ногах, но в остальном казалась немногим здоровее моего отца, даже лицо ее было не шоколадным, а грязно-серым.

Женщину рядом с ней я помню плохо — все мое внимание поглотил ребенок. Ей могло быть хоть сорок, хоть шестьдесят. В памяти отложились только короткая стрижка-шар и общая невозмутимость, помимо этого же — ничего, я даже не запомнил цвет ее платья, если она вообще не была в брюках.

— Вы кто? — вырвалось у меня.

Вот так, по-дурацки, словно я не читал перед этим, а видел сны (правда, разница не столь велика).

В следующий миг у них за спиной возникла Трудя и задала тот же вопрос. Ее тон был бодрее некуда. Рут, замыкавшая колонну, протянула лениво-назидательным тоном:

— Да скорее всего дверь распахнулась — засов еле держится. Вот они и зашли прямо с улицы.

Ральф, подойдя к Труди, оглянулся.

— Ну, теперь-то дверь закрыта. Должно быть, они заперли ее за собой.

Как будто это был довод в пользу вошедших.

— Сюда нельзя, — сказала Труди негритянке. — Мы заняты. У нас тут больной. Не знаю, что вам нужно, но я бы попросила вас уйти.

— Да и что за привычка — врываться к чужим людям? — добавил Ральф.

Они втроем столпились у дверей комнаты. Рут тронула женщину за плечо, не очень-то церемонясь.

— Если вы не уйдете сейчас же, мы вызовем полицию. Вы этого добиваетесь?

Негритянка не вняла предупреждению. Она подтолкнула девочку вперед и сказала:

— Четыре шага, прямо вперед. Там вроде шеста, смотри не споткнись. Считай вслух.

Девчушка стала считать шаги.

— Раз... два... три... четыре.

Она перешагнула подставку штатива для капельниц, даже не глядя под ноги — и вообще ни на что не глядя. Сквозь огромные, с барахолки, очки не очень-то посмотришь, да еще такими мутно-белыми глазами.

Девочка подошла так близко, что подол ее платица скользнул по моей руке — легко, будто мысль. На меня пахло грязью, потом и... нездоровьем, как от отца. Я заметил у нее на руках темные пятна — не от расчесов, а от язв.

— Держи ее! — крикнул брат, но я не стал вмешиваться.

Все произошло в один миг. Девочка склонилась над постелью отца и поцеловала его ввалившуюся щеку. Не просто тронула губами, а приложила и влажно чмокнула.

Ее пластиковый чемоданчик соскользнул с руки к отцовской голове, и он тут же открыл глаза. Позже Труди и Рут заявили, будто отца треснуло в висок — как тут не очнуться? Ральф усомнился, а я вовсе не поверил, потому что не услы-

шал ни звука, ни шороха. В том чемоданчике ничего не было, кроме, может, салфетки.

— Ты кто, детка? — сипло спросил отец.

— Аяна, — ответила девочка.

— А я — Док.

Он взглянул на нее из недр своих темных пещер, но за те две недели, что мы пробыли в Форд-сити, я не видел у него в глазах большей ясности. Отец достиг той отметки, когда даже хоум-ран на последней минуте игры не стер бы их стеклянного блеска.

Труди протолкалась мимо негритянки и начала теснить меня, чтобы оттащить ребенка, который неожиданно вторгся в поле зрения умирающего. Я схватил ее за руку и сказал:

— Погоди.

— Чего ждать? Они — чужие люди!

— Я болею, мне пора, — сказала Аяна. Она снова поцеловала Дока и отступила на шаг, но в этот раз споткнулась об ножку штатива, чуть не свалив его и не свалившись сама. Труди поймала штатив, а я — девочку. В ней и веса-то никакого не было — лишь мудреная арматура костей, обтянутых кожей. Ее очки свалились мне на колени, и на краткий миг она подняла на меня незрячие глаза.

— А ты будь здоров, — сказала Аяна и приложила ладонью к моим губам. Меня обожгло, точно углем, но я не отстранился. — Будь здоров.

— Аяна, идем, — окликнула женщина. — Пора уходить. Два шага. Сосчитай для меня.

— Раз... два.

Аяна надела очки и подперла их пальцем к переносице, откуда они вскоре грозили съехать. Женщина взяла ее за руку.

— У вас нынче благословенный день, — объявила она и посмотрела на меня. — Извините, что с вами так вышло. Просто для этого ребенка все мечты закончились.

Они вышли в гостиную, направляясь к дверям — женщина и девочка рука в руке. Ральф поплелся за ними, словно пастуший пес — не иначе убедиться, что все вещи целы. Рут

и Труды нависали над отцом, который так и лежал с открытыми глазами.

— Чей это ребенок? — спросил он.

— Не знаю, па, — ответила Труды. — Забудь о нем.

— Скажи ей, пусть вернется, — произнес отец. — Пусть поцелует еще раз.

Рут посмотрела на меня, поджав губы (это выражение лица у нее шлифовалось годами), и сказала:

— Она ему капельницу чуть не вырвала — вон сколько крови! — а ты сидишь как ни в чем не бывало!

— Я поправлю, — вырвалось у меня.

Голос был точно чужой. Я словно стоял в стороне, онемев от пережитого, и ощущал жар детской ладони на губах.

— Можешь не утруждаться. Я уже поправила.

Вернулся Ральф.

— Они ушли, — сказал он. — Дальше по улице, к автобусной остановке. Ты это всерьез — насчет полиции? — спросил он мою жену.

— Нет. Нас бы весь день заставили писать протоколы. — Она замолчала на миг. — Может даже, давать показания.

— Какие показания?

— Откуда я знаю? Принесет мне кто-нибудь пластырь закрепить чертову капельницу? На кухне у раковины был, моему.

— Пусть еще раз поцелует, — не унимался отец.

— Сейчас поищу, — сказал я, но направился сначала к входной двери, которую Ральф старательно запер, и выглянул на улицу.

Зеленый козырек остановки был всего в квартале от нас, но ни под ним, ни у опор я никого не увидел. И тротуар был пуст. Аяна со спутницей — матерью или опекуницей — исчезли. Все, что осталось — чувство прикосновения на губах, все еще теплое, но уже тающее.

Дальше начинается самая фантастическая часть. Я не стану опускать ее, иначе это будет совсем другая история. По-

стараюсь передать точно, но не слишком увлекаясь. Рассказы о чудесах хотя и трогают, но редко удивляют, поскольку все они, по сути, одинаковы.

Мы жили в одной придорожной гостинице рядом с главной трассой Форд-сити под названием «Рамада». Ральф то и дело называл ее «Помадой» назло моей жене.

— Будешь так повторять, — предупредила она, — однажды перепутаешь на людях и осрамишься.

Стены в гостиничных номерах были такие тонкие, что мы слышали, как Ральф и Труди спорят у себя в номере о том, насколько их хватит.

— Он мой отец, — говорил Ральф.

— Скажи об этом владельцу электростанции, когда придут счета. Или начальству, когда закончится твой больничный.

Стоял жаркий августовский вечер, на часах недавно пробило семь. Вскоре Ральф должен был отправляться на смену приходящей сиделке, которая дежурила до восьми. Я нашел по телевизору спортивный канал и прибавил громкость, чтобы заглушить этот унылый разговор с предсказуемым концом. Рут складывала одежду, бубня, что подаст на развод или пристрелит меня под видом грабителя, если я еще раз куплю дешевое белье на распродаже. В этот миг позвонила сиделка — сестра Хлоя, как она себя называла (мне в этом сочетании всегда слышалось: «А теперь еще ложечку за сестру Хлою»), и заговорила, не расшаркиваясь:

— По-моему, вам стоит прийти. Не только Ральфу, а всем сразу.

— Что, уже? — спросил я.

Рут оставила сборы и подошла ко мне, положила руку на плечо. Мы ждали этих слов и, стыдно признаться, наделись услышать, но когда они прозвучали, я даже не ощутил горя — настолько нелепой казалась мысль о смерти отца. Отца, который научил меня играть в бадминтон, когда я был едва старше той маленькой слепой посетительницы. Который застукал меня с сигаретой в беседке под виноградом и растолковал мне — не грозно, а по-доброму, что курить глу-

по и что я буду молодцом, если не позволю привычке себя одолеть. Мог ли я представить, что его не станет к завтрашнему визиту почтальона? Бред, да и только.

— Нет-нет, — ответила сестра Хлоя. — Кажется, ему лучше. — Она запнулась. — Я в жизни не видала ничего подобного.

Ему впрямь было лучше. Когда мы туда добрались через четверть часа, отец сидел на диване в гостиной и смотрел игры «Пиратов» по большому телевизору — не такому, как сейчас, но хотя бы цветному. При этом он тянул через соломинку протеиновый коктейль. На щеках появился еле заметный румянец. Они даже выглядели полнее — наверное, потому что он еще и побрился. Дело шло к поправке — вот о чем я подумал, когда увидел отца, и со временем это впечатление только крепло. Да, мы заметили еще кое-что (даже Рут, Фома Неверующий в юбке, это подтвердила): смрад, витавший вокруг с тех пор, как доктора отправили нашего Дока умирать, испарился.

Отец поприветствовал каждого по имени и сообщил, что Вилли Старджелл только что исполнил хоум-ран к чести «Пиратов». Мы с Ральфом переглянулись, как бы уверяясь, что это нам не мерещится. Труды села рядом с отцом на диван — скорее плюхнулась. Рут отправилась на кухню и взяла себе пива. Одно это уже было чудом.

— Я бы тоже не отказался, дорогуша, — произнес отец, а через миг (решив, видимо, что я разинул рот в знак неодобрения), добавил: — Мне стало получше. Живот почти не болит.

— По-моему, не стоит, — возразила сестра Хлоя.

Она сидела в мягком кресле у противоположной стены и даже не думала собираться, чем, как по ритуалу, занималась двадцать минут перед уходом. Ее апломб воспитательницы словно подтаял.

— Когда это началось? — спросил я, не зная толком, о чем именно говорю, поскольку перемены к лучшему произошли во всем. Хотя будь у меня что-то особенное на уме, я назвал бы запах.

— Началось, когда мы уходили в обед, — сказала Труди. — Просто сразу не верилось.

— Большевики, — произнесла Рут. Для нее это выражение на грани пристойности.

Труди пропустила его мимо ушей.

— Это из-за девочки.

— Большевики! — вскричала Рут.

— Какой девочки? — спросил отец. Это прозвучало как раз между иннингами — по телевизору какой-то лысый тип с безумным взглядом и торчащими зубами вещал о распродаже ковров. «Почти даром, — говорил он. — И Боже сохрани платить вперед». Не успели мы ответить Рут, как Док попросил сестру Хлою разрешить ему полбанки пива. Она отказала. Однако сестре Хлое недолго оставалось там властвовать, и в последующие годы (до того, как недожеванный кусок мяса застрял у него в горле) отец опустошил множество банок. И, надеюсь, с превеликим удовольствием. Пиво — само по себе чудо.

Именно в ту ночь, когда я лежал без сна на жесткой кровати «Помады» под грохот кондиционера, Рут велела мне держать рот на замке и никому не рассказывать об Аяне, которую отчего-то называла «волшебным негритенком». Она никогда раньше не говорила так едко-иронично, это было совсем не в ее духе.

— К тому же, — добавила Рут, — чудо продлится недолго. Иногда лампочка вспыхивает перед тем, как погаснуть. И с людьми случается.

Может, оно и так, да только чудо Дока Джентри прижилось. К концу недели он уже гулял на заднем дворе, опираясь на нас с Ральфом по очереди. А потом мы все разъехались по домам. Первым же вечером по возвращении я услышал звонок от сестры Хлои.

— Не поедем, даже если он при смерти, — полуистерично выпалила Рут. — Так и скажи ей.

Но сестра Хлоя только хотела нам сообщить, что заметила, как Док выходит из ветбольницы Форд-сити, где консультировался с молодым главврачом по поводу конского колера. «Он шел с тростью, — сказала сиделка, — но не опирался на нее». Еще она добавила, что никогда не видела человека «его лет» в таком здравии. «Нос по ветру, хвост пистолетом, — отозвалась о нем сестра Хлоя. — До сих пор глазам не верится».

Месяц спустя отец уже мог обойти целый квартал (без трости), а той зимой каждый день ходил плавать в местный бассейн. И выглядел он при этом как шестидесятипятилетний — спросите кого угодно.

В ходе его выздоровления я переговорил со всеми, кто его лечил. Очень уж это напоминало средневековые мистерии в европейских захолустьях. Я сказал себе, что если изменю имя и фамилию пациента (или просто назову его «мистер Д.»), может выйти неплохая статья для какого-нибудь журнала. Так оно и могло быть, вот только я ее так и не написал.

Первым забил тревогу Стэн Слоун, отцовский врач, который в свое время отправил его в Питсбургский институт онкологии. Слоун обвинил докторов Ретифа и Замачовски в неправильной постановке диагноза. Те, в свою очередь, свалили все на рентгенологов — дескать, снимок был нечеткий. Ретиф заявил, что глава отдела рентгенологии ничего не смыслит в анатомии и не отличит печень от поджелудочной. Он, правда, просил его не цитировать, но после четверти века, я думаю, статус секретности себя изжил.

Доктор Замачовски свел дело к обычному пороку развития органа.

— Я всегда сомневался в первичном диагнозе, — признал он.

С доктором Ретифом мы беседовали по телефону, с Замачовски — с глазу на глаз. Из-под белого халата у него выглядывала красная футболка с надписью «Лучше бы я играл в гольф».

— По-моему, это болезнь Гиппеля-Линдау.

— А разве это не смертельно? — спросил я.

Замачовски одарил меня загадочной улыбкой, которую доктора приберегают для дремучих водопроводчиков, домохозяек и учителей литературы, а затем сказал, что опаздывает на встречу.

Когда я обратился к заведомому рентгенологу, тот развел руками.

— Мы здесь отвечаем только за снимки, а не за расшифровку. Лет через десять появится оборудование, с которым подобные ошибки будут исключены, а пока — чем вы недовольны? Ваш отец здоров, так порадитесь!

Что я и делал, не жалея сил. Во время упомянутого допроса врачей, который я, само собой, называл исследованием, всплыла интересная вещь: оказывается, на научном языке чудо зовется ошибкой в диагнозе.

В тысяча девятьсот восемьдесят третьем я взял академический отпуск — подписал контракт со школьным издательством на книгу «Объясняя необъяснимое: как писать творчески». К сожалению, она осталась только в моих замыслах, подобно статье о медицинских чудесах. В июле, пока мы с женой строили планы на отпуск с походом, я вдруг начал мочиться розовым. Боль пришла позже — с небольшого нытья где-то глубоко, под левой ягодицей. Потом она стала сильнее и переместилась в пах. К тому времени когда из меня впрямь потекла кровь, а случилось это дня через четыре после первого приступа (в течение которых я, как и многие, играл в игру под названием «авось само пройдет»), мои тихие муки переросли в невыносимую пытку.

— Нет, это не рак, — сказала Рут, что с ее подачи означало прямо противоположное.

Взгляд пугал еще больше. Миссис Трезвомыслие на смертном одре не созналась бы, но я уверен: ей пришло в голову, что отцовская болезнь прилипла ко мне.

Тем не менее это был не рак, а камни в почках. Моим чудом стала ударно-волновая терапия, которая, в сочетании с мочегонным, их вывела. Я признался врачу, что никогда в жизни не чувствовал такой боли.

— Смею думать, впредь и не почувствуете, даже если у вас случится тромбоз. Женщины, у которых выходили камни, сравнивают это с родами. Трудными родами.

Боль отступила не сразу, но я уже мог читать журналы в приемной, что, по моим меркам, было большим прогрессом. Однажды кто-то сел со мной рядом и сказал:

— Идем. Пора.

Я поднял глаза, но негритянку, которая приходила к отцу, не увидел. Вместо нее сидел незнакомец в непримечательном коричневом костюме. Впрочем, я понял, зачем он пришел. Мне даже не понадобилось спрашивать. Еще я понял, что в случае моего отказа мне не помогут все врачи мира.

Мы вышли из больницы. Регистраторши за стойкой не было, так что мне не пришлось выдумывать причину отступления. Да и вряд ли я нашел бы нужные слова. Сказать, что резь в паху вдруг улетучилась? Бред и неправда.

На вид человеку в костюме было тридцать пять лет, ни больше ни меньше. Похож он был на бывшего десантника или морского пехотинца, который не расстался с привычкой стричься «под ежик». Шли мы молча: обогнули медцентр, где мой врач принимал больных, затем направились кварталом ниже, к больнице «Целительные рощи». Я двигался, полусогнувшись от боли — она хоть не грызла, но то и дело покусывала.

Мы подошли к дверям и отправились вдоль по коридору с героями Диснея на стенах и звуками песни «Мир тесен», плывущими из колонок. Бывший морпех шел бодро, даже не глядя под ноги — как у себя дома. В отличие от меня. Я никогда и нигде не чувствовал себя таким чужим, таким далеким от привычной мне жизни. Взлети я вдруг под потолок, словно шарик с надписью «Поправляйся поскорей!», которые дети приносят в больницы, и то не очень удивился бы.

У центральной вахты морпех упредительно стиснул мне руку. Мы выждали, пока медсестра и медбрат не разойдутся, потом перешли в соседний зал. Там сидела лысая девочка в инвалидном кресле. Она проводила нас блестящими, тоскливыми глазами и вытянула руку.

— Нет, — сказал мой спутник и без лишних слов повел меня вперед. Я успел еще раз поймать ее взгляд — лихорадочный взгляд умирающей.

Мы пришли в палату, где мальчик лет трех возился с кубиками. Его кровать окружал полиэтиленовый колпак. Мальчик пылливо уставился на нас. Он казался куда здоровее, чем девочка в кресле — рыжие кудри, живые глаза, — только кожа была свинцово-серого цвета, а когда мой провожатый подтолкнул меня вперед и снова замер в позе почетного караула, я понял, что этот ребенок очень болен. Я расстегнул молнию колпака, игнорируя табличку «Стерильно!», и почувствовал, что жить ему осталось считанные дни.

У самой кровати стоял тот же нездоровый запах, что и в комнате отца, может, чуть полегче. Ребенок без малейшего стеснения потянулся ко мне. Я поцеловал его в краешек губ, и он тут же прильнул ко мне в ответ. Видимо, к нему очень давно не подходили — по крайней мере без иголки.

Нас никто не окликнул, не пригрозил вызвать полицию, как Рут в тот памятный день. Я застегнул полог, а когда обернулся в дверях, мальчик сидел как ни в чем не бывало, с кубиком в руках. Увидев, что я ухожу, он уронил кубик и помаhal мне по-детски, закрыв и открыв ладошку. Я ответил тем же. Он уже выглядел лучше.

Морпех снова стиснул мне руку у вахты, но в этот раз нас заметил медбрат с неодобрительной улыбкой на лице (мой непосредственный начальник культивировал такие как плоды особого мастерства). Он спросил, что мы делаем у него в отделении.

— Извини, друг, этажом ошиблись, — ответил мой спутник. Чуть позже, на лестнице снаружи он спросил: — Дорогу назад найдешь или?..

— Без проблем, — ответил я, — только мне придется по новой записываться к врачу.

— Скорее всего.

— Мы еще встретимся?

— Да, — ответил он и зашагал, не оборачиваясь, к больницы парковке.

Снова встретились мы в 1987-м. Рут, помню, уехала за покупками, а я стриг газон, уговаривая себя, что боль в затылке вовсе не предвещает мигрени. Они начались у меня с тех пор, как мы побывали у мальчика в «Целительных рощах». Правда, о нем я даже не думал, лежа в зашторенной комнате с мокрой тряпкой на лбу. Я думал о девочке в инвалидной коляске.

В другой раз мы проводали женщину в больнице святого Иуды. Когда я поцеловал ее, она взяла мою руку и положила на левую грудь — вторую врачи уже отняли. «Я вас люблю, мистер», — разобрал я сквозь слезы, и... не нашелся, что сказать в ответ. Мой провожатый стоял в дверях: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Парадная стойка.

В следующий раз он объявился нескоро: стоял декабрь 1997-го. С тех пор я его не видел. Тогда меня мучил артрит — впрочем, как и сейчас. Его армейский «ежик» поседел, от углов рта протянулись две резких черты, как у куклы чревоушателя. Он доставил меня к эстакаде трассы I-95 на севере города, где «форд-эскаорт» столкнулся с панелевозом. «Эскаорт» смяло изрядно. Дежурные «скорой» пристегивали к носилкам его владельца, мужчину средних лет. Полиция допрашивала водителя грузовика — он как будто не пострадал, хотя и выглядел ошарашенным.

Врачи уже захлопнули двери за носилками, когда морпех сказал:

— Давай! Шевели ногами!

И я по-стариковски затрусил к тылу «скорой помощи», а он побежал вперед, окликая врачей:

— Эй! Эй! Это не браслет* упал?

Те обернулись посмотреть, один из дежурных и полицейский, который до этого беседовал с водителем грузовика, пошли туда, куда указал мой спутник. Я открыл задние двери «скорой» и полез внутрь, к голове пострадавшего, хватаясь за отцовские карманные часы, подарок на свадьбу. Я с ними не расставался, носил на золотой цепочке, пристегнутой к ремню. Однако возиться было некогда — пришлось ее порвать.

Человек на носилках воззрился на меня из темноты. Сломанная шея выпячивалась сзади лоснящимся бугром, похожим на дверную ручку.

— Черт, я не чувствую ног, — произнес он.

Я поцеловал его в уголок губ (это место, наверное, было моим особенным) и попятился назад, как вдруг меня схватил кто-то из медиков.

— Вы что тут вытворяете? — вскинулся он.

Я показал на свои часы, которые положил рядом с койкой.

— Вот, валялись в траве. Подумал, он будет искать, — ответил я, зная, что пока водитель «эскорта» придет в себя, увидит незнакомые часы с чужим именем под крышкой и успеет от них отказаться, мы будем уже далеко. — А вы нашли его браслет?

— Это была какая-то железка, — раздраженно скривился врач. — Давайте идите отсюда. — Потом добавил не так ворчливо: — Спасибо за часы. Могли бы себе оставить.

Еще бы. Я их любил. Нет, не так: у меня ничего больше не осталось.

— Ты в крови испачкался, — заметил морпех по дороге домой. Мы сидели в его машине, непримечательном седане «шевроле». На заднем сиденье лежал собачий поводок, под зеркалом болталась медаль святого Христофора на цепочке. — Отмойся, как приедешь.

Я ответил, что так и сделаю.

* Имеется в виду браслет с медицинской характеристикой.

— Больше ты меня не увидишь, — сказал он.

Я подумал о негритянке и ее словах. Вспомнил о них после стольких лет.

— Значит, конец моим мечтам?

Морпех озадаченно замер, пожал плечами.

— Конец службе, — сказал он. — Про мечты мне ничего не известно.

Я задал ему еще три вопроса до того, как он высадил меня и исчез из моей жизни. Ответа я не ждал, но все же получил.

— Эти люди — они потом так же лечат других? Поцелуют, и все пройдет?

— Одни — да, — ответил морпех. — Так уж сложилось. Другие — не могут. — Он снова пожал плечами. — Или не хотят. Это узкий круг.

— А вы знаете девочку по имени Аяна? Хотя теперь она, наверное, совсем большая.

— Аяна умерла.

У меня сердце упало, хотя и недалеко. Наверное, я это подзревал в глубине души. И снова задумался о девочке в инвалидной коляске.

— Странно, ведь Аяна поцеловала отца, а меня только тронула. Так почему это передалось мне?

— Потому что передалось, — ответил он и свернул к моему гаражу. — Вот и приехали.

Тут меня осенило.

— Приезжайте к нам на Рождество, — сказал я. Бог ведь почему меня обрадовала эта идея. — Отпразднуем вместе. Мы всегда много готовим. Скажу Рут, что вы — мой кузен из Нью-Мексико. Я никогда ей не говорил, что у меня в роду военные. С нее было достаточно истории с отцом. Даже более чем.

Бывший морпех улыбнулся. Может, такое и раньше случалось, но в моей памяти отложилось только эта улыбка.

— Извини, друг, но, наверное, я — пас. Хотя за приглашение спасибо. Просто я не праздную Рождество — атеист.

* * *

Вот, пожалуй, и все... кроме встречи с Трудि. Я как-то писал, что она выжила из ума, помните? Болезнь Альцгеймера, вот что ее доконало. Ральф хорошо вложил деньги, так что она ни в чем не нуждалась, а дети пристроили Трудि в хорошее место, когда ей нельзя стало жить одной. Мы то и дело к ней навевались, пока у Рут не случился инфаркт перед Денверским аэропортом. Потом я поехал к ней сам — одиноко стало, захотелось вспомнить старые деньки. А увидел Трудди — и только больше расстроился. Все равно что приехать в родной город и увидеть, что дом твоего детства отдан на слом. Она смотрела мимо меня в окно и жевала губами, пуская слюну. Я поцеловал ее перед уходом, но, конечно же, ничего не случилось.

Чудес не бывает без чудотворцев, а мой путь в этом качестве пройден. Только поздно ночью, когда мне не спится, я спускаюсь в гостиную и смотрю по телевизору все, что пожелаю, даже эротику. У меня, видите ли, спутниковая тарелка с бесплатным «Мировым кино». Я даже мог бы подключиться к каналу бейсбольной лиги, если бы захотел. Однако пенсии на все не хватает, так что приходится следить за расходами. В конце концов, о результатах матчей можно прочесть в Интернете. С меня довольно и киночудес.

Взаперти

Каждое утро Кертис Джонсон проезжал на велосипеде пять миль. После смерти Бетси он ненадолго забросил эту привычку, но без велопрогулок стало совсем грустно, и он опять начал кататься, только теперь без шлема. Две с половиной мили по бульвару Галф, поворот — и назад. Кертис никогда не съезжал с велодорожек. На свою жизнь ему было плевать, но закон он уважал.

На бульваре Галф — единственной улице Черепашьего острова — стояло множество роскошных особняков, принадлежавших миллиардерам. Кертис на особняки даже не смотрел. Во-первых, у него самого денег куры не клевали (он заработал их старомодным способом — играя на фондовой бирже); во-вторых, никаких проблем с хозяевами этих особняков у Кертиса не было. Проблемы возникли только с Тимом Грюнвальдом (он же — Паскуда), а тот жил на другом конце бульвара. Его дом стоял на предпоследнем участке. Последний участок — самый лакомый, с лучшим видом на Мексиканский залив и единственный без дома — был главной, хоть и не единственной, причиной раздоров между Кертисом и

Грюнвальдом. Нам нем росли только сорняки, кусты, низкорослые пальмы да несколько австралийских сосен.

Самый приятный момент в велопрогулках заключается в том, что можно не брать с собой телефон. Дома Кертис редко выпускал из рук трубку, особенно в часы работы биржи. Он был в хорошей форме — разгуливал по комнатам с радиотелефоном, время от времени возвращаясь к компьютеру; иногда брал с собой мобильный и выходил на улицу. Обычно он сворачивал направо, к концу бульвара — в сторону особняка Паскуды. До самого дома, конечно, не доходил — такого удовольствия он бы Грюнвальду не доставил. Кертис только проверял, не пытается ли Паскуда оприходовать участок Винтона. Конечно, Грюнвальд нипочем бы не смог провезти бульдозер или кран мимо недремлющего соседа — без Бетси под боком сон у него стал чуткий, как никогда, — но Кертис все равно за ним приглядывал, обычно спрятавшись в тени последней из двадцати двух пальм. Мало ли. В конце концов, именно этим Паскуда и занимался — уничтожал пустые участки, погребая их под тоннами бетона и цемента.

И Паскуда был хитер.

Пока все шло хорошо. Попытайся Грюнвальд застроить участок, Кертис быстро прижал бы его к стенке (в юридическом смысле). Паскуда еще не ответил за смерть Бетси — вот и ответит. Ничего, что Кертис потерял вкус к борьбе (себе он в этом не признавался, но в глубине души прекрасно понимал). Грюнвальд ответит по полной программе. Он узнает, что у Кертиса Джонсона зубы из стали... *хромированной стали...* и если он вцепится ими в глотку, то уже не отпустит.

Вернувшись домой в тот четверг, за десять минут до открытия биржи на Уолл-стрит, Кертис, как всегда, проверил сообщения голосовой почты. Их было два. Один из «Серкитсити» — наверное, звонили узнать, доволен ли он плазменным телевизором, купленным в прошлом месяце, и под этим предлогом хотели впарить что-нибудь еще. Перейдя к следующему сообщению, Кертис прочитал: «383-0910 П.». Номер Паскуды. Даже его «нокия» знала номер Грюнвальда — Кер-

тис сам ее научил. Вопрос: что могло понадобиться Паскуде этим будним июньским утром?

Может, он хочет мира. На условиях Кертиса.

Посмеявшись над своей догадкой, Кертис прослушал сообщение. И обомлел, узнав, что именно этого и хочет Паскуда — ну или *делает вид*, что хочет. Уловка? Но зачем? Да и говорил Паскуда странно: тяжело, медленно, еле ворочая языком. Если это не скорбь, то очень похоже. Последнее время Кертис и сам так разговаривал, пытаясь вернуться в игру.

— Джонсон... Кертис, — с трудом пробормотал Грюнвальд и умолк, словно его смутило употребление личного имени. — Я больше не могу воевать на двух фронтах. Давай покончим с этим. Мне все надоело. Я в тупике, сосед. Заперти. — Он вздохнул. — Я откажусь от участка — просто так, мне ничего не нужно. И возмещу ущерб за твою... за Бетси. Если тебе это интересно, приезжай в Деркин-Гроув. Я проведу там весь день. — Долгое молчание. — Последнее время я часто там бываю. До сих пор не верится, что проект провалился, но, с другой стороны, я не удивлен. — Опять молчание. — Наверное, ты меня понимаешь.

Кертис понимал. Он и сам перестал чувствовать рынок. Что еще хуже, он потерял к нему интерес. Кертис поймал себя на подозрительной жалости к Паскуде. Ну и голос у него...

— Мы ведь были друзьями, — продолжал Грюнвальд, — помнишь? Я помню. Вряд ли мы снова подружимся — слишком далеко все зашло, — но хоть станем соседями. Сосед. — Вновь тишина. — Если ты не приедешь на Грюнвальдс-Фолли, я просто велю своему адвокату все уладить. На твоих условиях. Но... — Тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Паскуды. Кертис подождал. Он сидел за кухонным столом и не мог разобраться в своих чувствах. Через несколько минут разберется, но пока он был в полной растерянности. — Я хочу пожать тебе руку и извиниться за треклятую собаку...

Грюнвальд сбился и вроде бы — невероятно! — всхлипнул, потом в трубке щелкнуло, и автоответчик сказал, что новых сообщений нет.

Кертис немного посидел в ярком пятне флоридского солнца, которое даже в этот ранний час жарило, несмотря на кондиционер. Потом пошел в кабинет. Рынок открылся; цифры на экране компьютера начали свое бесконечное движение. Кертис понял, что они ничего для него не значат. Оставив миссис Уилсон короткую записку — «Уехал по делам», — он выскочил из дома.

Рядом с «БМВ» в его гараже стоял мотороллер, и Кертису почему-то захотелось поехать на нем. После моста придется пересечь главную магистраль, но ему это было не впервой. Сняв с крючка ключ и услышав звяканье брелока, Кертис ощутил знакомый укол горя и боли. Он думал, со временем это чувство пройдет, но сегодня обрадовался ему, как старому другу.

Неурядицы между Кертисом и Тимом Грюнвальдом начались из-за Рикки Винтона, богатого старика, с годами превратившегося в маразматика. Прежде чем превратиться в труп, он продал Кертису Джонсону пустой участок на краю Черепашьего острова. За полтора миллиона долларов. В обмен на задаток в сто пятьдесят тысяч он вручил ему закладную, нацарапанную на обратной стороне рекламного буклета.

Кертису было немного совестно, что он так воспользовался стариком. С другой стороны, Винтон (владелец компании «Провода и кабели Винтона») с голоду бы не умер, и хотя полтора миллиона — смешная цена за участок на берегу Мексиканского залива, это все же не *гроши*, учитывая ситуацию на рынке.

Ладно, ладно, гроши. Но Кертис был убежден, что в любви и на войне все средства хороши, а бизнес, конечно, разновидность последнего. Свидетелем при подписании договора была домработница Винтона — та самая миссис Уилсон, что работала и у Кертиса. Позже он понял, что сглупил, но тогда действовал сгоряча.

Примерно через месяц после продажи незастроенного участка Кертису Джонсону Винтон продал его Тиму Грюнвальду, Паскуде. На сей раз цена была более здравой — 5,6 миллиона долларов, и Винтон (не дурак, а тот еще проходец, даром что при смерти) получил в задаток полмиллиона. При сделке присутствовал садовник Паскуды (оказавшийся и садовником Винтона). Тоже не самый надежный свидетель, но Грюнвальд, как и Кертис, рубил сгоряча. Только горячность Кертиса происходила из желания сохранить первозданную красоту Черепашье острова — хотя бы самого его кончика. Так ему хотелось.

Грюнвальд, напротив, считал эту землю идеальным участком для строительства многоквартирного дома или даже двух (Кертис прозвал их Паскудскими Башнями-Близнецами). Во Флориде подобные дома вырастали всюду, как одуванчики на заброшенных лужайках, и Кертис догадывался, кто на них слетится: идиоты, решившие на старости лет пожить в Раю. Четыре года будет идти стройка, а потом остров заселят старики с мешочками для мочи, болтающимися между цыплячьих ног. И старухи в козырьках от солнца, которые курят «парламент» и не подбирают за своими модными собачонками дерьмо на пляже. Ах да, еще перемазанные мороженым малолетние линдси и джейсоны, нудящие: «Ты обещал свозить меня в Диснейленд!» Кертис умрет от их недовольных воплей, к гадалке не ходи.

Не бывать этому, решил он. Расстроить планы Грюнвальда оказалось нетрудно. Неприятно, конечно, и Кертису участок не достался (вероятно, *никогда* не достанется), но Паскуда его тоже не получит. Как и многочисленные родственнички Винтона, сбежавшиеся оспаривать подписи на договорах, точно тараканы на лакомый кусок. Земля теперь принадлежала адвокатам и судам.

То есть никому.

А с никем Кертис умел работать.

Тяжбы длились уже два года, и Кертис потратил на адвокатов почти четверть миллиона долларов. Он пытался думать,

что жертвует деньги какому-нибудь замечательному фонду по охране окружающей среды — «Джонсонпис» вместо «Гринписа», — но эти взносы из подоходного налога никто не вычитал.

Грюнвальд выводил Кертиса из себя. Отсудить участок стало для Паскуды делом принципа — он ненавидел проигрывать (тогда Кертис тоже ненавидел, сейчас уже меньше), и у него было много личных проблем.

От Грюнвальда ушла жена — Личная Проблема № 1. Она перестала быть миссис Паскудой. Личная Проблема № 2: Грюнвальд перенес какую-то операцию. Кертис точно не знал, рак это или что, но из больницы «Сарасота мемориал» Паскуда выкатил в инвалидном кресле, потеряв фунтов двадцать—тридцать веса. На ноги-то он встал, но поправиться не смог — с некогда крепкой шеи теперь свисали мешки дряблой кожи. И что-то стряслось с его пугающе здоровым бизнесом. Прибыв на место, где Паскуда развернул свою бескомпромиссную кампанию, Кертис увидел это собственными глазами. Деркин-Гроув — недостроенный городок-призрак — расположился на материке, в двадцати милях к востоку от Черепашьего острова.

Глядя на него, Кертис чувствовал себя генералом, обозревающим руины вражеского лагеря. Моя жизнь, в сущности, блестящее спелое яблочко, думал он. Хотя после смерти Бетси все изменилось. Очень бойкая даже в старости, она семнадцать лет была ему лучшим другом. Бишон-лионы обычно не живут дольше пятнадцати. Гуляя по пляжу, она всегда таскала в зубах красную резиновую кость. Когда Кертис хотел включить телевизор, достаточно было крикнуть: «Бетси, тащи сюда тыкалку!», и она сразу приносила пульт. Она ужасно этим гордилась. Кертис, понятно, тоже.

А потом Грюнвальд поставил между своим и Кертисовым участком электрическую изгородь. Паскуда!

Он говорил, что напряжение пустил невысокое и при необходимости может это доказать. Кертис ему верил, но много ли надо старой собачонке с плохим сердцем? И вооб-

ще, на кой черт ему понадобилась электрическая изгородь? Грюнвальд и без того установил кучу прибабасов от грабителей — видимо, злоумышленники должны были пролезть в Паскудово имение через участок Кертиса. Дураку ясно, что настоящие воры приплыли бы на лодке и пробрались к дому со стороны канала. Нет, Грюнвальд нарочно поставил изгородь, чтобы насолить ненавистному Кертису и, если повезет, ранить его возлюбленную собачонку. Или даже *убить* возлюбленную собачонку? Кертис никогда не плакал, но, снимая бирку с ее ошейника, невольно разрыдался.

Кертис подал на Грюнвальда в суд, требуя возместить стоимость собаки — тысячу двести долларов. Если б он мог потребовать десять миллионов (примерно во столько Кертис оценивал боль, пронзавшую его всякий раз, когда он видел на журнальном столике чистый, не обслюнявленный пульт), то сделал бы это, не раздумывая, но адвокат сказал, что в гражданских исках боль и страдания в расчет не идут. Вот при разводе — пожалуйста, а с собакой такое не пройдет. Кертис остановился на тысяче двухстах долларах и твердо решил их получить.

Паскудовы адвокаты заявили, что забор был протянут в десяти ярдах от границы между участками, и сражение — *второе* по счету — началось. Оно шло уже восемь месяцев. Судя по тому, как адвокаты тянули волюнку, они понимали, что Кертис прав. А раз Грюнвальд зажал какую-то тысячу баксов, стало быть, для него это такое же дело принципа, как для Кертиса. Услуги адвокатов обходились недешево, но деньги больше не имели значения ни для одной из сторон.

Проезжая по трассе 17 — раньше она шла вдоль пастбищ, которые теперь превратились в заросшие кустарником пустыри («Только дурак стал бы тут строиться»), — Кертис думал лишь о том, что внезапный поворот событий его не радует. От такой победы сердце должно выпрыгивать из груди, а оно не выпрыгивало. Скорей бы встретиться с Грюнвальдом, выслушать его предложение и покончить с этим дерьмом. Конечно, участок Винтона наверняка достанется родствен-

ничкам-тараканам, и они тоже захотят возвести на нем жилой дом, но разве теперь это имеет значение? Нет.

Кертису хватало и своих проблем, хотя они скорее касались его душевного покоя, нежели семьи (упаси Господи), финансов или здоровья. Начались они вскоре после того, как Кертис нашел во дворе окоченевший труп Бетси. Кто-то считал бы это неврозом, сам же он предпочитал называть свое состояние тоской.

Теперешнее равнодушие Кертиса к фондовому рынку, который завораживал его с тех пор, как в шестнадцать лет он открыл для себя биржу, было самой очевидной составляющей этой тоски, но никак не единственной. Кертис начал замерять свой пульс и считать взмахи зубной щетки. Он больше не мог носить темные рубашки — впервые со школы у него появилась перхоть. Белая короста омертвевшей кожи покрыла черепушку Кертиса и хлопьями сыпалась на плечи. Когда он скреб ее гребнем, поднимался целый ураган мерзкого снега — просто ужас. И все-таки порой Кертис заставлял себя за этим занятием: когда разговаривал по телефону или сидел за компьютером. Раз или два у него даже пошла кровь.

Он скреб и скреб. Взрыхлял белую гадость. Глядя на «тыкалку» на журнальном столе и вспоминая (разумеется) счастливую Бетси. У людей редко бывают такие счастливые глаза, тем более за выполнением домашних обязанностей.

«Кризис среднего возраста», — говорил Сэмми (раз в неделю он делал Кертису массаж). «Тебе бы кого-нибудь отметить», — говорил Сэмми, но своих услуг не предлагал.

Хотя насчет кризиса среднего возраста звучало правдоподобно. Впрочем, так звучит весь новояз двадцать первого века.

То ли спектакль по делу Винтона вызвал этот кризис, то ли кризис был виной разгоревшейся вражды, но теперь каждый укол боли в груди наводил Кертиса на мысли о сердечном приступе, а не о несварении; еще его преследовал страх, что он лишится всех зубов (хотя они никогда не давали поводов для беспокойства), а после апрельской простуды он решил, что ему грозит полный и безоговорочный упадок иммунитета.

Была еще одна маленькая проблема, необъяснимое желание, о котором Кертис не решился поведать ни врачу, ни даже Сэмми, а ведь ему он рассказывал *все*.

Сейчас оно застигло его на пустынной трассе 17, которая и раньше была не самой оживленной, а теперь, когда проложили автостраду № 375, и вовсе обезлюдела. Прямо на заросшей с обеих сторон кустами дороге («Нет, ну какой *дебил* будет здесь строиться?!»): насекомые жужжали в высокой траве, лет десять не выдавшей коров, гудели линии электропередачи и солнце било по непокрытой шлемом голове, как молот с ватной накладкой.

Кертис знал, что сама мысль о желании может его вызвать, но толку-то?

Он остановился рядом с указателем на Деркин-Гроув (холмик со стрелкой, указывающей на злополучную деревню, уже зарос травой) и поставил «веспу» на нейтральную передачу. Мотороллер уютно заурчал, и Кертис сунул два пальца в рот — пришлось запихать руку почти до браслетов «на счастье».

Кертис наклонился и выблевал свой завтрак. Он делал это не с тем, чтобы избавиться от съеденного; уж что-что, а булимия ему не грозила. Приятен был сам процесс. Сдавленная грудь, разинутый рот и напряженная гортань — все тело оживало, готовясь исторгнуть содержимое желудка.

Все запахи — зелени, дикой жимолости — вдруг усилились. Свет стал ярче, солнце палило так, словно с молота сняли ватную накладку; кожа на загривке едва не шипела, и, быть может, именно в этот миг в составе клеток происходили необратимые изменения, они объявляли себя вне закона и устремлялись к хаотическим землям меланомы.

Кертису было плевать. Он ожил. Поскреб пальцами стенки горла и выблевал остатки пищи. На третий раз из него вышли только длинные нити слюны, чуть розоватые от крови из горла. Вот теперь можно отправляться в Деркин-Гроув, Паскудов недостроенный Ксанаду на безмолвных, напоенных пчелиным жужжанием просторах округа Шарлотт.

Кертис аккуратно ехал по правой колее заросшей проселочной дороги и вдруг понял, что Грюнвальд — не единственный, кто сейчас «взаперти».

Деревня Деркин-Гроув вымерла.

В колеях еще непокрытых асфальтом дорог и в котлованах (у многих домов не было даже фундамента) стояла вода. Зрелище, представшее Кертису — недостроенные магазины, тут и там ржавое оборудование, желтые ленты, — было воплощением если не разрухи, то финансовых неурядиц. Кертис не знал, что вызвало такой перерасход (дело Винтона, развод с женой, болезнь или тяжба из-за собаки), однако перерасход средств был налицо. Кертис понял, что случилось, еще до того как подъехал к знаку у открытых ворот.

СТРОЙКА ЗАКРЫТА
ОКРУЖНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА,
НАЛОГОВЫМ БЮРО ШТАТА ФЛОРИДА,
НАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ США.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ 941-555-1800

Снизу какой-то умник приписал:

НАБЕРИ ДОБАВОЧНЫЙ 69 И СПРОСИ ГЕНЕРАЛА ЛИЗУНА!

Асфальт закончился; дыры в дорожном покрытии начались сразу за первыми тремя зданиями — двумя магазинами с одной стороны улицы и экспериментальным домом с другой. Дом был в стиле Кейп-Кода, и от одного его вида у Кертиса кровь застыла в жилах. «Веспа» вряд ли проехала бы по грунтовой дороге, поэтому он остановил ее рядом с экскаватором, лет сто простоявшим на месте: на дне ковша уже выросла трава. Двигатель мотороллера умолк, и образовавшуюся пустоту заполнила тишина. Каркнула ворона. Ей ответила другая. Кертис поднял глаза: три черных птицы сиде-

ли на лесах, опутавших незаконченное кирпичное здание, которое вполне могло стать банком.

Теперь это могильная плита Грюнвальда, подумал Кертис, однако не смог выдавить из себя улыбку. Ему захотелось поблевать, но в самом конце улицы он увидел человека и белый седан с зеленым логотипом в виде нарисованной пальмы. Над пальмой было написано: «Грюнвальд». Под пальмой: «Строительство и подряд». Человек махал рукой. Грюнвальд зачем-то приехал на служебном автомобиле, а не на своем «порше». Как знать, может, он и его продал. Или машину конфисковало налоговое управление — вместе с остальным имуществом на Черепашьем острове. В таком случае участок Винтона сейчас волнует Грюнвальда меньше всего.

Надеюсь, за собаку ему хватит расплатиться, подумал Кертис. Он помахал Грюнвальду и, вытащив ключ, врубил сигнализацию (чисто машинально; в такой дыре «веспу» угонять было некому, но он привык заботиться о своих вещах). Кертис сунул ключ в карман брюк, к мобильному телефону, и двинулся навстречу соседу по несостоявшейся Мэйн-стрит. Пора положить конец распрям, если это вообще возможно. Кертис старательно обходил лужи, оставшиеся после ночного ливня.

— Здорово, сосед! — крикнул Грюнвальд.

На нем были штаны защитного цвета и растянутая футболка с логотипом его компании. Если не считать россыпи красных пятен на щеках и почти черных кругов под глазами, лицо у него было белое. И хотя голос звучал бодро, выглядел Паскуда болезненней, чем обычно. Уж не знаю, что ему хотели вырезать, подумал Кертис, но им это явно не удалось. Правую руку Грюнвальд держал за спиной — Кертис предположил, что в кармане штанов. Однако он ошибся.

Чуть дальше на изрытой грязной дороге стоял трейлер — видимо, передвижной офис. На маленькой присоске болталась прозрачная папка с длинным объявлением; Кертис различил только два слова: «Не входить». Да, у Паскуды действи-

тельно неприятности. Тони пришлось несладко, как сказал бы Ивлин Во.

— Грюнвальд, — поздоровался Кертис.

Хватит с него и такого приветствия; после того что Паскуда сделал с Бетси, большего он не заслуживал. Кертис остановился футах в десяти от соседа, чуть расставив ноги над лужицей. Грюнвальд стоял в такой же позе. Кертису пришло в голову, что это очень кинематографично — именно так заклые враги в ковбойских фильмах решают свои дела на единственной улице города-призрака.

— Здорово, сосед! — повторил Грюнвальд и рассмеялся.

Подозрительно знакомый смех... Ну и что? Разумеется, Кертис слышал, как Грюнвальд смеется. Вот только когда... За спиной Паскуды, напротив трейлера и неподалеку от служебного автомобиля стояло несколько биотуалетов; их основания уже заросли травой и цветами. Землю перед ними размыло дождевыми потоками (днем на Черепашьем острове природу часто обуревал гнев), и получилась канава, еще немного — и ручей. Поверхность стоячей воды затянуло пылью и пылью, так что она почти не отражала голубое небо. Будки накренились вперед, словно могильные плиты от мороза. Видно, строителей здесь работало немало, потому что был и пятый туалет, только он уже перевернулся и лежал в канаве дверцей вниз. Последний штрих в картине полной разрухи, доказывающий, что проект Грюнвальда — безумный с самого начала — с треском провалился.

Одна ворона слетела с лесов вокруг недостроенного банка и полетела по голубовато-белесому небу, каркая на двух людей внизу. В высокой траве безразлично жужжали насекомые. Кертис вдруг почуял запах туалетов. Давно же их не чистили!

— Грюнвальд, — повторил он и добавил (поскольку теперь это было необходимо): — Что тебе нужно? Ты хотел поговорить?

— Сосед, нужно не мне, а тебе.

Паскуда опять засмеялся и внезапно умолк. Тут Кертис понял, где он слышал этот смех: в конце голосового сообщения, оставленного Грюнвальдом. Не всхлип, а сдавленный смешок. У Паскуды был больной вид. Не просто больной — безумный.

Конечно, он спятил. Потерял все, что имел, и спятил. А ты приперся сюда один-одинешенек, олух. Чем ты думал?

После смерти Бетси Кертис вообще мало думал. Ему все было безразлично. Но тут уж стоило поднапрячь мозги.

Грюнвальд улыбался. Или скалился?..

— Смотрю, ты без шлема, сосед. — Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь, как полоумный. Немытые волосы упали ему на уши. — Жена не отпустила бы тебя без шлема, но у таких, как ты, жен не бывает. Только собаки.

Последнее слово он растянул на манер геев: соба-аки.

— Пошел ты, Грюнвальд. Я сваливаю, — сказал Кертис.

Сердце так и рвалось у него из груди, но голос вроде бы не дрогнул. Почему-то Кертису было очень важно, чтобы Грюнвальд не заметил его страха. Он уже хотел повернуться и уйти, но Паскуда еще не закончил:

— Я подумал, участок Винтона *может* вытащить тебя из дома. Но я точно знал: если упомянуть твою гнусную псину, ты прикатишь как миленький. Кстати, я слышал ее скулеж. Когда она влетела в забор. Тварь блудливая.

Кертис потрясенно обернулся.

Паскуда кивал, жидкие волосы облепили белое улыбающееся лицо.

— Ага. Я подошел и смотрел, как она корчится. Мешок с глазами, мать ее.

— Ты говорил, тебя не было дома, — проронил Кертис тонким, почти мальчишеским голосом.

— Ну так я соврал, сосед! В тот день я рано вернулся от врача. Настроение было скверное: пришлось ему отказать, а он так долго уламывал меня на химиотерапию. Потом я увидел, как твоя псинка задыхается в луже собственной блевотины, и повеселел. Есть на свете справедливость, есть! — по-

думал я. Изгородь была пустяковая, напряжение низкое — коров отпугивать, тут я тебе не соврал. Но дело свое она сделала, верно?

Тут Кертис Джонсон прочувствовал все сполна, хотя минуту назад был в полной и, быть может, сознательной растерянности. Стиснув кулаки, он шагнул навстречу Паскуде. Он ни с кем не дрался с третьего класса, но сейчас ему захотелось кого-нибудь ударить. Ударить Паскуду. Насекомые по-прежнему безучастно жужжали в траве, солнце палило — ничто в мире не изменилось, кроме Кертиса. Его равнодушие исчезло без следа. У него появилось по крайней мере одно желание: бить Грюнвальда, пока тот не начнет харкать кровью, плакать, корчиться от боли. Кертису хватит сил. Грюнвальд на двадцать лет старше, он болен. Когда он свалится на землю — желательнее в грязную лужу и со сломанным носом, — Кертис скажет: «Это тебе за мою псину. Сосед».

Паскуда попятился и вытащил из-за спины здоровенный ствол.

— Стой на месте, сосед, или я прострелю тебе башку.

Кертис замер не сразу. Пистолет в руке Грюнвальда показался ему ненастоящим. Смерть от пули? Нет, это невозможно. Но...

— «Хардболлер» сорок пятого калибра, — сказал Грюнвальд, — заряженный пулями с мягким наконечником. Купил его, когда последний раз ездил в Вегас. Сразу после ухода Джинни. Хотел ее застрелить, но потом раздумал. Что с нее взять? Обычная шлюха-анорексичка с силиконовыми сиськами. Ты — другое дело, Джонсон. Ты злобный и опасный тип. Свирепый колдун, пидор-ведьмак, вот ты кто.

Кертис наконец замер.

— Теперь ты, как говорится, в моей власти. — Паскуда расхохотался и умолк, опять всхлипнув. — Мне даже необязательно метить тебе в сердце, Джонсон. Пушка мощная, так мне сказали. Хотя в руку попаду — ее вырвет с корнем, и ты все одно сдохнешь. А если в живот? Кишки отлетят на сорок футов. Хочешь попробовать? Хочешь попытаться счастья, козел?

Кертис не хотел пытаться счастья. Истина открылась ему запоздало, но во всей красе: его выманил сюда чокнутый маньяк.

— Чего тебе надо? Я сделаю что угодно. — Кертис сглотнул. В горле что-то шелкнуло, как у насекомого. — Хочешь, остановлю тяжбу по делу Бетси?

— Не называй ее Бетси. — Паскуда направил дуло ему в лицо — очень большое дуло. Кертис вдруг осознал, что умрет, прежде чем услышит выстрел. Может, успеет заметить пламя на конце ствола. Еще он понял, что вот-вот обмочится. — Зови ее «моя жопомордая псина».

— Моя жопомордая псина, — сразу повторил Кертис, не чувствуя ни малейших угрызений совести.

— А теперь скажи: «Я обожаю лизать ее вонючую дырку», — велел Паскуда.

Кертис промолчал. Слава богу, у меня еще осталась гордость. И потом, скажи он это, Паскуда придумает что-нибудь похлеще.

Грюнвальд ничуть не расстроился.

— Ладно, я пошутил, — сказал он, махнув стволом.

Кертис молчал. Часть его мозга разрывалась от страха и смятения, но другая работала так четко, как не работала со смерти Бетси. И даже дольше. Этой частью он обдумывал вероятность собственной гибели.

Вдруг я больше не съем ни единого кусочка хлеба? При этой мысли обе части его мозга слились в одном чудовищно сильном желании — выжить.

— Чего ты хочешь, Грюнвальд?

— Забирайся в туалет, Джонсон. В тот, что с краю. — Он махнул пистолетом налево.

Кертис со слабой надеждой посмотрел в нужном направлении. Если Паскуда хочет его запереть, то... это хорошо, так? Может, напугав Кертиса и выпустив пар, он решил убратсья подобру-поздорову. Или приехать домой и пустить себе пулю в башку. «Хардболлер» — лучшее лекарство от рака. Проверенное народное средство.

— Будь по-твоему.

— Но сперва выложи все содержимое карманов на землю.

Кертис неохотно достал бумажник и телефон. Маленькую стопку банкнот в зажиме для денег. Гребень с перхотью.

— Это все?

— Да.

— Выверни карманы, прелесть. Хочу увидеть своими глазами.

Кертис вывернул левый карман, потом правый. Несколько монет и ключ от мотороллера выпали на землю, блеснув в лучах солнца.

— Так, теперь задние.

Кертис подчинился. В задних карманах был только давнишний список покупок, нацарапанный на клочке бумаги. Больше ничего.

Грюнвальд скомандовал:

— Пинай сюда мобильный.

Кертис попытался, но промазал.

— Идиот! — расхохотался Паскуда.

Смех его кончился тем же странным всхлипом, и впервые в жизни Кертис понял, зачем люди убивают — раньше это было ему недоступно. Ясно мыслящей частью своего мозга он отметил, что убить человека так же просто, как сократить дробь.

— Пошевеливайся, — велел Грюнвальд. — Хочу поскорее вернуться домой и залезть в горячую ванну. Долой болеутоляющие, горячая ванна — единственное действенное средство. Будь моя воля, я бы в ней *жил*.

Впрочем, уходить он не торопился. Его глаза возбужденно сверкали. Кертис снова пнул телефон, попал, и тот подлетел прямо к ногам Грюнвальда.

— Он бьет, он забивает! — завопил Паскуда. Опустившись на одно колено и не сводя дуло с Кертиса, он поднял с земли его «нокию» и положил в правый карман брюк. Затем указал пушкой на остальные вещи. — Собери это дерьмо. Мелочь не забудь, вдруг встретишь там автомат с чипсами.

Кертис молча выполнил приказ и вновь почувствовал укол боли, увидев брелок на ключе от «веспы». Все-таки есть на свете то, что никогда не меняется — даже в самых невероятных обстоятельствах.

— Список забыл, ушлепок! Подбери все и рассылай по карманам. Телефон я поставлю на зарядочку в твоём уютненьком домике. Только сперва удалю своё сообщение.

Кертис подобрал бумажку со списком покупок — «ап. сок, табл. от изж., рыбу, булочки» — и сунул обратно в карман.

— Не выйдет, — сказал он.

Паскуда удивленно приподнял лохматые стариковские брови.

— Почему?

— Там сигнализация. — Кертис не помнил, включил он её или нет. — И к твоему возвращению приедет миссис Уилсон.

Грюнвальд смерил его снисходительным взглядом. Впрочем, *безумное* снисхождение даже не бесило, только пугало.

— Сегодня четверг, сосед! По четвергам и пятницам твоя домработница только заглядывает на обед. Думал, я за тобой не приглядываю? Сам-то приглядываешь!

— Я не...

— Рассказывай! Я часто вижу, как ты прячешься под своей любимой пальмой, а вот ты меня не видишь. Потому что ты лентяй, а все лентяи — слепцы. — Тут Грюнвальд понизил голос и заговорщицки произнес: — Кстати, все геи — лентяи, научно доказанный факт. Их защитнички пытаются это скрыть, но в Интернете есть результаты исследований, можешь глянуть.

Кертис едва расслышал последние слова, в таком он был смятении. Если он следил за миссис Уилсон... Господи, и давно он строил этот план?!

По крайней мере с тех пор, как Кертис подал на него в суд за Бетси. Или дольше.

— Что же до твоей сигнализации... — Паскуда опять всхлипнул, — позволь раскрыть тебе маленькую тайну: твою систему устанавливала компания Хирна, а я работаю с ними

больше тридцати лет. При желании я могу получить код от любого дома на острове. Но мне нужен один-единственный: твой. — Он шмыгнул носом, сплунул на землю и закашлялся. Рокот шел из самых глубин его груди и наверняка причинял страшную боль (Кертис на это надеялся), однако ствол не дрогнул. — И вообще, вряд ли ты включил сигнализацию. У тебя мозги другим забиты: минетами и прочей дурью.

— Грюнвальд, нельзя ли...

— Нет, нельзя. Ты это заслужил. Заработал, схлопотал, получил по заслугам. Лезь в толчок, мразь.

Кертис пошел к биотуалету — к крайнему правому, а не левому, как велел Грюнвальд.

— Стой, стой, — терпеливо сказал Паскуда, словно разговаривал с ребенком. — Твой толчок с другой стороны.

— Он же вот-вот упадет!

— Нет, эта крошка надежная, как твой любимый фондовый рынок, — возразил Грюнвальд. — Там хитрые стенки. Но аромат будь здоров. Такие, как ты, по полдня торчат на горшке, так что запах тебе понравится. Нет, ты будешь в восторге! — Вдруг дуло ткнулось Кертису в ягодицу. Он испуганно вскрикнул, и Грюнвальд захохотал. Вот Паскуда! — Залезай, пока я не превратил твою старую грунтовую дорогу в новенькое супершоссе.

Кертису пришлось согнуться над канавой с мутной водой. Он отодвинул засов, дверь распахнулась и чуть не съездила ему по лицу. Это вызвало у Грюнвальда очередной взрыв хохота, и Кертис вновь подумал об убийстве. Его переполняло удивительное чувство жизни. В воздухе стоял дивный запах листвы, и флоридское небо над головой было чудесного белесого цвета. Кертису неудержимо хотелось съесть кусочек хлеба — даже обычный хлеб был бы сейчас деликатесом. Он бы его слопал, накрыв колени белоснежной салфеткой, а потом выбрал бы винтажное вино из своего погребка. Жизнь засияла для Кертиса новыми красками. Только бы успеть ею насладиться! Если у Паскуды на уме всего лишь запретить неудобного соседа, возможно, Кертису еще представится такой шанс.

Он подумал (мысль пришла так же неожиданно, как и та, про хлеб): «Если я выберусь, то сделаю пожертвование в фонд «Спасите детей».

— Шевелись, Джонсон.

— Говорю тебе, он упадет!

— Кто из нас строитель? Не упадет, если будешь осторожен. Лезь.

— Зачем тебе это?!

Грюнвальд удивленно рассмеялся.

— Сказано: лезь в толчок, не то снесу тебе зад!

Кертис перешагнул через канаву и залез в туалет. Будка рискованно покачнулась от его веса. Он вскрикнул и перегнулся через лавку с сиденьем, упершись ладонями в заднюю стену. Когда он встал, точно подозреваемый перед обыском, дверь за его спиной захлопнулась. Солнечный свет померк. Кертис внезапно очутился в жарком, темном помещении. От малейшего движения будка качалась, грозя свалиться в канаву.

В дверь постучали. Кертис представил, как Паскуда одной рукой упирается в голубую панель, а другой стучит.

— Ну что, удобно тебе? Уютненько?

Кертис не ответил. Ладно хоть будка не качается, пока Грюнвальд подпирает ее рукой.

— Уютно, знаю. Как мухе в навозной куче.

Последовал еще один удар, и туалет опять качнулся вперед — Грюнвальд отстранился. Кертис занял прежнюю позицию, встав на пятки и прилагая все усилия, чтобы вонючая будка не шаталась. Пот стекал по лицу, раздражая порез от бритвы на левой щеке. Кертис с щемящей ностальгией вспомнил свою ванную, которую прежде совсем не ценил. Он бы отдал все свои пенсионные накопления, лишь бы вновь оказаться там, с бритвой в руке, и смотреть, как кровь просачивается сквозь пену, а радио в спальне играет дурацкую попсовую песенку — «Карпентерс» или «Дон Хо».

Ну все, теперь он рухнет, точно рухнет, Паскуда этого и добивался...

Однако туалет не рухнул, наоборот, даже встал немного ровнее. Впрочем, еще чуть-чуть, и он бы перевернулся. Кер-

тис стоял на цыпочках, вытянувшись над сиденьем и упершись руками в стену. Постепенно он начинал ощущать толчковую вонь, хотя крышка была закрыта. Пахло разлагающимися испражнениями и дезинфицирующим средством — синей пакостью, конечно, — и оттого смрад был еще гаже.

Спереди прозвучал голос Грюнвальда — видимо, он перешагнул канаву и обошел вокруг туалета. От неожиданности Кертис едва не отшатнулся, и его ладони на долю секунды оторвались от стены. Будка дрогнула. Кертис тут же вернул руки на место.

— Как ты, сосед?

— Напуган до смерти, — ответил Кертис. Волосы прилипли к его взмокнушему лбу, но он побоялся их убрать: малейшее движение могло стронуть будку. — Выпусти меня. Хватит уже, повеселился.

— Если думаешь, что мне весело, то крупно ошибаешься, — педантично возразил Паскуда. — Я уже давно об этом думал и в конце концов пришел к выводу, что пора действовать. Только так и можно тебя проучить. Тянуть было нельзя: скоро я буду ни на что не годен.

— Грюнвальд, давай уладим все по-мужски. Это возможно, клянусь.

— Клянись чем хочешь, я не поверю ни единому твоему слову, — тем же педантичным тоном ответил Паскуда. — Тот, кто поверит на слово пидору, получит по заслугам. — Внезапно он заорал во всю глотку, так что его голос словно бы разлетелся в щепки: — **ВЫ, ПИДОРЫ, СЧИТАЕТЕ СЕБЯ САМЫМИ УМНЫМИ?! ПОУМНИЧАЙ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ!!!**

Кертис промолчал. Только он начинал думать, что приспособился к безумию Грюнвальда, как оно открывалось для него новыми гранями.

Паскуда успокоился и продолжил:

— Значит, тебе нужны объяснения. Думаешь, ты их заслужил. Что ж, может, и так.

Где-то каркнула ворона. Кертису, запертому в жаркой будке, карканье показалось смехом.

— По-твоему, я шутил, когда назвал тебя пидором-ведьмаком? Ни капли. Но в курсе ли ты, что... э-э... тебя, злую сверхъестественную силу, послали меня испытывать? Не знаю, честно. Много бессонных ночей, с тех пор как жена собрала драгоценности и ушла, я думал над этим вопросом, и до сих пор не знаю. Мне кажется, ты тоже.

— Грюнвальд, уверяю тебя, я не...

— Заткнись. Тут я говорю. Разумеется, ты будешь все отрицать. В курсе ты или нет, мне ты не признаешься. Вспомни свидетельства салемских ведьм. Можешь глянуть в Интернете, я уже смотрел. Все они поначалу клялись, что не были ведьмами, а потом утверждали обратное, чтобы выбраться из камеры пыток. Но мало кто из них *знал наверняка*. Просветленному... ну, что там бывает просветленным... разуму это сразу видно. Эй, сосед, как тебе такое?

Внезапно Паскуда — сумасшедший, но еще сильный — начал раскачивать будку. Кертиса едва не бросило на дверь, что неизбежно закончилось бы катастрофой.

— Хватит! — взревел он. — Прекрати!

Грюнвальд снисходительно рассмеялся. Туалет перестал раскачиваться, но Кертис чувствовал, что он накренился еще сильнее.

— Ты как маленький! Говорю же, эти толчки надежнее фондового рынка!

Тишина.

— Конечно... надо учитывать одно обстоятельство: все педики — лгуны, но не все лгуны — педики. Это не тождество, если ты меня понимаешь. Я-то сам по женской части: трахнул бы Деву Марию, да еще сходил бы на деревенские танцульки. Но я солгал, чтобы затащить тебя сюда. И могу лгать прямо сейчас.

Опять кашель — грудной, жуткий и наверняка очень болезненный.

— Выпусти меня, Грюнвальд. Умоляю. Умоляю!

Паскуда долго молчал, раздумывая над ответом, а потом вернулся к предыдущей теме:

— В общем, показаниям ведьм доверять нельзя. И признания тоже, потому что они могут быть притворными. Надо полагаться только на *факты и улики*. В общем, я рассмотрел факты по твоему делу. Сперва ты решил кинуть меня на участок Винтона. Это первое...

— Грюнвальд, я никогда...

— Заткни пасть, сосед. Уж не знаю, зачем ты хотел меня кинуть, но могу предположить, что тебе пришлось не по нраву затея с жилыми домами. В любом случае *улики* — а именно твоя нелепая закладная — показывают, что это чистой воды кидалово. Ты утверждаешь, будто Рикки Винтон продал тебе землю за полтора миллиона долларов. А теперь скажи мне, сосед, какой суд поверит твоему бреду?

Кертис не ответил, даже кашлянуть побоялся — любое движение могло свалить неустойчивую будку; ему было страшно приподнять даже мизинец. Глупо, конечно, хотя как знать...

— Потом к делу подключились родственнички, хотя положение и так было непростое — все из-за твоего пидорского упрямства! Их позвал ты. Или твой адвокат. Ясно как день, тут и думать нечего. Потому что тебе нравится трахать людям мозги.

Кертис не стал возражать.

— Тогда-то ты меня и проклял. Это следует из фактов. «Чтобы знать о существовании Плутона, необязательно его видеть», — какой-то ученый сказал. Он понял, что Плутон существует, наблюдая за несоответствиями в движении других планет, ясно? Здесь то же самое, Джонсон. Надо лишь изучить факты и найти несоответствия в движении твоей... ну, чего там... жизни. Вдобавок твой дух темнеет. Он *темнеет*, я чувствую. Типа затмения...

Паскуда опять закашлялся. Кертис стоял в той же позе задержанного перед обыском, выпятив зад и склонившись над туалетом, в который после утреннего кофе делали свои дела Паскудовы работяги.

— Потом меня бросила Джинни, — сказал Грюнвальд. — Она сейчас живет на Кейп-Коде. Говорит, что одна — правильно, ей ведь нужны алименты, всем бабам нужны, — но мне лучше знать. Если не драть ее дважды в день, она будет сутками торчать перед теликом и жрать шоколадные чипсы, пока не лопнет.

Потом ко мне пристала налоговая. Эти козлы приперлись сюда с ноутбуками и расспросами: «Вы делали то? Вы делали сё? Где бумаги на пятое и десятое?» Джонсон, признайся, ты наворожил? Или это кидалово... ну, не знаю... обычного сорта? Типа ты набрал номер и сказал: «Проверьте-ка этого гада, он что-то скрывает».

— Грюнвальд, я никому не звонил.

Будка задрожала. Ну, теперь уж точно...

Нет, туалет устоял и на сей раз. У Кертиса голова пошла кругом. И его затошнило. Не от вони — от жары. Или от вони и жары вместе. Рубашка мерзко липла к телу.

— Я выкладываю тебе факты, — сказал Грюнвальд. — Поэтому заткнись и слушай. Тишина в зале суда, мать твою!

Почему здесь так жарко?! Кертис поднял голову: на крыше не было вентиляционных отверстий. Точнее, они были, но кто-то закрыл их листом железа, проделав в нем три-четыре дырки. Они пропускали немного света, однако воздух почти не шел. Размером дырки были больше четвертака, но меньше серебряного доллара. Кертис посмотрел через плечо и увидел еще несколько дырок в двери — сама решетка была забита.

— Налоговая заморозила мои активы, — с упреком продолжал Грюнвальд. — Они сказали, что только проверят мою бухгалтерию, простая формальность, но я-то знал, к чему все идет.

Еще бы не знал — на воре шапка горит.

— Но кашель начал мучить меня еще до проверок. Ты постарался на славу. Я сходил к врачу. Рак легких, сосед, и он уже дал метастазы в печени, желудке и хрен знает где еще. Во всех мягких тканях. Для пидора-ведьмака — самые лакомые

места. Странно, что ты обошел стороной мои яйца и зад. Хотя... еще не вечер, тебе только волю дай. Но я не дам. Я вроде замел все следы, а даже если нет — плевать. Скоро я пушу себе пулю в висок. Из этой самой пушки. Лежа в горячей ванне.

Паскуда сентиментально вздохнул.

— Только там я теперь счастлив. В горячей ванне.

Кертису пришла в голову одна мысль. Может, дело было в словах Грюнвальда: «Я вроде замел все следы», но скорее он уже давно это понял. Паскуда задумал перевернуть туалет. Он свалит его в любом случае: не важно, будет Кертис сидеть смирно или кричать и умолять. Пока он решил посидеть смирно — отчасти ему хотелось как можно дольше оставаться в вертикальном положении, но по большому счету он замер от ужаса. Грюнвальд не метафорами изъяснялся; он действительно считал, что его сосед — ведьмак. Его мозг, по-видимому, гнил вместе с остальными частями тела.

— РАК ЛЕГКИХ! — провещал Грюнвальд на всю опустевшую деревню и вновь закашлялся. В ответ раздраженно каркнули вороны. — Я бросил курить тридцать лет назад, а рак легких у меня *сейчас*?!

— Ты спятил, — сказал Кертис.

— Конечно, любой так скажет. Ты все продумал, верно? ПРОДУ-У-УМАЛ. И потом, в довершение всего ты подал на меня в суд из-за мерзкой псины! Твоя псина зашла на мою землю! А с какой целью? Ты забрал у меня участок, жену, дело, здоровье — чего еще тебе надо? Унизить меня, конечно! Чтоб жизнь медом не казалась! Колдовство! А знаешь, что написано про это в Библии? «Ворожеи не оставляй в живых!» Все мои беды — твоих рук дело, и ворожеи не оставляй... В ЖИВЫХ!!!

Грюнвальд толкнул будку. Видимо, он ударил ее плечом, потому что на этот раз она даже не пошатнулась — Кертис мгновенно стал невесомым и полетел назад. Засов мог сломаться под тяжестью его тела, но не сломался. Наверное, Грюнвальд его укрепил.

Потом вес вернулся, и Кертис упал на спину, а туалет — дверцей вниз. Зубы Кертиса сомкнулись на кончике языка. Затылок ударился о дверь, из глаз полетели искры. Крышка сиденья распахнулась, наружу хлынула густая черно-коричневая жижа, и размякшая какашка упала Кертису на пах. Он заорал, скинул ее с себя и вытерся о рубашу, оставив на ней коричневое пятно. Вонючая жидкость лилась из дырки, сбегала по скамье и лужей собиралась вокруг кроссовок. В ней уже плавала обертка от шоколада. Из толчковой пасты свисали гирлянды туалетной бумаги — канун Нового года в аду. Нет, это немыслимо. Это какой-то ночной кошмар, отголосок детских страхов.

— Нравится запашок, а, сосед? — весело спросил Паскуда, хохоча и кашляя. — Прямо как дома? Считаю, это позорный стул для пидоров двадцать первого века! Осталось пригласить того сенатора-педика, Ларри Крэйга, закупить белья «Виктория секрет» и можно закатывать вечеринку! Гости приходят в нижнем белье!

Спина у Кертиса тоже намокла. До него дошло, что туалет свалился в канаву, и вода теперь проникает внутрь через отверстие в двери.

— Эти будки обычно делают из тонкого пластика, как в придорожных кафе на платных автострадах, и при желании его можно пробить хоть кулаком. Но на стройках их облицовывают железом, чтобы хулиганам или пидорам, как ты, неповадно было. Пидоры через такие дырки трахаются. Да-да, я все про вас знаю, сосед. Или какие-нибудь сосунки швыряют через крышу камни, просто чтобы послушать звук — эдакий хлопок, как если лопнуть большой бумажный пакет. В общем, крыши мы тоже лицуем. Внутри, конечно, пекло, но так даже сподручнее: никто не станет пятнадцать минут листать журнал в толчке, где жарко, как в турецкой тюрьме.

Кертис перевернулся. Он лежал в мерзкой вонючей луже. Вокруг запястья обмоталась туалетная бумага. Сняв ее, он увидел коричневый след — дерьмо какого-нибудь работяги с давно замороженной стройки. Кертис заплакал. Он лежал среди

говна и туалетной бумаги, через дверь в будку сочилась вода, и это был не сон. Где-то недалеко его «мак» считал цифры с Уолл-стрит, а Кертис лежал в моче, рядом в углу валялась черная какашка, у ног зияло раскрытое сиденье, и это был не сон. Он продал бы душу дьяволу, чтобы проснуться сейчас в своей прохладной и чистой кровати.

— *Выпусти меня!!!* ГРЮНВАЛЬД, ПРОШУ!

— Не могу. Все идет по плану, — деловым тоном ответил Паскуда. — Ты приехал позлорадствовать, услышал зов природы и заметил неподалеку туалеты. Вошел в один, а тот взял и перевернулся. Конец истории. Когда тебя найдут — а однажды тебя все-таки найдут, — полицейские увидят, что все толчки накренились, потому что землю размывло ливнями. Телефон ты забыл дома, глупыш. Я его занесу, не волнуйся. *Факты* будут налицо — рано или поздно все упирается в факты.

Грюнвальд расхохотался, на сей раз без кашля — теплым, самодовольным смехом человека, который удачно обстригал дельце. Кертис лежал в луже глубиной уже около двух дюймов, в мокрой рубашке и брюках, мечтая, чтобы Паскуда умер на месте от сердечного приступа. Хрен с ним, с раком, пусть свалится прямо тут, на разбитой грунтовой дороге своей неудавшейся стройки. Желательно на спину, чтобы птицы выклевали ему глаза.

Тогда я точно умру.

И правда, но Паскуда с самого начала замыслил убийство, так что какая разница?

— На ограбление не похоже: все деньги при тебе, да и ключ от мотороллера тоже. Кстати, ездить на нем опасно, имей в виду. Хуже только квадроциклы. Да еще без шлема! Как тебе не стыдно, сосед? Я заметил, ты включил сигнализацию. Правильно сделал, очень милый штришок. У тебя нет даже ручки, чтобы оставить на стене записку. Впрочем, я бы ее забрал. Идеальное убийство, трагический несчастный случай.

Грюнвальд умолк. Кертис с чудовищной ясностью представил, как он стоит, сунув руки в карманы мешковатых штанов, немытые волосы убраны за уши. Думает. Разговаривает

с Кертисом и с самим собой, ищет возможные подвохи, хотя лелеял свой план много бессонных ночей.

— Конечно, все учесть невозможно. Никогда не знаешь, как карта ляжет. Но каковы шансы, что сюда кто-нибудь придет, пока ты еще жив? Они невелики. Очень невелики. Да и в любом случае терять мне нечего. — Паскуда восхищенно рассмеялся. — Ты лежишь в дерьме, Джонсон? Очень надеюсь.

Кертис посмотрел на кучку дерьма, которую спихнул со своих штанов, но промолчал. В воздухе стояло тихое жужжание. Мухи. Всего несколько штук, но и этих хватало. Они вылетели из открытого сиденья. Видимо, их заперли в отстойном баке, который по всем правилам должен был находиться под Кертисом, а не у его ног.

— В общем, я пошел, сосед, а ты лежи и думай: тебя постигла ведьминская участь. Перефразирую героя одного фильма: в толчке никто не услышит твоего крика.

Грюнвальд пошел прочь. Кертис слышал его удаляющиеся шаги и хохот, чередующийся с кашлем.

— Грюнвальд! Грюнвальд, вернись!

Паскуда отозвался:

— Кто теперь взаперти? Ты! Ой как взаперти!

— Вернись, Паскуда!!!

Увы, с той стороны донесся лишь звук отъезжающей машины. Сперва Грюнвальд проехал по грунтовой дороге (Кертис слышал плеск луж под колесами), а затем поднялся на холм, где совсем другой Кертис Джонсон припарковал свой мотороллер. Напоследок Грюнвальд посигналил — веселый и зловещий звук, — и шум его двигателя слился с остальными шумами окружающего мира: гудением насекомых в траве, жужжанием мух, удравших из бака, и тихим гулом далекого самолета, где пассажиры первого класса сейчас угощались крекерами с сыром бри.

На руку Кертису села муха. Он ее согнал. Она приземлилась на колечко дерьма в углу и принялась за обед. Внезапно вонь из потревоженного бака показалась Кертису живым существом, черно-коричневой рукой, схватившей его за горло.

Но хуже всего воняло не разлагающееся дерьмо, а дезинфицирующая жидкость. Синяя пакость. Да, она самая.

Он сел — свободного места для этого хватало — и сблевал между расставленных коленей, в лужу воды с плавающей в ней туалетной бумагой. После утренней рвоты из него вышла одна желчь. Он согнулся, убрал руки за спину и уперся в дверь, на которой теперь сидел. Порез на щеке пульсировал и щипал. Кертиса вырвало снова, одним воздухом — звук был похож на треск цикад.

И, как ни странно, ему полегчало. Кертис почувствовал себя *честнее*. Блев был *заслуженный*, без всяких там пальцев в горле. А может, и перхоть пройдет? Кертис мог бы подарить миру новое средство от перхоти: Полоскание Старой Мочой. Не забыть проверить черепушку, когда выберусь отсюда. *Если* выберусь. Ладно хоть сидеть можно.

В будке было чудовищно жарко, вонь стояла кошмарная (он не хотел думать о содержимом бака, но не мог отогнать эти мысли), зато Кертису по крайней мере было, где сидеть.

— Ищи плюсы, — пробормотал он. — Ищи и аккуратно считай долбанные плюсы.

Да, надо провести инвентаризацию. Вода под ним больше не пребывает — несомненный плюс. Утонуть ему не грозит, если только дневной дождик не превратится в ливень. На Черепашьем острове это обычное дело. И бесполезно твердить, что я выберусь отсюда до дождя — *разумеется*, выберусь. Такое примитивное мышление только сыграет Паскуде на руку. Нельзя просто сидеть и ждать, пока меня вызволят, благодаря Господа за свободное место для головы.

Может, на стройку заедет кто-нибудь из департамента строительства и планирования. Или из налоговой.

Мысль приятная, но вряд ли это случится. Паскуда, конечно, продумал и такую вероятность. Какой-нибудь бюрократ или целая команда бюрократов могут совершить незапланированный визит на стройку, но рассчитывать на это так же глупо, как надеяться на милосердие Грюнвальда.

Миссис Уилсон решит, что он, как обычно, поехал в Сарасоту на дневной киносеанс. Кертис постучал в левую стенку,

затем в правую. С обеих сторон за тонким пластиком чувствовался толстый слой железа. Облицовка. Он встал на колени и на сей раз ударился головой о потолок, но даже не заметил этого. Увиденное его не обрадовало: шляпки болтов, которыми скреплялись стенки, были с обратной стороны, а внутрь торчали тупые концы. Он сидел не в туалете — в гробу.

От этой мысли спокойствие и ясность мышления улетучились. Им на смену пришел панический ужас. Кертис начал барабанить по стенкам туалета и орать, чтобы его выпустили. Он метался из стороны в сторону, как ребенок в истерике, пытаясь перевернуть будку и освободить дверь, но она даже не пошевелилась. Из-за железной облицовки треклятый толчок стал слишком тяжелым.

Тяжелый, как гроб! — вопил его разум. От паники никаких других мыслей в голове не было. Тяжелый, как гроб! Как гроб! Гроб!

Сколько это продолжалось, Кертис не знал, но в какой-то миг он попытался встать, точно хотел пробить стену, как Супермен. На сей раз он ушиб голову куда сильнее. Упав на живот, Кертис вляпался руками в какую-то гадость и, не глядя, вытер их о задние карманы джинсов. Из его крепко зажмуренных глаз потекли слезы. В темноте под веками сыпались и взрывались звездочки. Крови не было — очередной сомнительный плюс, — но Кертис едва себя не вырубил.

— Успокойся, — сказал он и опять встал на колени: голова опущена, волосы свисают, глаза закрыты.

Кертис был похож на молящегося, и, возможно, он действительно молился. Муха села ему на шею и тут же улетела.

— Если спятишь, тебе это не поможет, а он пришел бы в восторг от твоих воплей, так что успокойся, не доставляй ему такого удовольствия, просто соберись, мать твою, и подумай!

О чем тут думать? Я взаперти.

Кертис сел и спрятал лицо в ладонях.

А между тем время шло, и жизнь текла своим чередом.

По трассе 17 мчались машины — по большей части рабочие лошадки; фермерские грузовики ехали на сарасотские

рынки или в магазин экологически чистых продуктов в Но-комисе; случайный трактор; фургончик почтальона с желтыми фарами на крыше. Ни один автомобиль не свернул к Деркин-Гроув.

Миссис Уилсон пришла к Кертису, прочла записку, оставленную на кухонном столе, и начала пылесосить. Затем включила мыльную оперу по телевизору и погладила чистую одежду. Сделала заготовку для макаронной запеканки, сунула ее в холодильник и нацарапала на листке бумаги короткую инструкцию: «Печь 45 мин. при 180 градусах». Когда над Мексиканским заливом зарокотал гром, она решила уехать пораньше. Миссис Уилсон часто так делала; никто из местных не умел водить машину в дождь — летние ливни для них были сродни вермонтской снежной буре.

В Майами налоговый агент, работавший над делом Грюнвальда, ел кубинский сандвич. Вместо костюма на нем была гавайская рубашка с попугаями, и сидел он под тентом уличного кафе. В Майами стояла ясная погода. У агента начался отпуск. Дело Грюнвальда в лес не убежит — правительственные жернова мелют медленно, но верно.

Грюнвальд дремал в горячей ванне, установленной во внутреннем дворике, когда его разбудили первые раскаты грома. Он вылез из ванны и ушел в дом. Как только он закрыл за собой стеклянную дверь между двориком и гостиной, начался дождь. Грюнвальд улыбнулся. Это тебя остудит, сосед.

Вороны заняли прежние позиции на лесах вокруг недостроенного банка, но, когда разразился гром и первые капли дождя стали падать на землю, улетели в лес, раздраженно каркая.

В биотуалете — казалось, прошло не меньше трех лет — Кертис прислушивался к стуку дождя по крыше его тюрьмы. Вернее, по задней стенке туалета. Дождь сперва мягко накрапывал, потом забарабанил и, наконец, грянул в полную силу. У Кертиса было ощущение, что его заперли в телефонной будке, оборудованной стереодинамиками. Над головой прогремел гром. Кертис тотчас представил, как ударившая в туалет молния поджаривает его, точно петуха в микроволновке. Что ж, смерть хотя бы будет быстрой.

Вода опять начала прибывать, правда, медленно. Кертис ей даже обрадовался, поскольку утонуть, как крысе в унитазе, ему не грозило. По крайней мере это была *вода*, а ему очень хотелось пить. Кертис приник к дырке в железной облицовке и начал пить, как лошадь из поильника. В воде был песок, но он пил, пока в животе не заплескалось, постоянно напоминая себе, что это вода, *вода*.

— Может, в ней и есть доля мочи, но очень небольшая, — произнес он вслух и расхохотался.

Смех перешел в плач, затем обратно в смех.

Дождь закончился как обычно, около шести. Небо прояснилось аккуратно к первоклассному флоридскому закату. Любопытству им на пляж пришли несколько местных жителей. Никто не заметил отсутствия Кертиса Джонсона — иногда он приходил, иногда нет. Среди собравшихся был Тим Грюнвальд, и многие отметили, что сегодня он веселее, чем обычно. Миссис Пиблс сказала мужу, что мистер Грюнвальд наконец оклемался после ухода жены. Мистер Пиблс ответил, что она — неисправимый романтик. «Да, дорогой, — кивнула она, положив голову ему на плечо, — потому я за тебя и вышла».

Свет, проникавший в будку сквозь отверстия в облицовке, из персикового превратился в серый, и Кертис понял, что проведет ночь в вонючем гробу, на два дюйма залитом водой. Теоретически он даже может здесь *умереть*, но это еще не факт. А вот ночь — час за часом, как стопка черных книг — реальна и неизбежна.

Кертиса вновь охватила паника. Он опять начал биться о стены и орать, поворачиваясь на коленях. «Как птичка в клетке», — подумал он, но не остановился. Одной ногой Кертис размазал по скамье беглую какашку и порвал брюки. Ссадил в кровь кулаки. Наконец он замер, рыдая и посасывая разбитые костяшки.

Хватит, довольно. Надо набраться сил.

И тут же подумал: «Для чего?»

К восьми часам стало холодать. К десяти охладилась и лужа, в которой он лежал; Кертиса забила дрожь. Он обхватил себя руками и прижал колени к груди.

Все хорошо, главное, не стучать зубами. Я не вынесу этого звука.

В одиннадцать Грюнвальд лег спать. Он лежал в пижаме под вентилятором, смотрел в темноту и улыбался. Впервые за много месяцев ему было так хорошо. Он, конечно, обрадовался, но не сказать, чтобы удивился.

— Приятных снов, сосед.

Грюнвальд закрыл глаза и сладко проспал всю ночь, чего с ним не случалось уже полгода.

В полночь неподалеку от импровизированной камеры Кертиса протяжно взвыл какой-то зверь — скорее всего бродячий пес, но Кертис решил, что это гиена. У него застучали зубы. Звук был именно такой, как он боялся.

Через невыразимо долгое время он уснул.

Очнулся Кертис от мощного озноба, который сотряс все тело. Ноги выбивали чечетку, точно у наркомана, страдающего ломкой. Я заболеваю, надо сходить к врачу. Кости ломит. С этой мыслью он открыл глаза, увидел, где находится, вспомнил вчерашние события и застонал: О-о... нет! НЕТ! О да. Ладно хоть в туалете немного посветлело. Свет шел из круглых отверстий: бледно-розовое утреннее сияние. Скоро оно станет ярче, зной наберет силу, и Кертис опять будет тушиться на пару.

Грюнвальд вернется. За ночь он все обдумал и понял, какую глупость совершил. Он меня выпустит.

Кертис не верил, что так будет, пусть и очень хотел.

Еще ему зверски хотелось отлить, но он дал себе клятву, что не станет мочиться в угол, хотя всюду плавала туалетная бумага и дерьмо. Это все равно что расписаться в собственном бессилии.

«Я расписываюсь в собственном бессилии».

Но нет, еще нет. Да, он изможден, напуган и упал духом, однако в глубине души надежда еще жива. И потом, его хотя бы не тошнит, а это уже хорошо, и за бесконечную ночь Кертис ни разу не поскреб голову гребнем.

И вообще, необязательно мочиться в угол. Можно поднять крышку и пустить струю в бак. Конечно, учитывая тепе-

решнее положение будки, писать придется горизонтально, но его мочевой пузырь так раздулся, что с этим вряд ли возникнут проблемы. Последние капли, правда, упадут на пол...

— Считай, это превратности войны, — сказал Кертис вслух и удивился своему скрипучему смеху.

Раз уж на то пошло, вовсе не обязательно держать сиденье поднятым. «Я способен на большее».

Кертис не мнил себя Геркулесом, но и само сиденье, и обод, прижимающий его к скамье, были пластмассовые: сиденье черное, обод белый. Простая хлипкая дешевка, не надо быть строительным подрядчиком, чтобы это понять. И в отличие от стен никто не укреплял сиденье листовым железом — оторвать его не составило бы труда. Хоть пар немного выпущу.

Он схватил крышку, поднял ее и уже хотел вцепиться в сиденье, как вдруг замер, вглядываясь в круглую дырку и пытаясь сообразить, что же он видит.

Похоже на тонкую полоску света.

Кертис озадаченно смотрел на нее, чувствуя, как внутрь прокрадывается надежда. Нет, она не охватывала его, скорее просачивалась сквозь потную, перемазанную испражнениями кожу. Сперва он подумал, что это флуоресцентная краска или оптический обман. Последнее подозрение окрепло, когда свет начал меркнуть.

Все слабее... слабее... почти пропал.

И тут, не успев исчезнуть, вспыхнул снова. Полоска была такая яркая, что отпечаталась на сетчатке, и Кертис видел ее с закрытыми глазами.

Это солнечный свет. Дно будки обращено на восток, где только что взошло солнце.

Тогда почему он мерк?

— Солнце спряталось за тучу. — Кертис убрал со лба прилипшие волосы. — А потом вышло снова.

Он тщательно проверил эту идею на признаки самообмана, но не обнаружил ни одного.

Прямо перед его глазами сияла тонкая полоска света, пробившегося сквозь щель в дне будки. Или сквозь трещину.

Если забраться внутрь и расширить это сверкающее окно в мир...

Не тешь себя пустыми надеждами.

Чтобы это сделать, придется...

Невозможно. Если ты думал пролезть в бак через дырку, как Алиса в Страну Говночудес, подумай еще. Ты уже не тот худосочный мальчишка, каким был тридцать пять лет назад...

И правда. Но он по-прежнему подтянут — ежедневные велопрогулки не прошли даром — и вполне может протиснуться внутрь. Не так уж это и трудно.

А обратно?

Ну... если он расширит трещину, обратно лезть не придется.

— Предположим, я *смогу* туда забраться...

Его вдруг охватило приятное волнение, и впервые после приезда в Деркин-Гроув захотелось сблевать. Если сунуть два пальца в рот и...

— Нет, — коротко осадил он себя и одной рукой дернул сиденье в сторону.

Обод затрещал, но не поддался. Кертис схватил его обеими руками; волосы упали обратно на лоб, и он нетерпеливо их смахнул. Потянул снова. Сиденье и обод немного поупирались и вылетели из дыры. Один пластмассовый штырь свалился внутрь, а второй, треснув посередине, покатился по двери, на которой сидел Кертис.

Он отбросил сиденье с крышкой в сторону и заглянул в бак, держась руками за края скамьи. От первой волны едкого воздуха Кертис невольно отпрянул и сморщился. Он думал, что уже приняхался к воню — видимо, нет. Или ее источник был слишком близко. Когда последний раз чистили этот толчок?

Подумай о хорошем. Если его давно не чистили, значит, им давно не пользовались.

Что ж, может быть. Но так ли это хорошо? В дезинфицирующей жидкости на дне бака по-прежнему плавало дерьмо. Его было видно даже в тусклом свете. И потом, как все-таки выбраться обратно? Возможно, это будет нетрудно — если уж

влез, то почти наверняка вылезешь, — но Кертис легко мог представить, как застрянет в дыре. Рожденный не из грязи, но из дерьма.

Впрочем, выбора-то нет.

Можно сидеть в будке и убеждать себя, что помощь рано или поздно придет. Прискачет на конях, как в финальной части старого вестерна. А вернее, придет Паскуда — убедиться, что Кертису по-прежнему... как он сказал?.. уютненько в своем маленьком домике. Что-то вроде того.

И тогда Кертис принял решение. Он еще раз заглянул в дыру — черную дыру, испускающую омерзительную вонь, черную дыру с обнадеживающей полоской света. Надежда была слабой, как и этот свет. Итак, сначала надо засунуть правую руку, потом голову. Левую руку держать вдоль тела, пока не протиснешься внутрь по пояс. Затем, когда левая рука освободится...

А если нет? Кертис застрянет, вытянув правую руку вперед; левая будет прижата к телу, а туловище перекроет дыру, перекроет *воздух*, и он умрет собачьей смертью, под ним будет плескаться дерьмо, а впереди издевательски сверкать полоска света...

Он представил, как кто-нибудь отыщет его застрявшее тело: зад торчит кверху, ноги раскинуты в стороны, на стенах коричневые пятна от предсмертных пинков. Нашедший — к примеру, налоговый агент, которого так ненавидит Паскуда, — пошутит: «Ценную вещь обронил, не иначе».

Смешно, вот только Кертису было не до смеха.

Сколько он уже пялится в этот бак? Часы Кертис оставил в кабинете, рядом с ковриком для мыши, но, судя по затекшим бедрам, уже давно. Да и свет стал заметно ярче. Солнце целиком поднялось над горизонтом, и скоро камера опять превратится в пароварку.

— За дело, — сказал Кертис и ладонями отер пот с лица. — Другого выхода нет.

Тут он опять замешкал. А вдруг в баке змея?

Что, если Паскуда, предугадав возможные действия Кертиса, нарочно сунул туда змею? Медноголовку, к примеру,

которая пока сладко спит под слоем прохладного человеческого дерьма. Один укус медноголовки, и Кертис будет умирать долго и мучительно; рука распухнет, температура начнет медленно расти. Укус коралловой змеи приведет к более быстрой, но и более мучительной смерти: сердце рванет вперед, остановится, опять рванет и, наконец, сдастся.

Нет там никаких змей. Может, есть насекомые, но не змеи. Ты же слышал Грюнвальда: он спятил, рехнулся, он не мог такое придумать.

Может, и нет. С безумцами оно так — никогда не знаешь, как карта ляжет. Паскудское Дао. Впрочем, если Кертис не попытает счастья, то медленно умрет в будке. Смерть от змеиного укуса все-таки быстрее и легче.

— Пора, — повторил Кертис, отирая лицо, — пора.

Но лучше умереть наверху, чем застрять в дыре. Такая смерть хуже всего.

— Я не застряну, — сказал он себе. — Смотри, какая здоровая дыра. Ее разработали специально для толстожопых дальнобойщиков, жрущих одни пончики.

Кертис истерически захихикал. Дырка вовсе не казалась ему большой, как раз наоборот: она была крошечной. Впрочем, это только игры воображения, *перепуганного насмерть* воображения, но легче от этой мысли Кертису не стало.

— За дело, — сказал он. — Другого выхода нет.

Возможно, все будет напрасно... но вряд ли кому-то пришло в голову покрыть железом дно бака. «Решено, лезу».

— Да поможет мне Бог. — Это была его первая молитва за сорок лет. — Господи, помоги мне не застрять!

Он сунул в дыру правую руку, затем голову (прежде глотнув более чистого воздуха снаружи), потом прижал левую к бедру и скользнул внутрь. Левое плечо застряло, но прежде чем Кертис успел запаниковать и податься назад — отчасти он понимал, что это решающий момент, назад пути не будет, — плечо проскочило в дыру, и он оказался по пояс в вонючем баке. Его бедра — узкие, но все же не прозрачные — заткнули отверстие, и внутри было темно, как в могиле. Перед глазами издевательски мерцала полоска света. Точно мираж.

Господи, это ведь не мираж?

Бак был глубиной фута четыре, может, поглубже. Больше автомобильного багажника, но, увы, меньше кузова пикапа. Кертису показалось, что его волосы коснулись дезинфицирующей жидкости, а макушка была в паре дюймов от вонючей жижи. Левая рука все еще прижималась к бедру — на уровне запястья — и никак не проходила. Кертис поерзал из стороны в сторону. Рука осталась на месте. Сбылись его худшие опасения: он застрял. Все-таки застрял. Головой вниз над вонючей чернотой.

В груди вспыхнула паника. Он протянул вперед свободную руку — бездумно, просто так. На секунду свет выхватил из темноты контуры его пальцев. Свет был прямо перед ним. Кертис попробовал его схватить. Первые три пальца в щель не пролезли, а вот мизинец поместился. Он дернул обшивку на себя и почувствовал, как зазубренный край дна — железного или пластмассового, Кертис пока не понял — врезался в кожу и порвал ее. Плевать! Он потянул сильнее.

Бедра проскочили внутрь — словно пробка вылетела из бутылки. Запястье освободилось, но слишком поздно: Кертис не успел выставить руку, чтобы смягчить падение, и рухнул головой в дерьмо.

В ту же секунду Кертис поднялся, отдуваясь и размахивая руками. Нос забило слизью. Он закашлялся и сплюнул — да, вот теперь он действительно взаперти. Туалетная будка казалась ему тесной? Смешно! Будка — это весь Дикий Запад, австралийские степи, туманность Конская Голова. А он променял ее на темное чрево, полное гниющего дерьма.

Кертис вытер лицо и раскинул руки в стороны. Ленты мерзкой жижи слетели с пальцев. Глаза щипало, перед ними все плыло. Он протер их одной рукой, затем другой. Нос был забит. Кертис сунул мизинцы (по одному стекала кровь) в ноздри и как мог их прочистил. Так, теперь хоть дышать можно. Когда он вдохнул, вонь словно прыгнула в горло и вцепилась когтями в желудок. Его тут же вырвало.

Держись, только держись. Иначе все было зря.

Он прислонился к задней стенке и начал глубоко втягивать воздух ртом, но легче от этого не стало. Прямо над ним сиял жемчужный овал света — дыра, в которую он, дурак, только что пролез. Кертиса опять вырвало. Звук был такой, словно злой пес пытался лаять, но ему мешал слишком тесный поводок.

А что, если я не смогу остановиться? Так и буду блевать? Меня скрутит судорога.

Кертис не мог думать — слишком был напуган, — поэтому тело думало за него. Он встал на колени (получилось не сразу, стенки были очень скользкие) и приник ртом к щели в полу. Вспомнилась история, которую им рассказывали в школе: прячась от врагов, индейцы залегали на дно мелкого пруда и дышали сквозь полую тростинку. Ты тоже сможешь. Сможешь, если успокоишься.

Он закрыл глаза и просто дышал. Из трещины шел невероятно приятный воздух. Потихоньку сердце начало униматься.

Ты проберешься обратно. Как влез, так и вылезешь. Вылезти даже проще, потому что...

— ...теперь я скользкий, — сказал Кертис и сдавленно рассмеялся, хотя собственный глухой голос до смерти его напугал.

Немного придя в себя, он открыл глаза. Они уже привыкли к темноте бака, и Кертис увидел свои перемазанные дермом руки и туалетную бумагу, обмотавшуюся вокруг правого запястья. Он содрал ее и выбросил. Похоже, начинаю привыкать. Человек привыкает к чему угодно. Мысль не самая утешительная.

Кертис посмотрел на щель в полу, пытаясь сообразить, что же он видит. Она напоминала треснувший шов на плохо сшитой одежде. Это и был шов. Дно бака состояло из двух пластмассовых листов, скрепленных шурупами белого цвета, которые сияли в темноте. Белые шурупы? Кертис видел такие впервые. Несколько штук у самого края сломались — получилась трещина. Отходы наверняка выходили наружу и впитывались в землю.

«Натравить бы на тебя защитников природы, Паскуда», — подумал Кертис и ощупал один шуруп слева от трещины. Точно определить было нельзя, но материал скорее напоминал твердый пластик, чем металл. Возможно, тот же самый пластик, из которого был сделан обод сиденья.

Итак. Бак собран из двух частей на каком-нибудь туалетном конвейере в Дефайансе, штат Миссури, Айдахо, или в Уот-Чире, Айова. Шов, точно широкая улыбка, проходит по всему дну и стенкам. Шурупы закручены какой-то особой отверткой, возможно, пневматической, какими раньше в автомастерских ослабляли гайки крепления колеса. Почему же шляпки шурупов изнутри? Все просто: чтобы какой-нибудь хулиган не открыл бак снаружи.

Шурупы шли с промежутком в пару дюймов, а трещина была длиной около шести. Значит, треснуло примерно три шурупа. Почему? Некачественный материал, брак? Да на-срать.

— Кстати словечко, — сказал Кертис и опять рассмеялся.

Шурупы слева и справа тоже немного открутились, но Кертис не смог ни отвинтить их до конца, ни отломать, как туалетное сиденье, — не за что было ухватиться. Один справа разболтался сильнее остальных. Если хорошенько постараться, может, он и выскочит. На это уйдет несколько часов, и пальцы наверняка сотрутся в кровь... А толку? Еще два дюйма свободного пространства для дыхания, и все.

Остальные шурупы засели намертво. Кертис больше не мог сидеть на коленях, ноги затекли и горели огнем. Он опять прислонился к стенке, положив локти на колени и свесив грязные руки. Посмотрел на яркий овал над головой. Там был рай, только Кертисова доля этого рая стала совсем крошечной. Зато пахло там чуть лучше, чем здесь, и когда ноги окрепнут, он проберется обратно. Незачем сидеть в дерьме, если толку от этого нет. А его, похоже, не было.

На грязную брючину, осмелев от неподвижности Кертиса, взобрался огромный таракан. Кертис хлопнул по нему ладонью, и он исчез.

— Правильно, беги. Почему бы тебе не протиснуться в щелку? Как раз поместишься. — Он убрал волосы со лба, зная, что перемазал его дерьмом. — Нет, тебе тут хорошо. Небось подумал, что умер и попал в рай.

Он решил дать отдых ноющим ногам и вылезти из Страны Говночудес в свой кусочек рая размером с телефонную будку. Оставаться в баке дольше необходимого не хотелось.

Кертис закрыл глаза и попробовал сосредоточиться.

Он увидел цифры на экране своего монитора. Фондовый рынок в Нью-Йорке еще не открылся, стало быть, цифры из-за океана. Индекс Никкей скорее всего. Большинство цифр были зеленые. Славно.

— Металлы и акции промышленных компаний, — сказал Кертис. — И «Такэда фарма», да. Покупать надо их, дураку ясно...

Кертис свернулся калачиком у стенки — осунувшееся лицо в коричневой боевой раскраске, зад почти по бедра в жиге, перемазанные дерьмом руки свисают с подтянутых коленей — и уснул. Ему приснился сон.

Живая Бетси лежала на боку в гостиной, между телевизором и журнальным столиком, уснув рядом с жеваным теннисным мячом, который всегда держала под рукой. Вернее, под лапой.

— Бетс! — сказал Кертис. — Просыпайся и тащи сюда тыкалку!

Она с трудом поднялась — конечно, с трудом, она ведь уже старенькая, — и на ее шее звякнули бирки.

Звякнули бирки.

Бирки.

Кертис проснулся с протянутой рукой — он хотел то ли взять пульт, то ли потрогать свою покойную собаку.

Положив руку обратно на колено, он расплакался. Ничего удивительного, наверняка он начал плакать еще во сне. Бетси умерла, а он сидит в луже с дерьмом. Как тут не расплакаться?

Светлый овал над головой стал заметно ярче. Неужели Кертис так долго спал? Не меньше часа... Бог знает сколько ядовитого воздуха успело попасть в его легкие...

— Ядовитый воздух ведьмакам нипочем.

Тем более сон был очень приятный. Очень *правдоподобный*. Звяканье бирок и...

— Твою мать!

Кертис запустил руку в карман. Ключ от «веспы», скорее всего выпал, и придется искать его на дне толчка, фильтруя дерьмо в тусклом свете из щели и дырки над головой. Пустяки, главное, ключ при нем. И деньги, хотя ни от денег, ни от зажима толку сейчас не будет. Зажим золотой и дорогой, но слишком толстый. Сам ключ тоже не пригодится, а вот брелок... Всякий раз, глядя на него или слыша его звяканье, Кертис замирал от боли. Бирка Бетси.

Она носила две, но именно эту Кертис снял, когда последний раз попрощался с Бетси. Вторая — обязательная — удостоверения, что собаке сделаны все необходимые прививки. Эта была более личная и напоминала армейский жетон с гравировкой:

БЕТСИ
ХОЗЯИН КЕРТИС ДЖОНСОН
ТЕЛ. 941-555-1964
ФЛОРИДА, ЧЕРЕПАШИЙ ОСТРОВ,
БУЛЬВАР ГАЛФ, 19

Конечно, это не отвертка, но тонкий кусок нержавеющей стали вполне за нее сойдет. Кертис прочел еще одну молитву («Не знаю, как насчет окопов, но в толчках атеистов точно не бывает») и вставил бирку в прорезь на шляпке шурупа — того самого, что немного разболтался.

Он ожидал хотя бы легкого сопротивления, но шуруп открутился почти сразу. От удивления Кертис даже выронил ключ — пришлось искать его на ощупь. Затем опять вставил бирку и дважды провернул. Дальше шуруп можно было открутить руками, что Кертис и сделал — улыбаясь до ушей.

Прежде чем взяться за шуруп слева от трещины — она стала на два дюйма шире, — Кертис дочиста вытер бирку рубаш-

кой (насколько это было возможно; рубашка тоже пропиталась дерьмом и липла к телу) и нежно поцеловал.

— Если не подведешь, повешу тебя в рамочку. — Затем добавил: — Только не подведи, ладно?

Он сунул край бирки в прорезь и провернул. Второй шуруп сидел крепче первого, но... не так уж и крепко. Стоило немного его расслабить, как он открутился почти сам.

— Господи... — Кертис опять заплакал. «Превращаюсь в заправский капающий кран» — подумал он. — Неужели я выберусь отсюда, Бетс? Неужели?

Он принялся за следующий шуруп, теперь с правой стороны. Так оно и пошло: один слева, один справа. Слева-справа, слева-справа. Когда рука уставала, Кертис давал ей отдых. Он провел здесь уже сутки и не хотел торопиться. А больше всего не хотелось еще раз выронить ключ. Найти-то он его найдет, места здесь немного, но к чему рисковать?

Слева-справа, слева-справа, слева-справа.

И мало-помалу (на смену утру пришел день, бак прогрелся, и вонь стала еще невыносимей) трещина на дне бака увеличилась. Кертис был близок к свободе, однако не спешил. Важно не торопиться, не гнать лошадей. Можно все испортить, да, но дело даже не в этом, а в уязвленном достоинстве и самолюбии. Если же отмести вопросы самооценки, правда остается правдой: тише едешь — дальше будешь.

Слева-справа, слева-справа, слева-справа.

Незадолго до полудня шов на перепачканном грязью дне биотуалета вспух, раскрылся, закрылся и снова вспух. Наконец, щель приоткрылась на все четыре фута своей длины, и в ней мелькнула макушка Кертиса Джонсона. Затем он дал задний ход и открутил еще несколько шурупов: три слева и три справа.

Шов разошелся вновь, и на сей раз грязная коричневая голова стала медленно протискиваться вперед. Щеки и рот растягивались, словно от страшного ускорения, из расцарапанного уха потекла кровь. Кертис оттолкнулся ногами и заорал. Неужели он застрянет теперь, когда наполовину выб-

рался из бака? Даже в панике он не мог не заметить, какой на улице сладкий воздух: горячий и влажный, вкуснее не бывает.

Освободив плечи, Кертис замер, отдуваясь, и поглядел на смятую пивную банку в десяти футах от его потной, кровоточащей головы. Чудо! Затем оттолкнулся еще раз, подняв голову и рыча. Жилы на шее вспухли, пластик разорвал рубашку на спине, но он этого даже не заметил. Прямо перед ним из земли росла молодая сосенка фута четыре в высоту. Кертис потянулся, схватил тонкий смолистый ствол одной рукой, затем другой. Немного передохнул, чувствуя струйки крови на обоих плечах, и в последний раз оттолкнулся ногами, одновременно подтянувшись к сосне. Кертис боялся, что вырвет ее с корнем, но она выдержала. Ягодицы ожгла резкая боль: штаны порвались и сбились в комок у самых ступней. Чтобы полностью освободить ноги, он вертелся и извивался, пока не скинул кроссовки. Бак наконец выпустил его левую ногу, и Кертис медленно осознал: он свободен.

Перекатившись на спину (из одежды на нем был единственный носок и трусы — резинка лопнула, ткань на заду порвалась, ягодицы сильно кровоточили), он поднял голову, широко распахнутыми глазами посмотрел на голубое небо и заорал. Кричал он, пока не охрип, и только тогда разобрал слова: «Я жив! Жив! Жив!»

Через двадцать минут Кертис встал и поковылял к старому трейлеру, стоявшему на бетонных блоках. В тени трейлера пряталась глубокая лужа. Дверь заперли, но рядом валялось еще несколько блоков, один из которых треснул пополам. Кертис взял половинку и колотил ею замок, пока дверь не распахнулась, выпустив наружу волну горячего спертого воздуха.

Прежде чем войти, Кертис обернулся и взглянул на туалеты по другую сторону дороги, лужи на которой, точно осколки грязного зеркала, отражали голубое небо. Пять будок, три стояли, две лежали дверцей вниз. В одной из них Кертис едва не умер. И хотя он истекал кровью, был почти голый,

перемазан дерьмом, в рваных трусах и одном носке, страшные воспоминания показалась ему дурным сном.

Передвижной офис практически пустовал — или его разграбили за пару дней до окончательной остановки строительства. Перегородок не было, только одна длинная комната с письменным столом, двумя стульями и диваном из магазина уцененных товаров. В дальнем конце комнаты стояли коробки с бумагами, маленький холодильник, выключенный из сети, радио и вращающийся стул с запиской, приклеенной к спинке: «Для Джимми».

Дверь в кладовку была распахнута, но перед тем как туда заглянуть, Кертис открыл холодильник. Внутри обнаружили четыре бутылки родниковой воды «Зефир», одна початая. Кертис схватил целую и выпил ее до дна. Она была теплая, но вкус... такая вода, наверное, текла в райских реках. Кертис допил, и у него тотчас схватило живот. Он рванул к двери и выблевал всю воду на ступеньки.

— Видишь, ма, теперь само выходит! — крикнул Кертис.

По его лицу струились слезы. Можно было стошнить водой и на пол заброшенного трейлера, но после того, что случилось, он не хотел находиться в одной комнате с собственной блевотиной.

Больше никогда не буду срать, подумал он. Отныне очищаю желудок праведным способом. Непорочное опорожнение.

Вторую бутылку Кертис выпил медленно, и его не стошнило. Прихлебывая воду, он заглянул в кладовку: в углу валялись грязные штаны и пара таких же грязных футболок. Может, когда-то здесь была стиральная машина с сушилкой, или одежду стирали в другом трейлере, который теперь увезли. Не важно. Главное, на стене висели две спецовки: одна на вешалке, вторая на крючке. Последний комбинезон был большого размера, а вот первый пришелся Кертису почти впору. Он закатал рукава и стал похож на Фермера Джона, заводчика свиней, а никак не на успешного трейдера.

Кертис мог вызвать полицию, но чувствовал, что имеет право на куда более сладкую месть.

— Ведьмаки полицию не вызывают, — сказал он. — Тем более такие пидоры, как я.

Мотороллер стоял на месте, однако Кертис уезжать не собирался. Слишком много людей увидит обляпанного грязью придурка на красной «веспе». Вряд ли кто-нибудь вызовет копов... но смеяться будут. Кертис не хотел, чтобы над ним смеялись, пусть и за спиной.

И потом, он устал. Устал, как никогда.

Кертис лег на диван в трейлере и сунул под голову подушку. Входную дверь он оставил открытой, и внутрь, глядя лицо ароматными пальцами, задувал легкий ветерок. На Кертисе была только спецовка — вонючие трусы и носок он снял.

«Я не чувствую собственной вонючести. Ну разве не чудо?»

С этой мыслью он крепко заснул. Ему приснилась Бетси: она тащила пульт, весело позвякивая бирками на ошейнике. Он забрал у нее пульт, направил его на телевизор и увидел в окне Паскуду.

Четыре часа спустя Кертис проснулся — мышцы задеревенели, потную кожу зверски щипало. Снаружи рокотал гром: точно по расписанию приближалась дневная гроза. Кертис бочком спустился по ступенькам трейлера — как старик, разбитый артритом. Впрочем, именно так он себя и чувствовал. На улице он сел и посмотрел на темнеющее небо и туалет, из которого выбрался несколько часов назад.

Начался дождь. Кертис снял комбинезон, бросил его обратно в трейлер, чтобы не намочить, и голый стоял под дождем, обратив лицо к небу и широко улыбаясь. Улыбка не сошла с его лица, даже когда неподалеку от Деркин-Гроув ударила молния, и в воздухе запахло озоном.

Кертис чувствовал себя в полной безопасности, и это было чудесно.

Холодный дождь смыл с него большую часть грязи. Кертис медленно пошел в трейлер, обсох и надел комбинезон. С первыми лучами солнца, пробившимися сквозь тающие тучи, он неторопливо поднялся на холм, где стоял его мотороллер. Ключ Кертис держал в правой руке, зажав помятую собачью бирку между указательным и средним пальцем.

«Веспа» не привыкла мокнуть под дождем, но лошадка была что надо и завелась со второй попытки. Кертис оседлал ее — босоногий, с непокрытой головой, этакий веселый дух, — и поехал в сторону Черепашье острова. Ветер раздувал грязные волосы и комбинезон. Машин навстречу почти не попалось, и он без проблем пересек главную магистраль. Перед встречей с Грюнвальдом Кертис хотел принять пару таблеток аспирина, в остальном же он чувствовал себя прекрасно, как никогда.

К семи вечера на небе не осталось ни тучки. Примерно через час на пляже собрались бы любители закатов, и Грюнвальд хотел к ним присоединиться. Пока он отмокал в горячей ванне во дворе, потягивая слабый джин с тоником. Перед этим он принял сильное болеутоляющее, зная, что оно поможет ему добраться до пляжа, хотя со вчерашнего дня его не покидало чувство почти сказочного удовлетворения. В болеутоляющих не было нужды. Со временем это наверняка изменится, но сейчас Грюнвальд чувствовал себя великолепно — впервые за много лет. Да, его настиг финансовый крах, но скопленных денег хватит до конца жизни. И самое главное, он поквитался с педиком, виновным во всех его несчастиях. «Динь-дон, злая ведьма умерла...»

— Ну, здравствуй, паскуда.

Грюнвальд распахнул глаза. На фоне заходящего солнца возвышался темный силуэт — четкий, словно вырезанный из черной бумаги. Или из траурного крепа. Джонсон? Нет, Джонсон заперт в перевернутом толчке, Джонсон — сортирная мышь, подышающая или уже подошшая взаперти. Тем более такой модник, как Джонсон, никогда бы не вырядился в фермерские тряпки. Это сон, всего лишь сон. Но...

— Проснулся? Отлично. Мне надо, чтобы ты бодрствовал.

— Джонсон? — Едва слышный шепот. На большее Грюнвальда не хватило. — Это ведь не ты?

Силуэт шевельнулся, и лучи позднего солнца скользнули по расцарапанному лицу гостя. Джонсон. Но что у него в руке?

Кертис увидел, куда смотрит Паскуда, и нарочно повернулся к солнцу. У него в руке был фен. А Грюнвальд сидел по грудь в воде.

Он подскочил и схватился за стенку ванны, чтобы вылезти, но Джонсон тут же отдал ему пальцы. Грюнвальд заорал и отдернул руку. Хотя Джонсон был босиком, наступил он со всего размаху.

— Ни с места! Мне нравится, как ты сидишь, — с улыбкой сказал Кертис. — Вчера тебе тоже нравилась моя поза, верно? Я принес подарок. Захватил из дома — ты уж не обижайся, что он подержанный. Всю пидорскую пыль я с него сдул по дороге сюда. Между прочим, я прошел через задний двор. Ты очень кстати выключил ток в изгороди, которая убила мою собаку. Держи.

И он бросил фен в ванну.

Грюнвальд заорал и попытался его поймать, но не успел. Фен бухнулся в воду и пошел на дно, кувыркаясь в водяных струях. Он ударился о тощую ногу Грюнвальда, и тот отпрянул, по-прежнему крича и думая, что его бьет током.

— Спокойно, — сказал Джонсон, все еще улыбаясь. Он отстегнул одну лямку комбинезона, затем другую, и спецовка упала на пол. Под ней Джонсон был голый, на внутренней стороне рук и бедер следы от грязной жижи из бака. В пупке Грюнвальд заметил отвратительный коричневый сгусток. — Он не подключен. И я даже не знаю, работает ли этот фокус с феном в ванной. Хотя, признаться, будь у меня удлинитель, я бы поставил эксперимент.

— Убирайся! — прохрипел Грюнвальд.

— И не подумаю, — ответил Джонсон.

Улыбка не сходила с его лица. Может, он спятил? На его месте Грюнвальд бы точно спятил. Но как он выбрался? Ради всего святого, *как?*

— Ливень смыл с меня большую часть дерьма, но я все еще грязный. Да ты и сам видишь.

Джонсон выковырял из пупка мерзкий сгусток и, как задохшую соплю, щелчком бросил в ванну. Сгусток приземлил-

ся Грюнвальду на щеку. Коричневый и вонючий. Жидкий. Господи, это же дерьмо! Грюнвальд опять заорал, на сей раз от отвращения.

— «Он бьет, он забивает!» — улыбнулся Джонсон. — Не очень-то приятно, а? Вон я больше не чувствую, но смотреть на дерьмо мне надоело. Так что будь добрым соседом, пусти меня в свою ванну.

— Нет! Нет, я не позво...

— Спасибо! — перебил его Джонсон и тут же плюхнулся в воду, подняв брызги.

От него *воняло*. Грюнвальд забился в противоположный конец ванны (загар на его тощих ногах был похож на чулки серо-коричневого цвета) и перебросил руку через край. Джонсон тут же вцепился ему в шею своими расцарапанными в кровь, но чудовищно сильными пальцами, и потянул Грюнвальда обратно в воду.

— Нет-нет-нет-нет! — с улыбкой произнес Джонсон, подтаскивая его к себе. Маленькие черно-коричневые хлопья заплескались на поверхности воды. — Мы, пидоры, редко купаемся в одиночестве. Ты, конечно, читал об этом в Интернете. А пидоры-ведьмаки? Никогда!

— Пусти!!!

— Может, и пушу. — Однако Джонсон еще крепче сжал Грюнвальда в ужасно непристойных объятиях. От него все еще несло толчком. — Сначала ты должен опробовать позорный стул для пидарасов. Пройти крещение, так сказать. Смыть грехи.

Его улыбка превратилась в ухмылку, а ухмылка — в оскал. Грюнвальд понял, что его убьют. Джонсон утопит его в ванне, и последним, что он увидит перед смертью, будут кусочки дерьма, плавающие в прежде чистой воде.

Кертис надавил Грюнвальду на голые, тощие плечи и погрузил его в воду. Тот брыкался, лягался, редкие седые волосы плавали в воде, а из большого клювоподобного носа поднимались серебристые пузырьки воздуха. Желание утопить старика было очень сильным, и Кертису хватило бы сил. Рань-

ше Грюнвальд, несмотря на возраст, мог уделать его одной левой, но те времена прошли. Паскуда болел. Потому Кертис его и выпустил.

— Ты прав! — проорал он. — Горячая ванна отлично снимает боль! Но черт со мной, как насчет *тебя*? Хочешь окунуться еще разок? Во всех религиях говорится, что это полезно для души.

Грюнвальд яростно затряс головой, с редких волос и кустистых бровей полетели брызги.

— Тогда сиди и слушай, — сказал Кертис. — Это мы уберем, лады? — Он залез под ногу Грюнвальда — старик дернулся и взвизгнул, — вытащил из ванны фен и бросил его через плечо. Тот залетел под стул.

— Скоро я тебя покину, — продолжил Кертис, — и вернусь домой. Можешь идти любоваться закатом, если хочешь. Ты еще хочешь?

Старик покачал головой.

— Нет? Надо же. У тебя впереди последний хороший закат, сосед. И последний хороший день — собственно, потому я и дарю тебе жизнь. Знаешь, в чем ирония? Оставь ты меня в покое, ты бы получил как раз то, чего добивался. Потому что я сам запер себя в толчке, не зная об этом. Разве не смешно?

Грюнвальд не ответил, только посмотрел на него круглыми от ужаса глазами. *Больными* и круглыми от ужаса глазами. Кертис пожалел бы его, не будь воспоминания о биотуалете такими яркими. Открытое сиденье, похожее на рот. Кусок дерьма, упавший ему на колени, какдохлая рыба.

— Отвечай, не то окуну.

— Смешно, — прохрипел Грюнвальд и закашлялся.

Кертис дождался, пока кашель утихнет. Он больше не улыбался.

— Верно, смешно. Все это очень смешно, если смотреть под правильным углом. А я смотрю под правильным.

Он выскочил из ванны, чувствуя, что двигается с проворством, какое Паскуде уже не светит. Рядом с крыльцом висел шкафчик, внутри лежали полотенца. Кертис достал одно и начал вытираться.

— Короче, расклад такой. Можешь вызвать полицию и сказать им, что я пытался утопить тебя в ванне, но тогда они узнают правду. Проведешь остаток дней в уголовном суде, не говоря о прочих твоих бедах. Если оставишь все как есть, считай, ничего не было. Сбросим счетчики. Но: я стану наблюдать, как ты гниешь заживо. От тебя будет нести, как от того толчка. Твою вонь будут чувствовать окружающие и ты сам.

— Сперва я вышибу себе мозги, — выдал Грюнвальд.

Кертис опять нацепил комбинезон. Он начинал ему нравиться. Здорово сидеть в таком за компьютером и наблюдать за котировками. Надо будет съездить в «Таргет» и купить штук пять спецовок. Новый Кертис Джонсон: свойский парень в рабочем комбинезоне.

Застегивая вторую лямку, Кертис остановился.

— А что, это в твоих силах. Пристрелишь себя из той пушки... как она называется?.. «хардболлер». — Он нагнулся к Грюнвальду, который все еще мариновался в ванне, испуганно глядя на Джонсона. — Я не против. Может, тебе даже хватит духу это сделать, но вообще-то... наверняка нет. Впрочем, я буду с нетерпением ждать выстрела.

И он ушел, но на сей раз другой дорогой, через ворота. Если бы Кертис повернул налево, то попал бы домой, но он свернул направо, к пляжу. Впервые со смерти Бетси ему захотелось полюбоваться закатом.

Два дня спустя, сидя за компьютером (особенно его интересовали акции «Дженерал электрик»), Кертис услышал громкий выстрел. Музыка у него не играла, поэтому звук разнесся по влажному, почти июльскому воздуху удивительно отчетливо. Кертис наострил уши, хотя знал, что второго выстрела не будет.

Мы, ведьмаки, знаем толк в таких делах.

В кабинет ворвалась миссис Уилсон с тарелкой в руках.

— Это был выстрел?!

— Скорее выхлоп, — с улыбкой ответил Джонсон.

Он часто улыбался после приключения в Деркин-Гроув. Конечно, уже не так, как при жизни Бетси, но любая улыбка лучше, чем ее отсутствие, верно?

Миссис Уилсон недоверчиво посмотрела на Кертиса.

— Пожалуй...

Она хотела уйти, однако Кертис ее остановил.

— Миссис Уилсон, вы ведь не бросите меня, если я заведу вторую собаку? Щенка?

— Скажете тоже! Чтобы я ушла из-за щенка! Нет уж, одной псиной от меня не отделааетесь.

— Они грызут мебель. И не всегда... — Кертис умолк, представив себе вонючую темноту туалетного бака. Преисподняя. Миссис Уилсон взглянула на него с любопытством. — ...Не всегда ходят, куда надо.

— Если научите, пойдет, — заверила его домохозяйка. — Тем более что климат здесь теплый. И, честно говоря, вам не повредит компания, мистер Джонсон. Я за вас переживаю.

Он кивнул.

— Вы даже не представляете, в каком дерьме я побывал. — Кертис расхохотался, но, увидев странный взгляд миссис Уилсон, умолк. — Извините.

В знак прощения она махнула на него полотенцем.

— Только давайте теперь не породистую. Можно съездить в приют для животных и выбрать там какую-нибудь дворняжку. А то их, бедняг, усыпляют.

— Почему бы и нет, — сказал Кертис. — Не терпится услышать топот лапок в коридоре.

— Вот и славно. Вы правда думаете, что это был выхлоп?

Кертис откинулся на спинку стула.

— Скорее всего... Но знаете, миссис Уилсон, наш сосед Грюнвальд давно болен. — Он понизил голос и грустно прошептал: — У него рак.

— Боже мой... — проронила миссис Уилсон.

Кертис кивнул.

— Он ведь не?..

Цифры на компьютере сменились заставкой: фотографиями Черепашьего острова с высоты птичьего полета. Кертис встал, подошел к миссис Уилсон и взял у нее тарелку.

— Вряд ли, но лучше сходить и проверить. Мы все-таки соседи.

Комментарии к «После заката»

Есть мнение, что подобные комментарии в лучшем случае излишни, в худшем — сомнительны. Мол, если рассказ нуждается в каких-то объяснениях, это не очень хороший рассказ. Я с этим не спорю, оттого и помещаю свои заметки в конце книги (кроме того, я не хочу кричать на каждом углу «Спойлер!» — этим словечком в основном щеголяют испорченные люди*). Почему я все-таки решил их написать? Потому что многим читателям нравятся авторские комментарии. Они хотят знать, что подвигло автора на написание рассказа или о чем он думал, пока сочинял. Ваш покорный слуга и сам не всегда знает ответы на эти вопросы, но предлагает читателю познакомиться с некоторыми мыслями, представляющими определенный интерес.

Уилла

Допускаю, это не лучший рассказ в книге, но мне он очень дорог, ведь именно с него начался новый период моего творчества — что касается рассказов по крайней мере. Остальные

* От глагола «to spoil» — «портить» (*англ.*); спойлер — предупреждение о том, что в тексте может встретиться информация (например, о ключевых поворотах сюжета), которая испортит читателю удовольствие от еще не прочитанной книги.

я написал уже после «Уиллы» и довольно быстро (меньше чем за два года).

Одно из главных преимуществ фантастики заключается в том, что она позволяет писателям представить, что будет, когда мы покинем этот бренный мир. В сборнике два таких рассказа (второй — «Нью-Йорк таймс» по специальной цене»). Меня воспитали в рамках методизма, и хотя я давно отказался от строгого соблюдения религиозных предписаний, в одном я убежден: наша душа не умирает вместе с телом. Не может быть, чтобы такие сложные, удивительные существа в конце концов просто исчезали (или я не хочу в это верить). А вот *какой* будет загробная жизнь... Я не узнаю, пока не посмотрю сам. Догадываюсь, что моя душа будет сбита с толку и не сразу примирится со своим новым состоянием. Надеюсь, что любовь сильнее смерти (да, я романтик, можете швырять в меня тухлые помидоры). Если это так, то любовь, наверное, растеряется... и ей станет немножко грустно. Когда я думаю о любви и грусти, то включаю кантри: Джорджа Стрейта, «BR549», Марти Стюарта и... «Сошедших с рельсов». В рассказе играют именно они — думаю, им теперь светит *очень* долгий контракт.

Гретель

Часть года мы с женой живем во Флориде, неподалеку от барьерных островов Мексиканского залива. Там много больших особняков: старых и благородных или, наоборот, чересчур новомодных. Пару лет назад мы с другом гуляли по одному такому острову. Мой друг указал на вереницу особняков и сказал: «Представляешь, они пустуют по шесть-восемь месяцев в году!» Я представил... и решил, что из этого выйдет чудесный рассказ. Завязка была простая: злодей бежит за девушкой по пустому пляжу. Вот только рано или поздно даже самым быстрым бегунам предстоит сразиться с врагом один на один. Ну и еще мне близки истории, в которых важны мелкие подробности. Здесь их полным-полно.

Сон Харви

По поводу этого рассказа я могу сказать только одно, поскольку больше ничего не знаю (и, вероятно, остальное не имеет значения): он пришел ко мне во сне. Я написал его в один присест: просто перенес на бумагу то, что уже было рассказано. В сборнике есть еще одна история, которая мне приснилась, но о ней я могу сказать чуть больше.

Стоянка

Однажды вечером, шесть лет назад, я читал свою книгу в одном университете Сент-Питерсберга. Читал я до поздней ночи, домой поехал по трассе Флорида—Тернпайк и остановился отлить в придорожном туалете. Если вы уже прочли рассказ, то представляете себе это здание, похожее на корпус тюрьмы усиленного режима. В общем, подойдя к мужскому туалету, я услышал, как в женском громко скандалит какая-то парочка. Голоса у них были злые и раздраженные: еще немного и подерутся. И что тогда? Как мне поступить? Я подумал: «Призову на помощь своего внутреннего Ричарда Бахмана. Он круче меня». Но парочка вышла на улицу, так и не подравшись, хотя женщина плакала. А я спокойно уехал домой и несколько дней спустя написал этот рассказ.

Велотренажер

Если вы когда-нибудь занимались на таком, то знаете, что это тоска смертная. Вернуться к ежедневным занятиям бывает *очень* трудно (мой девиз: «Наесться проще!», но да, я стараюсь поддерживать форму). Этот рассказ — плод моей ненависти не только к велотренажерам, но и ко всем беговым дорожкам и велоэллипсоидам, вместе взятым.

Вещи, которые остались после них

Как и любой житель Америки, я был глубоко потрясен трагедией 11 сентября. Как и многие писатели самых разных жанров, я не хотел говорить *ничего* по поводу события, ставшего для Штатов таким же пробным камнем, как Перл-Харбор или убийство Джона Кеннеди. Но в жизни я все-таки *пишу рассказы*, и этот пришел мне на ум через месяц после падения Башен-Близнецов. Возможно, я так бы его и не написал, если бы не припомнил разговор, который состоялся почти двадцать пять лет назад между мной и одним редактором еврейской национальности. Ему пришлось не по душе моя повесть «Способный ученик». Он считал, раз я не еврей, то не имею права писать о концлагерях. Я же, напротив, видел в этом суть своей работы. Написание книги — это акт сознательного проникновения в чужие мысли и чувства. Как и все американцы, видевшие тем утром охваченное огнем нью-йоркское небо, я хотел понять как само событие, так и шрамы, неизбежно оставшиеся после него. Пытаясь это сделать, я написал рассказ.

После выпускного

Спустя четыре года после аварии 99-го я начал принимать антидепрессант, который назывался доксепин — нет, я не страдал от депрессии (хмуро проговорил он), доксепин должен был помочь мне избавиться от хронических болей. Так и случилось, но в ноябре 2006-го, поехав в Лондон на презентацию романа «История Лизи», я понял, что пора завязывать. Даже не посоветовавшись с врачом, прописавшим мне «Доксепин», я просто взял и бросил принимать это лекарство. Побочные эффекты были... любопытные*.

* Уверен ли я, что их вызвало внезапное прекращение приема доксепина? Нет. Как знать, вдруг во всем виновата английская вода. — *Примеч. автора.*

Примерно с неделю, закрывая ночью глаза, я видел красивейшие панорамные кадры, как в кино: леса, поля, мосты, реки, заборы, рельсы, дорожных рабочих, размахивающих кирками и лопатами... Картинки мелькали одна за другой, пока я не засыпал. Никаких сюжетов к ним не прилагалось. Мне даже стало грустно, когда они перестали меня посещать. Еще я увидел несколько необычайно ярких постдоксепиновых снов. Один из них — огромный ядерный гриб над Нью-Йорком — и стал темой моего очередного рассказа. Я написал его, хотя знал, что этот образ использован в сотне фильмов (не говоря уже о сериале «Иерихон»), потому что сон показался мне документально-безразличным. Я проснулся с колотящимся сердцем и мыслью: «Это вполне может случиться. Рано или поздно это *наверняка* произойдет». Как и со «Сном Харви», я скорее писал этот рассказ под диктовку, нежели сочинял.

Н.

Это самый свежий рассказ в сборнике и публикуется впервые. Я написал его под впечатлением от повести Артура Мейчена «Великий бог Пан». Несмотря на довольно неуклюжий слог, эта книга (совсем как «Дракула» Брэма Стокера) бьет читателей по самым слабым местам. Сколько бессонных ночей она вызвала? Точно не скажу, но парочка из них пришлась на мою долю. Мне кажется, «Пан» — ужас в чистом виде, недостижимый идеал для любого автора, пишущего в этом жанре, и все мои собратья по перу должны так или иначе затронуть эту тему: реальность тонка и неуловима, а *настоящая* реальность за ней — бесконечная бездна, полная чудищ. Взяв за основу идею Мейчена, я написал о синдроме навязчивых состояний, которым в той или иной степени страдает каждый человек (все мы хоть раз в жизни да возвращались домой, подумав, что забыли выключить утюг или плиту). Навязчивые мысли и необъяснимая тревога — обязательные

составляющие любой страшной истории. Попробуйте вспомнить хоть одну удачную страшилку, в которой не было бы идеи о возвращении к ненавистному и пугающему. Самый очевидный пример — рассказ Шарлотты Перкинс Гилман «Желтые обои». Если вы читали его в университете, вас наверняка учили, что это феминистское произведение. Но это еще и история о разуме, погибающем под гнетом навязчивых мыслей. В «Н.» я постарался написать о том же.

Кот из ада

Если бы в «После заката» было что-то вроде потайного трека, как на некоторых музыкальных дисках, это был бы рассказ «Кот из ада». Тут я должен поблагодарить свою бесценную помощницу, Маршу де Филиппо. Я рассказал ей о новом сборнике рассказов, и она спросила, почему бы не включить в него «Кот из ада», написанный еще в ту пору, когда я работал для мужских журналов. В 1990-м по нему сняли «Сказки темной стороны: фильм». Я ответил, что рассказ наверняка выходил в моих прежних сборниках, но Марша продемонстрировала мне все оглавления, и его нигде не было. Что ж, теперь он наконец выходит в твердой обложке, спустя тридцать лет после того, как его напечатали в журнале «Кавалер». Кстати, с публикацией вышла забавная история. Тогдашний редактор «Кавалера», Най Вильдэн, прислал мне фотографию шипящего кота. Поражала в этом снимке не столько кошачья ярость, сколько необычный раскрас морды, поделенной ровно пополам: одну часть покрывал белый мех, другую — черный. Най хотел устроить конкурс рассказов. Он попросил меня написать первые пятьсот слов, а читатели должны были сочинить продолжение, и лучший рассказ вышел бы в следующем номере. Не помню, когда опубликовали мою версию — вместе с рассказом победителя или позже, — но с тех пор она вошла в несколько антологий.

«Нью-Йорк таймс» по специальной цене

Летом 2007-го я прилетел в Австралию, взял напрокат «харлей-дэвидсон» и проехал на нем от Брисбена до Перта (ну... часть пути через пустыню байк пролежал в багажнике «тойоты-лэндкрузера» — тамошние дороги вроде трассы Ган-Бэррел очень похожи на те, какие должны быть в аду). Хорошая вышла поездка; у меня было много приключений, и я вдоволь наглотался пыли. Но врагу не пожелаешь бороться с разницей во времени после двадцатичасового перелета. В самолетах я не сплю — не могу, хоть убей. Когда рядом возникает стюардесса с пижамой, я осеменяю ее крестным знамением и прошу уйти. Приехав в Оз после перелета из Сан-Франциско в Брисбен, я надел глазную повязку, проспал десять часов и проснулся свежий, как огурчик. Загвоздка была в том, что в два часа ночи по телевизору ничего не показывали, а книжку я дочитал еще в самолете. К счастью, я захватил с собой блокнот. К рассвету этот рассказ был готов, и я поспал еще два часа. Рассказ должен развлекать не только читателя, но и писателя — таково мое мнение, мы будем рады выслушать ваше.

Немой

В местной газете мне попалась заметка о секретаре, которая растратила шестьдесят пять тысяч долларов из школьного бюджета на лотерейные билеты. Первым делом мне пришел на ум вопрос: интересно, как отреагировал ее муж? И я написал об этом рассказ. Он напоминает мне об «отравленных» конфетах, которыми я еженедельно угощался за просмотром сериала «Альфред Хичкок представляет».

Аяна

Тема загробной жизни, как я говорил ранее, не устает вдохновлять писателей фантастики. Бог — в любой из возможных ипостасей — еще одна расхожая тема фантастичес-

ких произведений. Самые распространенные вопросы о Боге: почему кто-то живет, а кто-то умирает, почему одни выздоравливают, а другие нет? Я задал себе этот вопрос, когда после аварии очнулся в больничной палате. Сядь я хоть на несколько дюймов левее, меня бы уже не было (с другой стороны, сядь я правее, то вообще отделался бы испугом). «Это чудо!» — говорим мы, когда кто-то случайно выживает. «Это воля Божья» — слышится, когда кто-то гибнет. Чудесам нет рационального объяснения, как нет способа понять Божью волю — он, если и существует, может интересоваться нами не больше, чем я интересуюсь микробами на своей коже. Но чудеса все-таки случаются; каждый новый вдох — это чудо. Реальность тонка, но не всегда мрачна. Я не хотел писать об ответах, я написал о вопросах. И предположил, что чудо может быть не только благословением, но и тяжелой обузой. А может, это все чушь. Но рассказ мне нравится.

Взаперти

Все мы иногда пользуемся придорожными биотуалетами — взять хоть поездки по трассе Тернпайк посреди лета, когда Управление шоссеиных дорог выставляет на трассах дополнительные уборные, чтобы справиться с потоком путешественников (я пишу эту строчку и улыбаюсь ее «туалетному» звучанию). Господи, ничто не сравнится с раскаленной туалетной будкой жарким августовским днем! Теплая, как поджаренный хлеб, и запах *божественный*. Откровенно говоря, в биотуалетах я всегда вспоминаю рассказ Эдгара По «Преждевременное погребение» и думаю, что будет, если будка перевернется, а вокруг ни души. В конце концов я сочинил этот рассказ — с той же целью, что и остальные неприятные рассказы, мой Постоянный Читатель: передать тебе то, что пугает меня. Не удержусь и отмечу, что, работая над ним,

я получал прямо-таки ребяческое удовольствие. Даже себя выругал.

Ну...

Немножко.

На этом я тепло с вами прощаюсь — будем надеяться, не навсегда. Если чудеса не переведутся, мы еще встретимся. А пока: спасибо, что прочли мои рассказы! Очень рад, если хотя бы один из них на несколько минут лишил вас сна. Берегите себя и... кстати! Вы плиту выключили? А газ в печке для барбекю? Заднюю дверь заперли? Ручку на всякий случай дернули? Забыть такое нетрудно; вдруг прямо сейчас кто-то ломится в ваш дом. Какой-нибудь псих. С ножом. Тут уж плевать, синдром навязчивых состояний у вас или нет...

Лучше перепроверить, не так ли?

*Стивен Кинг,
8 марта 2008-го.*

Содержание

Предисловие	7
Уилла	12
Гретель	39
Сон Харви	104
Стоянка	116
Велотренажер	134
Вещи, которые остались после них	169
После выпускного	207
Н.	214
Кот из ада	278
«Нью-Йорк таймс» по специальной цене	298
Немой	308
Аяна	336
Взаперти	355
Комментарии к «После заката»	406

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

16+

Кинг Стивен
После заката

Сборник

Компьютерная верстка: Л.О. Огнева
Технический редактор Т.В. Полонская

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

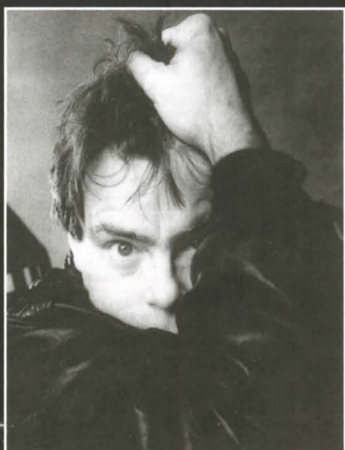
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство АСТ».
129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д. 21, строение 3, комн. 5.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».

ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.

Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.



Стивен Кинг — один из самых популярных писателей нашего времени.

Его читают подростки и взрослые, женщины и мужчины — все, кто стремится лучше понять себя и других, а также изменчивый и непредсказуемый мир, в котором мы живем.

Стивену Кингу подвластны все жанры: он — автор великолепных романов, потрясающих повестей и блистательных рассказов.

Среди шедевров Мастера — полное мистики и саспенса «Сияние», приоткрывающая тайны человеческого сознания «Мертвая зона», удивительно трогательная и в то же время невероятно жесткая «Зеленая миля», леденящая кровь «Кэрри», «жемчужина» фэнтези «Темная Башня» и многое-многое другое...

«Команда скелетов».
«Ночная смена». «Все предельно»... Сборники рассказов всегда занимали в творчестве Стивена Кинга особое место.

«После заката» — это «чертова дюжина» историй, каждая из которых способна напугать даже читателя с самыми крепкими нервами и восхитить даже самого искушенного ценителя «ужастиков».

Тринадцать — хорошее число.

Но легко ли вместе с героями Кинга пережить тринадцать встреч со Злом и Тьмой?

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-071135-2



9 785170 711352